



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

NYPL RESEARCH LIBRARIES



3 3433 06724625 0













# ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

КАРТИНЫ НРАВОВЪ.

СОЧИНЕНІЕ

М. САЛТЫКОВА (Щедрина).

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39).

1885.

THE NEW YORK  
PUBLIC LIBRARY

9500A

ASTOR, LENOX AND  
TILDEN FOUNDATIONS  
R 1921 L




## ОТЪ АВТОРА.

---

Изслѣдованіе о «Ташкентцахъ» распадается на двѣ части: «Ташкентцы приготовительнаго класса» и «Ташкентцы въ дѣйствиіи». Настоящимъ томомъ оканчивается первая часть, составляющая сама по себѣ отдѣльное цѣлое. Я отнюдь не имѣю претензіи утверждать, что въ представляемыхъ здѣсь вниманію читателя параллеляхъ исчерпывается все, что могло бы подойти подъ эту рубрику, но ежели бы я пошелъ еще далѣе въ воспроизведеніи различныхъ типовъ «ташкентства», то работѣ моей, пожалуй, не было бы конца. Притомъ же, въ намѣреніяхъ, моихъ было написать ежели не романъ въ собственномъ значеніи этого слова, то болѣе или менѣе законченную картину нравовъ, въ которой читатель могъ бы видѣть какъ источники «ташкентства», такъ и выраженіе этого явленія въ дѣйствительности. Поэтому, первую часть и посвящаю біографическимъ подробностямъ героев ташкентства, а во второй — на сцену явится самое «ташкентское дѣло», въ созданіи котораго примутъ участіе дѣйствующія лица первой части. Въ виду этого, я нашелъ, что привлеченіе слишкомъ боль-

шого количества элементовъ, хотя и однородныхъ по своимъ цѣлямъ, но крайне разнообразныхъ въ своихъ проявленіяхъ, могло бы загромоздить мой трудъ множествомъ лицъ, связь между которыми, быть можетъ, представилась бы читателю не вполне ясною. Тѣмъ не менѣе, я сознаю, что отсутствіе нѣкоторыхъ типовъ (какъ, напримѣръ, ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляетъ пропускъ очень замѣтный. Но я постараюсь познакомить читателя съ этими типами во второй части, выводя ихъ постепенно, въ роли эпизодическихъ лицъ.



## ВВЕДЕНИЕ.

---

Въ разсказахъ Глинки (композитора) занесенъ слѣдующій фактъ. Однажды, покойный литераторъ Кукольникъ, безъ приготовленій, „необыкновенно ясно и дѣльно“ изложилъ передъ Глинкой исторію Литвы, и когда послѣдній, не подозрѣвая за авторомъ „Торквато Тассо“ столь разнообразныхъ познаній, выразилъ свое удивленіе по этому поводу, то Кукольникъ отвѣчалъ: „прикажутъ—завтра же буду акушеромъ“.

Отвѣтъ этотъ драгоцѣненъ, ибо даетъ мѣру талантливости русскаго человѣка. Но онъ еще болѣе драгоцѣненъ въ томъ смыслѣ, что раскрываетъ нѣкоторую тайну, свидѣтельствующую, что упомянутая выше талантливость находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ „приказанія“. Ежели мы не изобрѣли пороха, то это значитъ, что намъ не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприщѣ общественнаго и политическаго устройства, то это означаетъ, что и по сему предмету никакихъ распоряженій не послѣдовало. Мы не виноваты. Прикажутъ—и Россія завтра же покроется школами и университетами; прикажутъ—и просвѣщеніе, вмѣсто школъ, сосредоточится въ полицейскихъ управленіяхъ. Куда угодно, когда угодно и все что угодно. Литераторы ждутъ манія, чтобъ сдѣлаться акушерами; повивальныя бабки стоятъ во всеоружіи, чтобъ по первому знаку положить начало родовспомогательной литературѣ. Все на чеку, все готово устремиться куда глаза глядятъ.

Повидимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести въ обществѣ суматоху и толкотню. Однакожь, ничего подобнаго не усматривается. Вездѣ порядки, вездѣ твердое сознаніе, что толкаться не вѣлѣно. Но прикажите—и мы изумимъ міръ дерзостными поступками.

Увѣренность въ нашей талантливости такъ велика, что для

насъ не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессія доступна намъ, ибо ко всякой профессіи мы отъ рожденія вкусъ получили. Свобода отъ наукъ не только не мѣшаетъ, но служить рекомендаціей, потому что сообщаетъ человѣку букетъ „свѣжести“. „Свѣжесть“, въ свою очередь, даетъ талантливости характеръ неудержимой и ни передъ чѣмъ не останавливающейся похотливости. Человѣкъ, постоянно готовый и постоянно вождѣлюющій — это своего рода нерушимая стѣна. Это развязный малый, передъ которымъ всякая специальность немедленно сдается на капитуляцію. Назовите рядомъ съ „свѣжимъ“ человѣкомъ какого-нибудь „умника“, — и всякій сразу пойметъ, сколько горечи и презрѣнія слышится въ этомъ послѣднемъ названіи. „Умникъ!“ — вѣдь это засоренная голова! это человѣкъ, изнемогающій подъ бременемъ собственного безсилія! это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!

А мы именно хотимъ только созидать, и потому блюдемъ нашу „свѣжесть“ паче зеницы ока. Мы твердо помнимъ, что отъ насъ ожидается какое-то „новое слово“, а для того, чтобы оно сказалось, мы не полагаетъ никакихъ другихъ условий, кромѣ чистоты сердца и не вполне поврежденного ума. Это условіе потому хорошо, что оно общедоступно, а сверхъ того, благодаря ему, всѣ профессіи дѣлаются безразличными. Человѣкъ, видѣвшій въ шкафу сводъ законовъ, считаетъ себя юристомъ; человѣкъ, изучившій форму кредитныхъ билетовъ, называетъ себя финансистомъ; человѣкъ, усмотрѣвшій нагую женщину, изъявляетъ желаніе быть акушеромъ. Все это люди, необремененные знаніями, которые въ „свѣжести“ почерпнутъ рѣшимость для исполненія какихъ угодно приказаній, а въ практикѣ отыщутъ и средства для ихъ осуществленія.

Практика — это тоже своего рода божество, которое выведетъ ихъ изъ умственного оцѣпенѣнія и дастъ смыслъ ихъ невнятной бормотанію. Тамъ, въ этой насыщенной азбучными испареніями атмосферѣ, среди недоумковъ, справокъ, противорѣчій и колебаній, они, кроха по крохѣ, соберутъ себѣ сокровище гораздо болѣе прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Тамъ, на бокахъ Петровъ и Ивановъ, юрится уяснить себѣ понятіе о мѣрѣ наказаній; тамъ, финансистъ во очію убѣдится, что кредитные билеты сами хорошо знаютъ карманы, въ которыхъ имъ быть надлежитъ. И не утратить они при этомъ ни единой капли „свѣжести“, ибо при концѣ профессиональнаго поприща пребудутъ столь же свободны отъ наукъ, какъ и при началѣ оного.

И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда

вѣра въ силу прирожденной талантливости дѣйствительно дѣлала чудеса. Приходилъ человѣкъ совершенно свѣжій и начиналъ орудовать. Писалъ законы, устанавливалъ порядки, и даже доводилъ „ввѣренную“ часть до идеальнаго совершенства. Не только подчиненные, но люди совсѣмъ посторонніе—и тѣ говорили: „да, этотъ человѣкъ не то, что Х или Z. Этотъ человѣкъ—подтянутъ!“ Гдѣ тайна этого волшебства? Очевидно, ее слѣдуетъ искать или въ неизрѣченной наглости „свѣжихъ людей“, или же въ томъ, что самыя „ввѣренныя“ части столь уже просты, что разступаются даже передъ людьми, совсѣмъ неповрежденными науками.

Первое предположеніе, очевидно, не выдерживаетъ никакой критики. Наглость, выступающая впередъ только по приказанію — вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объясненіемъ для жизненныхъ явленій. Гораздо правильнѣе остановиться на простотѣ „ввѣренныхъ частей“, тѣмъ больше, что здѣсь приходится къ намъ на помощь и практика съ своими истинно поразительными подтвержденіями.

Одинъ знатный иностранецъ, посѣщавшій Россію во времена Петра Великаго (предоставляю любителямъ отечественной старины догадаться, кто этотъ путешественникъ), рассказываетъ слѣдующее: „Не смотря на совершенныя симъ государемъ преобразованія, процессъ, посредствомъ коего управляется здѣшній народъ, столь простъ, что не требуетъ со стороны администратора ни высокаго ума, ни познаній. Я, по крайней мѣрѣ, лично зналъ одного намѣстника, который былъ до такой степени простодушенъ, что однажды, по недоразумѣнію, откусилъ свой собственный палецъ, но и за всѣмъ тѣмъ оказывался вполнѣ удовлетворительнымъ для выполненія тѣхъ задачъ, которыя ему предстояли. Каждый день передъ нимъ клали извѣстную порцію бумагъ, и ежели эта порція случайно уменьшалась, то онъ примѣтно начиналъ беспокоиться, упрекалъ подчиненныхъ въ нерадѣніи, и требовалъ усугубленія рвенія. Съ теченіемъ времени, онъ до того вошелъ въ свою роль, что сдѣлался даже прихотливымъ. Замѣтилъ, что ему подаютъ только коротенькія бумаги и сталъ требовать длинныхъ; потомъ и симъ не удовлетворился, но велѣлъ сочинить статистику, которую, по изготовленіи, подписалъ и отправилъ. Такимъ образомъ, съ помощью одного очень простаго приема, называемаго по здѣшнему, подтягиваніемъ, этотъ плохой и даже глупый человѣкъ прожилъ нѣсколько лѣтъ и умеръ въ званіи намѣстника естественною смертію“.

Повѣрить этому разсказу очень возможно. Всякій изъ насъ зналъ на своемъ вѣку и неутомимыхъ статистиковъ, и пребуд-



рыхъ финансистовъ, которые ничего не имѣли за душою, кромѣ чистаго сердца и невольнѣ поврежденнаго ума — и за всѣмъ тѣмъ дѣйствовали. Какимъ образомъ могли дѣйствовать эти чистосердечные люди? Какимъ образомъ могло случиться, что только естественная смерть освобождала ихъ отъ тягостей лежавшаго на нихъ бремени? Что означаетъ этотъ фактъ?

По моему мнѣнію, онъ можетъ означать одно: простоту задачи. Очень долгое время область профессій представляла у насъ сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тѣни. Х. вызвалъ объ удовлетвореніи, но въ глазахъ людей профессіи онъ не существовалъ, какъ живое лицо, а существовало лишь „дѣло объ Х., ищущемъ удовлетворенія“. З. томился въ тюрьмѣ, но и онъ, какъ живое лицо, былъ не извѣстенъ, а извѣстно было только „дѣло объ З., томящемся въ тюрьмѣ“. Рѣчь шла не объ дѣйствительной участи людей, а о рѣшеніи уравненій съ однимъ или нѣсколькими неизвѣстными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состоянія тѣней, то они и сами начинаютъ сознавать себя тѣнями и, въ этомъ качествѣ дѣлаются вполне равнодушны къ тому, какія рѣшаются объ нихъ уравненія и какія пишутся статистики. Вотъ тутъ-то и настигаютъ ихъ „свѣжіе“ люди. Сначала они совѣстятся и довольствуются только простыми уравненіями; потомъ дѣлаются дерзкими и начинаютъ требовать статистикъ. Какіе плоды приноситъ ихъ подтагивательная дѣятельность—они не знаютъ, да и знать, по правдѣ, не нужно, потому что, навѣрное, она никакихъ плодовъ не принесетъ. „Все равно, братцы, помирать!“ говорятъ люди, и дѣйствительно начинаютъ помирать, какъ будто и невѣсть какое мудрое дѣло дѣлаютъ.

И что всего удивительнѣе, эта свѣжесть „допускалась не только въ области дѣятельности спекулятивной, но и въ области ремеселъ, гдѣ, повидимому, прежде всего требуется, если не искусство, то навыкъ. И тутъ, люди, по приказанію, дѣлались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему дѣлались?—а потому, очевидно, что требовались только простые сапоги, простое платье, простая музыка, то есть такія именно вещи, для выполненія которыхъ совершенно достаточно двухъ элементовъ: приказанія и готовности. Кукольникъ зналъ, что говорилъ, когда вызывался хоть сейчасъ быть акушеромъ. Онъ понималъ, что тутъ предстоитъ акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выраженіе готовности.

Такимъ образомъ, оказывается, что какъ ни велика наша талантливость, все-таки она можетъ считаться дѣйствительною

лишь до тѣхъ поръ, пока существуетъ безпредметность профессій, или, говоря другими словами, пока можно всѣ сапоги шить на одну ногу. Какъ скоро давалцы начнутъ требовать сапоговъ, шитыхъ по мѣрѣ, никакія приказанія не помогутъ нашей готовности. Еще Петръ Великій изволилъ приказать намъ быть европейцами, а мы только въ недавнее время попытались примѣрить на себя заправское европейское платье, да и тутъ все раздумываемъ: не рано ли? да впору ли будетъ?—Какъ хотите, а горше этой формулы самоуничиженія даже выдумать трудно.

Отъ чего же мы отбояриваемся? что защищаемъ? Очевидно, мы защищаемъ то выморочное пространство, которое, послѣ приказанія Петра Великаго: быть всѣмъ росіянамъ европейцами—такъ и осталось ненаполненнымъ. Нѣтъ у насъ ничего, кромѣ пресловутой талантливости, то-есть пустого мѣста, на которомъ могутъ произрастать и пшеница и чертополохъ. Но именно это-то пустое мѣсто и дорого намъ. Раскольники, современные Петру—и тѣ лучше были, ибо говорили: мы хотимъ пахнуть по своему. Мы же ничего не говоримъ, а просто на просто съ пустою въ пусто леземъ. И выходитъ, что мы тоже пахнемъ, только пахнемъ нежилымъ мѣстомъ.

И вотъ, недалеко отъ насъ глухая стѣна. Сапожникъ начинаетъ смутно понимать, что сколько есть на свѣтѣ ногъ, столько же должно быть и сапоговъ; администраторъ, судья, финансистъ догадываются, что зади ихъ профессій есть нѣчто, что движется и заявляетъ о своей конкретности, что требуетъ, чтобъ къ нему, а не его примѣривали. Въ хаосѣ безразличія, въ которомъ еще такъ недавно виталъ нѣкоторый самъ себѣ довлѣющій духъ, начинаютъ выясняться отдѣльные образы, которые съ изумленіемъ смотрятъ на стѣну, воздвигнутую вѣковою русскою готовностью. И вспоминается имъ многострадальная исторія этой готовности. Вспоминается, какъ они, бѣдсебя въ перси, на цѣлый міръ возглашали: мы люди сѣрые, привычные! насъ хоть на куски рѣжь, хоть огнемъ пали, мы на все готовы! Вспоминается, какъ они суетились, раззоряли, громили, жгли—и все это безъ ненависти, безъ злобы, даже безъ мысли, единственно ради похотливаго желанія доказать, сколь талантливъ можетъ быть человѣкъ, когда знаетъ, что его за эту талантливость не подвергнуть тѣлесному наказанію. „Многое мы совершили, многое претерпѣли—говорятъ они—а въ результатѣ все-таки стѣна—и ничего болѣе!“

Эта стѣна, однакожь, не съ неба свалилась и не изъ земли выросла. Мы имѣли свою интеллигенцію, но она заявляла лишь о готовности слѣдовать приказаніямъ. Мы имѣли такъ называе-

мую меньшую братію, но и она тоже заявляла о готовности слѣдовать приказаніямъ. Никто не предвидѣлъ, что наступитъ моментъ, когда каждому придется жить за собственный счетъ. И когда этотъ моментъ наступилъ, никто не вѣритъ глазамъ своимъ; всякій ощущываетъ себя, словно съ перепоя, и не находя ничего въ запасъ, кромѣ таланливости, кричитъ: „измѣна! бунтъ!“

Есть три способа избавиться отъ глухой стѣны. Первый заключается въ томъ, чтобы признать прихотливыми всѣ требованія жизни, которыя почему нибудь намъ не по нутру. Это задача очень трудная (едва ли можно отыскать человѣка, который далъ бы увѣрить себя, что ощущаемыя имъ потребности прихотливы), но еслибъ даже мы рѣшились поддерживать ее, то и тутъ необходимо прежде всего понимать, въ чемъ заключаются приводящія въ затрудненіе потребности, откуда онѣ пришли, и почему могутъ быть сочтены прихотливыми. Однимъ словомъ, необходимы умъ и знаніе. Другой способъ (тоже не весьма надежный) заключается въ томъ, чтобы увѣрить общество, что положеніе у глухой стѣны есть самое выгодное для него положеніе. Этотъ тезисъ еще труднѣе, но и его защитить не невозможно, если есть знаніе объекта бесѣды и подготовленность къ принятію возраженій. Опять таки знаніе и умъ. Наконецъ, третій способъ представляется въ откровенномъ признаніи законности вновь народившихся потребностей и въ пріисканіи для нихъ правильного исхода. Этотъ способъ самый надежный, но тутъ уже просто на просто требуется ума палата.

Какой бы изъ этихъ трехъ путей ни былъ избранъ, во всякомъ случаѣ, таланливость играетъ здѣсь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что нибудь прочное, ни даже помочь обмануть — ничего она собственною силою не можетъ. Вездѣ на первомъ планѣ требуется знаніе, примѣръ, навыкъ. Они одни могутъ дать содержаніе таланливости, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже обуздать ея стремительность. Человѣкъ, который на одной таланливости созидаетъ зданіе своего будущаго благополучія — это человѣкъ, у котораго есть пламенное сердце, но въ этомъ сердцѣ нѣтъ ничего, кромѣ погадки готовности. Съ этой погадкой ему предстоитъ одно изъ двухъ: или удивить міръ продерзостью, или наполнить вселенную зловоніемъ. Повидимому, это очень большой рискъ. Но мы убѣдимся, что тутъ даже риска никакого нѣтъ, если примемъ въ соображеніе, что сневѣжничать во всякомъ случаѣ легче, нежели совершить подвигъ. А таланливость именно тѣмъ и отличается, что всегда имѣетъ въ виду дѣла самыя блестящія, то-есть са-

мья легкія. Божѣу съѣсть, вавилонскую башню проектировать— вотъ задачи, которыя ей лѣстать, на которыя она обращаетъ всю свою похотливость. И посмотрите, съ какою легкою вступаютъ эти люди впередъ! Какъ они зарайѣ трубятъ о побѣдѣ, какъ клянутся голыми руками потушить пылающій костеръ!

И чѣмъ больше предвкушеніе торжества, тѣмъ больше малодушія, ненависти и подозрительности при первомъ неуспѣхѣ. Эта послѣдняя черта очень опасна, потому что почва бунтовъ и измѣны, на которую вступаетъ потерпѣвшая неудачу талантливость, есть единственная доступная ей уровню. Ни измѣна, ни бунты, по нашему извѣчному обычаю, не требуютъ опредѣленій. Оба эти слова для каждаго ясны сами по себѣ, то-есть ясны именно въ томъ смыслѣ, какой тотъ или другой талантливый субъектъ желаетъ имъ сообщить. Съ произнесеніемъ краткаго и въ то же время совершенно неопредѣленнаго звука пріобрѣтается и исходный пунктъ, и матеріалъ для наполненія всей послѣдующей карьеры. Затѣмъ уже слѣдуютъ обузданія...

А что же, кромѣ обузданій, произвела на свѣтъ наша талантливость за все время ея вѣковаго и при томъ вполне безпрепятственнаго существованія?

Представьте себѣ такой случай: директоръ департамента призываетъ къ себѣ столоначальника, и говоритъ ему: „Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы открыли Америку“.

Я не берусь утверждать, чтобъ столоначальникъ осмѣлился возразить, но онъ все-таки пойметъ, что открытіе Америки совсѣмъ не его ума дѣло. Поэтому, всего вѣроятнѣе, онъ поступитъ такъ: разошлетъ во всѣ мѣста запросы, и затѣмъ постарается кончить это дѣло изморомъ.

Но пускай тотъ же директоръ тому же столоначальнику скажетъ: „Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы всѣхъ этихъ Колумбовъ привели къ одному знаменателю!“

Вы не успѣете оглянуться, какъ Колѹмбы подлинно будутъ обузданы, а Америка такъ и останется неоткрытою.

Митрофаны не измѣнились. Какъ и во времена Фонъ-Визина, они не хотятъ знать арифметики, потому что приходъ и расходъ сосчитаетъ за нихъ приказчикъ; они презираютъ географію, потому что кучеръ довезетъ ихъ куда будетъ приказано; они небрегутъ исторіей, потому что старая нянька всякія исторіи на сонъ грядущій расскажетъ. Одно право они упорно отстаиваютъ—это право обуздывать, право свободно простирать руками впередъ.

Митрофанъ на все способенъ, потому что на все готовъ.

Онъ специалистъ по части гражданского судопроизводства, потому что занималъ деньги и не отдавалъ оныхъ.

Онъ специалистъ по части уголовного судопроизводства, потому что давалъ затрещины и получалъ оныя.

Онъ специалистъ по части администраціи, потому что знаетъ такіа ругательства, которыя могутъ въ одно мгновеніе опалить человѣка.

Онъ специалистъ по части финансовъ, потому что всѣ трактиры были свидѣтелями его финансовыхъ операций.

Онъ медикъ, потому что страдалъ секретными болѣзнями.

Онъ акушеръ, потому что видалъ нагихъ женщинъ.

Всѣ профессии онъ изучилъ на своихъ собственныхъ бокахъ съ такою основательностію, что даже получилъ названіе „выжиги“. „Выжига“—это совсѣмъ не ругательный, а скорѣе дѣловой терминъ, означающій мужа совѣта. „Ужъ коли этакая „выжига“ не поможетъ“, говорятъ вамъ, указывая на Х. или З. „то дѣло твое пропащее“. Вы обращаетесь къ „выжигѣ“, и, къ изумленію вашему, онъ дѣйствительно помогаетъ вамъ. Это до того удивительно, что вамъ непременно приходитъ на мысль, что и этотъ „выжига“, и средства, которыя онъ употребляетъ, и ваше дѣло, и вы сами—все это, взятое вмѣстѣ, не стоитъ ломанаго гроша. Все это какой-то безобразный миражъ, способный поселить въ душѣ не то отчаяніе, не то презрѣніе ко всему: къ жизни, къ себѣ самому...

Дайте „выжигѣ“ рубль серебра, онъ заложитъ душу чорту; дайте пять рублей — онъ самъ сдѣлается чортомъ. Ему и это сдѣлать легко, потому что онъ одинъ въ цѣломъ мірѣ знаетъ, гдѣ найти чорта и что у него просить.

Это ходячій кошмаръ, который прокрадывается во всѣ закоулки жизни и умѣетъ до такой степени прочно внѣдриться всюду, что, не смотря на свою безазбучность, успѣваетъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ и подлиннымъ мужемъ совѣта.

И все благодаря лишь тому, что простота задачъ продолжаетъ привлекать всѣ сердца.

Намъ все еще чудится, что надо нѣчто разорить, чему-то положить предѣлъ, что-то стереть съ лица земли. Не полезное что-нибудь сдѣлать, а именно только разорить. Ежели признать за совѣсти, то это собственно мы и разумѣемъ, говоря о процессѣ созиданія. Наши, такъ называемые, консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется имъ на полнѣннѣю скоро-воспламеняющимися элементами, состоящими изъ козней, крамолъ и измѣнъ. Со всѣмъ этимъ надо, конечно, покончить. Но къ кому же обратиться? Кто возьметъ на себя



трудное обязательство сражаться противъ козней не кознедѣйствующихъ и крамоль не крамольствующихъ? Кто, кромѣ Митрофана, этого вѣчно-талантливаго и вѣчно-готоваго человѣка, для котораго не существуетъ даже объекта движенія и исполнительности, а существуетъ только самое движеніе и самая исполнительность? Налетѣлъ, нагрянулъ, ушибъ — а что ушибъ? — онъ даже не интересуется и узнавать объ этомъ...

Времена усложняются. Съ каждымъ годомъ борьба съ жизнью дѣлается труднѣе для эмпириковъ и невѣждъ. Но Митрофанъ не унываетъ. Они продолжаютъ думать, что карьера ихъ только что началась, и что вселенная есть не что иное, какъ выморочное пространство, которое имъ еще долго придется наполнять своими подвигами. Какимъ образомъ могли зародиться всѣ эти смѣлыя надежды? гдѣ ихъ отправный пунктъ? Увы! услѣдить за этимъ не только трудно, но даже совсѣмъ невозможно.

Митрофанъ плохой теоретикъ; онъ не любитъ ни анализировать, ни обобщать, и упорнѣе всего отворачивается отъ самого себя. Еслибъ вчерашній день былъ въ свѣжей памяти, онъ, быть можетъ, стоялъ бы укоромъ или, по малой мѣрѣ, поученіемъ. Но такъ какъ вчерашняго дня нѣтъ, такъ какъ послѣдовавшая за нимъ ночь принесла за собой хмѣльное забвеніе всего прошлаго, то нѣтъ мѣста ни для поученій, ни для уроковъ. Представьте себѣ пропойца, который встаетъ съ постели съ разбитымъ лицомъ, съ угнетенною винными парами головой, весь подавленный чувствомъ тупого самоотсутствія, которое не даетъ ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разобрать, гдѣ онъ и кто онъ. Еслибъ этотъ человекъ могъ помнить, еслибъ онъ могъ, ясно представить себѣ всѣ подробности безобразій прошедшаго дня, быть можетъ, тутъ произошла бы потрясающая драма. Но такъ какъ онъ ничего не помнить, ничего себѣ не представляетъ, то чувствуетъ только одно: гнетущую потребность опохмѣлиться. Удовлетворивши этой потребности, онъ снова возвращается къ вчерашнему дню, но не для того, чтобы анализировать, а для того, чтобы воспроизвести его съ буквальною точностью. Въ этой безнадёжной картинѣ заключается единственно-возможное объясненіе всего Митрофанова существованія.

Для Митрофана не существуетъ ни опыта, ни преданія, ни возможности дѣлать какія-либо умозаключенія, потому что всякая настоящая минута его жизни безъ остатка вытѣсняется слѣдующею минутою. Его наглость не есть наглость, легкомы-

сліе не есть легкомысліе. Это сейчасъ родившійся и притомъ совершенно порожній человѣкъ, объ котораго, какъ о каменную скалу, разбивается принципъ вмѣняемости. Его дѣйствія можно было бы сравнить съ проявленіемъ стихійной силы, но даже и это сравненіе оказывается неумѣстнымъ, потому что задача стихій — безсознательное разрушеніе рядомъ съ безсознательнымъ творчествомъ, а задача Митрофана — одно безсознательное разрушеніе. Вотъ почему, до сихъ поръ не существуетъ ни одной сколько-нибудь ясной теоріи Митрофанства, которая могла бы оправдать его существованіе и указать на перспективы, ожидающія это явленіе въ будущемъ.

Въ XVIII вѣкѣ, Митрофанъ впервые выступилъ на дорогу дѣятельности во всемъ блескѣ своей талантливости. Въ эту достопамятную эпоху со всѣхъ сторонъ сыпались на него стрѣлы просвѣщенія, и онъ съ какою-то ребяческою отвагой подставлялъ имъ свое рыхлое тѣло. Но въ дѣйствительности онъ облюбовалъ только одну изъ нихъ, а именно ту, которая называется табелью о рангахъ, и въ ней замкнулъ весь смыслъ своего существованія. Все, что стояло рядомъ съ этой табелью, всѣ математики, химіи, механики, фортификаціи и проч., о насажденіи которыхъ, съ жезломъ въ рукахъ, хлопоталъ Петръ Великій — все это только внѣшнимъ образомъ окатило Митрофана, оставивъ въ его тѣлѣ лишь легкій ознобъ. Но табель о рангахъ внѣдрилась, вошла въ плоть и кровь. Съ этою табелью въ рукахъ, хмѣльной отъ приливовъ талантливости, онъ рыскалъ по доламъ и горамъ, внося въ самые глухіе закоулки смѣлую проповѣдь о чиноначаліи, и заражая самыхъ убогія хижины своею просвѣтительною дѣятельностью. Передъ немеркнущимъ блескомъ табели о рангахъ тускло, почти презрѣнно свѣтились прочіе вопросы жизни, то-есть все то, что составляетъ дѣйствительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всѣхъ сторонъ безнадежнѣйшимъ эмпиризмомъ; источники во очію изсякали подъ игомъ расточительности и хищничества: стихіи безконтрольно господствовали надъ трудомъ и жизнью человѣка, а Митрофанъ ничего не замѣчалъ, ни передъ чѣмъ не останавливался, и упорно отставилъ убѣжденіе, что табель о рангахъ дастъ все: и славу и богатство, и рѣшительный голосъ въ дѣлѣ устройства судебъ человѣчества.

Только полуторавѣковой искусъ могъ пошатнуть это убѣжденіе и возбудить сомнѣніе на счетъ живописныхъ свойствъ табели о рангахъ. Но такъ какъ это была единственная форма западно-европейской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и такъ какъ съ нею отождествилась идея о просвѣщеніи, то весьма естественно, что

сомнѣніе въ ея добродѣтели распространилось огуломъ и на всѣ прочіе результаты, выработанныя цивилизаціей Запада. Мнѣнія, что Западъ разлагается, что та или другая раса обвѣгнала и сдѣлалась неспособною для пользованія свободой, что западная наука поражена безплодіемъ, что общественныя и политическія формы Запада представляютъ безконечную цѣпь лжей, въ которой одна ложь исчезаетъ, чтобы дать мѣсто другой—вотъ мнѣнія, наиболѣе любезныя Митрофану. И все потому только, что онъ смѣшалъ цивилизацію съ табелью о рангахъ. Благодаря гг. Бартеневу и Семеvскому, онъ знаетъ не мало анекдотовъ изъ исторіи просвѣтительной дѣятельности XVIII вѣка, и, заручившись ими, считаетъ себя уже совершенно свободнымъ отъ церемонныхъ отношеній къ цивилизаціи вообще. Заговорите съ Митрофаномъ о какихъ угодно открытіяхъ или порядкахъ, которыхъ польза ясна и несомнѣнна даже для неразвитаго человѣка—онъ оскалитъ зубы, и вмѣсто опроверженія ушибетъ васъ такимъ анекдотомъ изъ „Русскаго Архива“, что вамъ сдѣлается неловко. Напрасно вы будете доказывать, что просвѣтительная дѣятельность, на которую онъ ссылается, не есть просвѣтительная дѣятельность, а пародія на нее; что онъ же, Митрофанъ, долженъ быть обвиненъ въ томъ, что изъ всѣхъ плодовъ западной цивилизаціи успѣлъ вкусить только отъ самаго гнилаго и притомъ давно брошеннаго подъ столъ—онъ отвѣтитъ на ваши доказательства другимъ анекдотомъ, еще болѣе пахучимъ, и будетъ дѣйствовать такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока вы не убѣдитесь въ совершенномъ безсиліи какихъ бы то ни было доказательствъ передъ силою анекдота и уподобленія.

Но ежели нѣтъ ясныхъ фактовъ (нельзя же принимать за фактъ одну голую готовность), на основаніи которыхъ можно было бы создать теорію митрофанства, то есть упованія и прозрѣнія. Извѣстно, что ничто такъ не окриляетъ фантазію, какъ отсутствіе фактовъ. Нѣтъ фактовъ,—значитъ, есть пустое пространство, неограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидѣніями. Поэтому, какъ только Митрофанъ вступаетъ на почву упованій, онъ дѣлается смѣль до дерзости, необузданъ до самозабвенія. Онъ говоритъ,—и съ восхищеніемъ слушаетъ самого себя; и чѣмъ больше говоритъ, тѣмъ больше чувствуетъ потребность говорить,—говорить безъ конца. И всегда для своихъ разговоровъ выберетъ тезисъ самый неожиданный и самый блестящій: либо пятую стихію, либо новое слово. „Будетъ носить чужое занозенное бѣлье,—скажетъ онъ,—пора произнести и свое соб-

господа ташкентцы.

ственное, новое слово". И, конечно, надежду на произнесение этого нового слова возложить на самого себя.

Что носить чужое заношенное бѣлье не лестно,—это истина для всѣхъ —непререкаемая. Но Митрофанъ упускаетъ изъ вида, что онъ носилъ это заношенное бѣлье добровольно, не замѣчая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему съ барскаго плеча. Цивилизованные народы всегда имѣютъ полный комплектъ бѣлья, и потому мѣняють его такъ часто, что обладателю рубища это можетъ показаться даже прихотью. Стало быть, въ томъ нѣтъ ничего удивительнаго, что рядомъ съ чистымъ бѣльемъ имѣется порядочная куча и заношеннаго; скорѣе же удивительно то душевное настроеніе, которое заставляетъ останавливаться именно на заношенномъ бѣльѣ предпочтительно передъ чистымъ. Кто-жь виноватъ въ существованіи такого настроенія?

Тайна этой переимчивости заднимъ числомъ опять-таки объясняется слишкомъ большою талантливостью Митрофана. Ему некогда слѣдить за быстро смѣняющимися явленіями жизни, потому что онъ, уловивши одну какую-нибудь крупницу, уже не можетъ отвязаться отъ нея, не натѣшившись властью, не выжавши изъ нея сока, не доведя факта до абсурда. Изъ фрака онъ сдѣлаетъ мундиръ, и напишетъ цѣлый трактатъ, о пошеніи его, изъ бритья бороды онъ создастъ себѣ кумирь, и будетъ носиться съ этимъ кумиромъ до изнеможенія. Восприимчивость угнетаетъ его, и нерѣдко даже дѣлаетъ опаснымъ утопистомъ и безпардоннѣйшимъ регламентаторомъ. Покуда онъ носится съ своимъ „живымъ вопросомъ“, и старается виѣдрить его въ себя на вѣки-вѣчные, живой вопросъ давно уже оказывается сданнымъ въ архивъ, и замѣненнымъ другими, болѣе подходящими вопросами. Что въ результатъ такой упорной восприимчивости можетъ быть только глухая стѣна,—это очевидно; но Митрофанъ слишкомъ самолюбивъ, чтобы обвинить себя въ такомъ неудачномъ результатѣ. „Сколько лѣтъ мы носимъ фраки, сколько крови изъ-за одной бороды пролито, а все толку нѣтъ!“ говорить онъ, и принимаетъ твердое намѣреніе навсегда отвернуться отъ затѣй разлагающагося Запада, который, на его взглядъ, до того уже тощи, что и натѣшиться-то ими вдоволь нельзя.

Никто, конечно, не спорить, что политическія и общественныя формы, выработанныя Западной Европой, далеко не совершенны. Но здѣсь важна не та или другая степенъ несовершенства, а то, что Европа не примирилась съ этимъ несовершенствомъ, не покончила съ процессомъ созданія и не сложила рукъ, въ чаяніи, что счастье само свалится когда-нибудь съ неба. Митрофанъ же смотритъ на это дѣло совершенно иначе.

Заявляя о неудовлетворительности упомянутых формъ. и въ особенноти напирая на то, что у насъ онѣ (являясь въ видѣ заносеннаго чужого бѣлья) всегда претерпѣвали полнѣйшее фіаско, онъ въ то же время завиняетъ и самый процессъ творчества, называетъ его безплоднымъ метаніемъ изъ угла въ уголъ, анархіей, бунтомъ. По обыкновенію, больше всего достается тутъ Франціи, которая, какъ извѣстно, выдумала двѣ вещи: ширину взглядовъ и канканъ. Изъ того числа: канканъ принять Митрофаномъ съ благодарностью, а отъ ширины взглядовъ онъ отплеивается и доднесь со всею страстностью своей воспримчивой натуры.

Увы! Митрофанъ не знаетъ, какъ трудно положеніе человѣка, который обязывается жить своимъ умомъ. Нѣтъ у послѣдняго ничего готоваго, кромѣ того, что онъ приготовилъ своими собственными руками, и до чего додумался силою собственной мыслительной способности. У него, конечно, имѣется въ запасѣ большое подспорье,—наука, которую онъ самъ же выдумалъ и вывелъ въ люди, но наука еще не на столько полна, чтобъ отвѣчать на всѣ запросы жизни. Желанія человѣка опережаютъ науку, и вотъ онъ дѣлаетъ все новыя и новыя попытки, впадаетъ въ заблужденія, поправляетъ себя, и опять заблуждается. Все это обходится очень дорого, но человѣкъ, живущій своимъ умомъ, не можетъ устранить опытовъ, достигающихся даже дорогою цѣной. Онъ знаетъ, во первыхъ, что въ ширинѣ его запросовъ заключается залогъ непрерывающагося развитія жизни, да сверхъ того, не можетъ отказаться отъ попытокъ уже и потому, что одна удовлетворенная потребность рождаетъ въ немъ другую, которая тоже требуетъ удовлетворенія. Поэтому, быть можетъ, онъ копошится нѣсколько болѣе, нежели тотъ солидный человѣкъ, который знаетъ, что кучеръ, навѣрное, привезетъ его туда, куда приказано; и не столь мудръ, какъ тотъ мудрецъ, который стоитъ, уставясь глазами въ стѣну, и твердо уповаятъ, что стѣна сама собой разступится передъ нимъ. Часто намъ случается слышать, какъ говорятъ: „вотъ дрянные людишки! что ни человѣкъ,—то мнѣніе, что ни вопросъ,—то споръ!“ Но это только издали кажется, что эти людишки дрянные; въ сущности, это люди, живущіе своимъ умомъ, и понимающіе всю трудность подобнаго положенія. Простимъ ихъ, ибо они все-таки болѣе самихъ себя беспокоятъ, нежели насъ.

Митрофанъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на политическихъ и общественныхъ формахъ, потому что видѣть ихъ въѣшнюю измѣнчивость, и отъ этого признака приходить къ заключенію о негодности самого процесса созданія этихъ формъ. По его мнѣнію, капризъ и чудачество обуреваютъ



вселенную; люди не по необходимости мѣняютъ старыя формы общезнѣнія на новыя, а потому только, что такъ вздумалось. То внутреннее содержаніе, отъ котораго зависитъ то или другое устройство общества, тѣ открытія и изобрѣтенія человѣческаго ума, которыя такъ рѣзко опредѣляютъ характеръ того или другаго періода исторіи человѣчества, совершенно закрыты для него. Однакоже, это пропускъ очень важный.

Историческая наука недаромъ отдѣлила послѣднія четыре столѣтія и существеннымъ признакомъ этого отграниченія признала великія изобрѣтенія и открытія XV вѣка. Здѣсь, проявленія усилій человѣческой мысли дали жизни человѣчества совсѣмъ иное содержаніе и разъ навсегда доказали, что общественныя и политическія формы имѣютъ только кажущуюся самостоятельность, что онѣ дѣлаются шире и растяжимѣе по мѣрѣ того, какъ пополняется и усложняется матеріаль, составляющій ихъ содержаніе.

Митрофанъ ничего этого не знаетъ и не хочетъ знать. Онъ живетъ въ вѣкѣ открытій и изобрѣтеній, и думаетъ, что между ними и тою или другою формою жизни нѣтъ ничего общаго. Въ его глазахъ передвигаются центры человѣческой индустріи, въ его глазахъ матеріальныя и умственные богатства перемѣщаются изъ однихъ рукъ въ другія, а онъ продолжаетъ думать, что все это не болѣе, какъ случайность, и спѣшитъ заткнуть ту или другую дыру и сдѣлать нѣкоторыя ничтожныя поправки въ обветшавшемъ зданіи табели о рангахъ. Да, — только въ табели о рангахъ, ибо какъ ни глумится надъ ней Митрофанъ подъ веселую руку, а она все-таки и доднесь составляетъ единственный обрывокъ цивилизаціи, дѣйствительно дорогой его сердцу.

И вотъ такимъ-то образомъ проводится время въ ожиданіи „новаго слова“ и открытіи пятой стихіи. Самонадѣянность и хвастовство растутъ, а житье наступаетъ трудное, трудное даже для Митрофановъ. Нелѣпно перенимаютъ они всякую новую штуку, но такъ-какъ эта штука является назависиме отъ общихъ формъ жизни, то весьма естественно, что она ихъ же бьетъ въ лобъ. Міръ открытій и изобрѣтеній, въ глазахъ Митрофановъ, есть міръ подробностей, существующій *an sich und für sich*, и не имѣющій внутренней связи съ общимъ строемъ жизни. Понятно, какое должно выйти столпотвореніе, сколько запласть, пятенъ и брызговъ грязи должно быть на той ризѣ, которую сооружаетъ себѣ Митрофанъ, и къ которой онъ каждый день прибавляетъ по новой запласть, по новому грязному пятну.

Но, кромѣ путаницы, Митрофану угрожаетъ еще другая

бѣда: отчаяніе. Онъ можетъ очутиться въ положеніи раскольника, съ часу на часъ ожидающаго антихриста. Если антихристъ въ виду, если черезъ минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сѣять, ни собирать въ житницы, а нужно заботиться только о саванѣ и гробѣ. Подобно сему, если каждое новое открытіе или усовершенствованіе приводитъ лишь къ тому, что бьетъ въ лобъ, и ежели при этомъ нѣтъ даже поползновенія опредѣлить причину такого страннаго дѣйствія открытій и усовершенствованій, то остается одно изъ двухъ: или закутаться въ саванъ, или обратиться въ дикое состояніе.

И за всѣмъ тѣмъ, насъ ждетъ еще „новое слово“... но Боже мой! сколько же есть прекрасныхъ и вполне испытанныхъ старыхъ словъ, которыхъ мы даже не пытались произнести, какъ уже хвастливо выступаемъ впередъ съ чѣмъ-то новымъ, которое мы, однакожъ, не можемъ даже опредѣлить! Есть ли расчетъ предпочесть неизвѣстное извѣстному? и честно ли, наконецъ, угрожать вселенной „новымъ словомъ“, когда намъ самимъ небезизвѣстно, что матеріалъ для этого „новаго слова“ состоитъ исключительно изъ „краткихъ начатковъ“ да изъ первыхъ четырехъ правилъ ариметики?

Гдѣ-жъ элементы будущаго? вотъ вопросъ.

Въ теченіи послѣднихъ пятнадцати лѣтъ, у насъ выступило впередъ многое, о чемъ никому и не снилось до того времени. На недостатокъ приказаній мы пожаловаться не можемъ, ибо ими наполнены всѣ страницы нашей новѣйшей исторіи,—какимъ же образомъ отвѣчала на нихъ наша талантливость?

Всюду, куда мы ни обратимся, встрѣчаемъ одинъ отвѣтъ: погодите! еще время не ушло!

У насъ есть сословіе адвокатовъ... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть гласный и устный судъ... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть земскіе дѣятели... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть опыты крестьянскаго самоуправленія... погодите! еще время не ушло!

Погодите! не торопитесь! куда спѣшить! въ одинъ голосъ вопіють всѣ Митрофаны, и вопіють такъ громко, что посторонній человѣкъ останавливается въ какомъ-то странномъ недоумѣніи. Съ одной стороны, судя по непрерывности предостерегающихъ криковъ, ему кажется, что въ сей пространной вѣси происходитъ либеральное столпотвореніе; съ другой стороны, онъ

видить, ясно видеть, что вся поспѣшность здѣсь заключается въ томъ, чтобы не спѣшить.

А этимъ временемъ, помаленьку да потихоньку, адвокаты превращаются въ „аблакатовъ“, а земскіе дѣятели—въ устроителей цѣвниковъ, закусокъ и обѣдовъ.

Подготовки нѣтъ, а ремесленность уже проникаетъ всюду. Ремесленность самаго низшаго сорта, ремесленность, ничего иного не вождѣляющая, кромѣ гроша. Надулъ, сосводничалъ, получилъ грошъ, изъ онаго копейку пропилъ, другую спряталъ—въ этомъ весь интересъ настоящаго. Когда грошей накопится достаточно, можно будетъ задрать ноги на столъ и начать пить безъ просыпу: въ этомъ весь идеалъ будущаго.

И съ такимъ-то запасомъ, съ такими-то идеалами, Митрофанъ собирается въ дальній путь и надѣется сказать свое новое слово. Въ ожиданіи же минуты, когда „слово“ назрѣетъ, онъ не на шутку мечтаетъ быть просвѣтителемъ.

Просвѣтительная миссія—это идеалъ Митрофана, это провиденціальное его назначеніе. Со штофомъ въ рукѣ, съ непреодолимымъ аппетитомъ въ желудкѣ, онъ мечется изъ угла въ уголъ, обѣщая все привести къ одному знаменателю (къ какому—онъ самъ того не знаетъ), и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого привести къ знаменателю просвѣщенія...

Молчаніе—вотъ единственный ясный результатъ, который покуда выработала наша такъ называемая талантливость. Затѣмъ, въ ожиданіи того таинственнаго „новаго слова“, которому предстоитъ обновить міръ, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопросъ:

Гдѣ-жъ элементы будущаго?

## ЧТО ТАКОЕ «ТАШКЕНТЦЫ»?

„Ташкентцы“ — имя собирательное.

Тѣ, которые думаютъ, что это только люди, желающіе воспользоваться прогонными деньгами въ Ташкентѣ, ошибаются самымъ грубымъ образомъ.

„Ташкентецъ“ — это просвѣтитель. Просвѣтитель вообще, просвѣтитель на всякомъ мѣстѣ, и во что бы то ни стало; и притомъ просвѣтитель, свободный отъ наукъ, но не смущающійся этимъ, ибо наука, по мнѣнію его, создана не для распространенія, а для стѣсненія просвѣщенія. Человѣкъ науки прежде всего требуетъ азбуки, потомъ складовъ, четырехъ правилъ ариѳметики, таблички умноженія и т. д. „Ташкентецъ“ во всемъ этомъ видитъ неумѣстную придирку и прямо говоритъ, что останавливаться на подобныхъ мелочахъ значитъ спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Онъ создалъ особенный родъ просвѣтительной дѣятельности — просвѣщенія беззвучнаго, которое не обогащаетъ просвѣщаемого знаніями, не даетъ ему болѣе удобныхъ общежительныхъ формъ, а только снабжаетъ извѣстнымъ запахомъ. Тотъ, кто пьетъ хересъ très-vieux, считаетъ себя просвѣтителемъ относительно того, кто пьетъ хересъ просто vieux; тотъ, кто пьетъ хересъ vieux, считается просвѣтителемъ всѣхъ, пьющихъ настойку и водку. Разумѣется, это только примѣръ; но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятіе о градаціи. Градацію эту онъ можетъ перенести во всякую другую сферу (напримѣръ, въ сравнительную сферу куртковъ и поддевокъ, ресторановъ и харчевень, кокотокъ, имѣющихъ ложу въ бельэтажѣ, и кокотокъ

безнадежно пристающихъ къ прохожему въ Большой Мѣщанской и т. п.), лишь бы она кончалась человѣкомъ, „который ѣсть лебеду“. Это тотъ самый человѣкъ, на которомъ окончательно обрушивается ташкентство всевозможныхъ родовъ и видовъ.

Но и здѣсь не слѣдуетъ понимать буквально, что „человѣкъ, питающійся лебедю“, долженъ непремѣнно наполнять свой желудокъ этимъ суррогатомъ. „Лебеда“, какъ и „голодь“, суть выраженія фигуральныя, дающія мѣсто для великаго множества представленій. Есть лебеда натуральная, которая слыветъ въ мірѣ подъ названіемъ подспорья, и отъ которой, во всякомъ случаѣ, хотъ животь у человѣка пучить; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьемъ ничему не служить. Человѣкъ, который питается этою послѣднею лебедю, есть именно тотъ человѣкъ, котораго голоду нѣтъ предѣловъ. Онъ со всѣхъ сторонъ открытъ для дѣйствія безазбучнаго. Онъ не можетъ дать отпора, потому, что у него самого нѣтъ единственнаго орудія, съ помощью котораго можно отражать безазбучное просвѣтительство—нѣтъ азбуки. Какимъ образомъ ея не оказывается на лицо—отъ рожденія ли онъ не имѣлъ ея, или утратилъ вслѣдствіе разныхъ историческихъ обстоятельствъ—дѣло не въ томъ; во всякомъ случаѣ, онъ стоитъ со всѣхъ сторонъ открытый, и любому охочему человѣку нѣтъ никакой трудности приложить къ нему какія угодно просвѣтительныя задачи.

Однажды, я собственными ушами слышалъ слѣдующій разговоръ:

— Дайте срокъ! говорилъ нѣкто:—вотъ тамъ-то (имя рекъ) должны произойти на дняхъ серьезный замѣшательства—безъ насъ дѣло не обойдется!

— Шагу безъ насъ не сдѣлають! ораторствовалъ другой:—только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не слѣдуетъ, не то какъ разъ перебьютъ дорогу!

Я полюбопытствовалъ взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нѣчто въ родѣ гориллъ, способныхъ раздробить зубами дуло ружья. У каждого изъ нихъ, навѣрное, восприимницей была управа благочинія, не та, которая имѣетъ мѣстопробываніе на Садовой улицѣ, а та, которая издревле подстерегаетъ рожденіе охочаго русскаго человѣка, и тотчасъ же принимаетъ его въ свои нѣдра, чтобъ не выпустить оттуда никогда.

Въ другой разъ я слышалъ другой разговоръ:

— Слышали? игилисты-то!.. вѣдь это, батюшка, кладъ!

— Кладъ-то кладъ; только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не нужно, а слѣдуетъ разъ-разъ-разъ... вашему превосходительству имѣю честь явиться!

Я взглянулъ: передо мною были тѣ-же гориллы.

Въ третій разъ:

— Взялъ и ухватилъ! Потому, сударь, что въ этомъ дѣлѣ главное—ухватить! Даже ума не требуется! Кому слѣдуетъ вручить, съ кого слѣдуетъ получить! Ухватилъ—и баста!

— Ухватить-то ухватилъ; только зѣвать тоже не слѣдуетъ, потому что нашего брата ноньче ой-ой какъ расплодилось!

Опять гориллы...

Чего хотѣли эти человѣкообразные? чему они радовались? Съ тѣмъ, съ какими орудіями они приступали къ дѣйствию? Вотъ эти-то вопросы и слѣдуетъ предлагать себѣ всякій разъ, когда присутствуешь при подобнаго рода разсужденіяхъ и разговорахъ. Если этихъ вопросовъ не будетъ, вся соль разсужденій утратится, а вмѣстѣ съ тѣмъ утратится и смыслъ общаго теченія жизни. Очень часто мы проходимъ, слышимъ, смотримъ, и нисколько не вдумываемся въ то, мимо чего проходимъ, что слышимъ, на что смотримъ. Въ большей части случаевъ, конкретность поражаетъ наши чувства скорѣе машинально, нежели сознательно, и вслѣдствіе этого, явленія, по малой мѣрѣ, сомнительныя, кажутся обыкновенными, чуть не доблестными. Обнажимъ ихъ отъ покрововъ обыденности, дадимъ мѣсто сомнѣніямъ, поставимъ въ упоръ вопросъ: кто вы такіе? откуда?—и мы можемъ заранее сказать себѣ, что наше сердце замретъ отъ ужаса, при видѣ праха, который поднимется отъ одного сознательнаго прикосновенія къ нимъ...

Вопрошать всегда слѣдуетъ, хотя-бы проходящее передъ нашими глазами явленіе представлялось обыденнымъ, или даже совсѣмъ постороннимъ. Говорятъ, что излишніе вопросы прибавляютъ излишнюю горечь въ жизни, что отсутствіе вопросовъ предохраняетъ отъ состоянія безсмысленнаго страха, въ которомъ очутился-бы человѣкъ, если-бы онъ всегда видѣлъ вещи въ ихъ дѣйствительномъ, безпокровномъ видѣ. Это правда; но правда и то, что вѣдь вслѣдъ за страхомъ сама собою приходитъ и охота освободиться отъ него, а это уже выигрышъ несомнѣнный. Поэтому, слѣдуетъ разъ на всегда сказать себѣ, что въ мірѣ общественныхъ отношеній нѣтъ ничего обыденнаго, а тѣмъ менѣе посторонняго. Все насъ касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успѣемъ покорить свои страхи, когда уловимъ интимный тонъ жизни, или иначе, когда мы вполне усвоимъ себѣ обычай вопрошать всѣ безъ изъятія явленія, которыя она производитъ.

Чего хотѣли упомянуть выше люди?—этотъ вопросъ разрѣшается однимъ словомъ:

Жрать!!

Жрать что бы то ни было, цѣною чего бы то ни было!

Жгучая мысль объ ѣдѣ не даетъ покоя беззабучнымъ; она день и ночь грызетъ ихъ существованіе. Какъ добыть ѣду? въ этомъ весь вопросъ. Къ счастью, есть штука, называемая беззабучнымъ просвѣщеніемъ, которая ничего не требуетъ, кромѣ цѣпкихъ рукъ и хорошо развитыхъ инстинктовъ плотоядности— вотъ въ эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своихъ здоровыхъ зубовъ...

Отрицать чье бы то ни было право на ѣду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разроастается до такихъ размѣровъ, за которыми уже слѣдуетъ опасность. Дѣло въ томъ, что беззабучный ташкентецъ требуетъ ѣды не только не купленной, но и непрерывно возобновляющейся; онъ никогда не довольствуется однимъ кускомъ, но, проглатывая этотъ кусокъ, уже усматриваетъ другой. Чѣмъ больше онъ ѣстъ, тѣмъ больше онъ голоденъ, и это объясняется тѣмъ естественнѣе, что онъ даже утратилъ привычку утолять свой голодъ порядочнымъ образомъ. Онъ не ѣстъ, а закусываетъ, хватая урывками, на лету; вотъ почему, непрерывное его закусываніе не бросается въ глаза. Ёда падаетъ словно въ пропасть. Закусывая и перехватывая, ташкентецъ непримѣтно истребляетъ цѣлыя массы всякаго рода тушъ, и, къ удивленію, это нисколько не утолняетъ его. Въ томъ-то и заключается ужасъ, который возбуждаетъ этотъ человѣкъ, что онъ никогда не скажетъ: я сытъ!

Если намъ не кажутся странными нѣкоторыя радости, если мы не останавливаемся въ оцѣнѣннн передъ нѣкоторыми надеждами, то это потому только, что мы не даемъ себѣ труда анализировать ихъ внутреннее содержаніе. А между тѣмъ, въ этихъ случаяхъ чье-то счастье всегда основано на чьемъ-то несчастіи, чья-то надежда всегда равносильна чьему-то отчаянію. Сомнѣніе здѣсь тѣмъ болѣе непростительно, что достаточно самаго поверхностнаго обзора подобныхъ личностей, чтобы почувствовать себя неспокойно. Одни идутъ медленно, глядятъ угрюмо и строго, шевелятъ челюстями, скрипятъ зубами, какъ будто говорятъ: дай срокъ! перекушу я тебѣ когда нибудь горло! Другіе виляютъ, поражаютъ своею юркостію и самымъ наивнымъ образомъ изыскиваютъ способы снять съ васъ сюртукъ, а въ случаѣ надобности и лишить васъ мимоходомъ жизни. Смотрите внимательнѣе—и, навѣрное, вы сдѣлаете такія открытія, которыя непременно принесутъ пользу. Отъ васъ не ускользнутъ ни судорожныя подергиванья рукъ, ни блудящіе огоньки, которыми, по временамъ, искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; однимъ словомъ, ничего изъ того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будетъ,

чтобъ обогатить вашъ умъ познаніями и раскрыть сущность явленія, дотолѣ загадочнаго. Вы приучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупить себя простодушною обыденностью. Въ вашу душу проникнетъ страхъ, но повторяю: это здоровый страхъ, потому что онъ приводитъ за собой рѣшимость во что бы ни стало освободиться отъ него.

Нѣтъ ничего опаснѣе обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается передъ нами дрянной человѣчишко, и мы не спрашиваемъ даже себя: кого-то онъ оборвалъ? Кого-то заживо освѣжевалъ? Кого-то проглотилъ? Мы ждемъ, чтобъ намъ объявили объ этомъ съ церемоніей, то есть, чтобъ тутъ былъ и приговоръ суда, и эшафотъ, и заплочный мастеръ. Только тогда, на мѣстѣ казни, всматриваясь въ эту несытую фигуру, мы говоримъ себѣ: „каковъ! а я еще вчера видѣлъ, какъ онъ шнырилъ по улицамъ!“ Но даже и это не всегда вразумляетъ насъ, ибо, сказавши себѣ такое назиданіе, мы тутъ же опять вступаемъ на торную дорогу, опять завязываемъ себѣ глаза, и не расстаемся съ нашей повязкой до тѣхъ поръ, покуда новая церемонія съ эшафотомъ и заплочнымъ мастеромъ насильно не сорветъ ея.

Понять извѣстное явленіе значить уже обобщить его, значитъ осуществить его для себя не въ одной какой-нибудь частности, а въ цѣломъ рядѣ таковыхъ, хотя бы онѣ, на поверхностный взглядъ, имѣли между собой мало общаго. Понять же явленіе вредное, порочное—значить на половину предостеречь себя отъ него. Вотъ почему, я прошу читателя убѣдиться, что названіе „ташкентцы“ отнюдь не слѣдуетъ принимать въ буквальный смыслъ. О! еслибъ всѣ ташкентцы нашли себѣ убѣжище въ Ташкентѣ! Мы могли бы сказать тогда: „Ташкентъ есть страна, населенная вышедшими изъ Россіи, за ненадобностью, такътентцами“. Но теперь — развѣ мы можемъ указать навѣрное, гдѣ начинаются границы нашего Ташкента, и гдѣ онѣ кончаются? не живутъ ли господа ташкентцы посреди насъ? не рыскаютъ ли стадами по вѣсѣмъ и градамъ нашимъ?

И вѣдь никто-то, никто не признаетъ ихъ за ташкентцевъ, а всѣ видятъ лишь добродушныхъ малыхъ, которымъ до смерти хочется ѣсть...

Ташкентъ, какъ терминъ географическій, есть страна, лежащая на юго-востокъ отъ Оренбургской губерніи. Это классическая страна барановъ, которые замѣчательны тѣмъ, что къ стрижкѣ ласковы, и послѣ оголѣнія вновь обрастаютъ съ изумительной быстротой. Кто будетъ ихъ стричь — къ этому во-



просу они, повидимому, равнодушны, ибо знаютъ, что стрижка есть нѣчто неизбежное въ ихъ жизни. Какъ только они завидятъ, что вдали грядетъ человѣкъ стригущій и брѣющій, то подгибають подъ себя ноги, и ждуть...

Какъ терминъ отвлеченный, Ташкентъ есть страна, лежащая всюду, гдѣ бьютъ по зубамъ, и гдѣ имѣетъ право гражданственности преданіе о Макарѣ, телятъ не гоняющемъ. Если вы находитесь въ городѣ, о которомъ въ статистическихъ таблицахъ сказано: жителей столько-то, приходскихъ церквей столько-то, училищъ нѣтъ, библиотекъ нѣтъ, богоугодныхъ заведеній нѣтъ, острогъ одинъ и т. д.—вы можете сказать безъ ошибки, что находитесь въ самомъ сердцѣ Ташкента. Навѣрное, вы найдете тутъ и просвѣтителей, и просвѣщаемыхъ, услышите крики: „ай! ай!“ свидѣтельствующіе о томъ, что корни ученія горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классическаго, въ потѣ лица снискивающаго свою лебеду человѣка, около котораго, вѣчно его облюбовывая, похаживаетъ вѣчно несытый, но вѣчно жрущій ташкентецъ. Но училищъ и библиотекъ все-таки не найдете.

Нашъ Ташкентъ, о которомъ мы ведемъ здѣсь рѣчь, находится тамъ, гдѣ дерутся и бьютъ.

Вчера я былъ въ театрѣ, въ самомъ аристократическомъ изъ всѣхъ—въ итальянской оперѣ—и вдругъ увидѣлъ ташкентца, и что всего удивительнѣе—ташкентца-француза (оказалось, что это былъ генералъ Флѣри). Скулы его были развиты необычайно, носъ орлиный, зубы стиснуты, глаза—искали. Что-то безнадежное связывалось въ этой сухой и мускулистой фигурѣ, какъ будто тамъ, внутри, все давно застыло и умерло. Разумѣется, кромѣ чувства плотоядности. Я инстинктивно обратился къ моему сосѣду и съ волненіемъ, какъ будто хотѣлъ его предостеречь, сказалъ:

— Посмотрите, какой ташкентецъ!

Сосѣдъ съ удивленіемъ взглянулъ сначала на меня, потомъ въ ту сторону, въ которую я указывалъ; затѣмъ началъ всматриваться-всматриваться, и наконецъ пожалъ мнѣ руку, какъ будто въ самомъ дѣлѣ я избавилъ его отъ бѣды.

Изъ этого я заключилъ, что, кромѣ тѣхъ границъ, которыхъ невозможно опредѣлить. Ташкентъ существуетъ еще и за границею (каламбуръ плохой, но пускай онъ останется, благо понятенъ).

Переходя отъ одного умозаключенія къ другому, я пришелъ къ догадкѣ, что даже такіа формы, которыхъ, повидимому, свидѣтельствуютъ о присутствіи цивилизации, не всегда могутъ служить ручательствомъ, что Ташкентъ изгибъ. Ташкентъ

удобно мирится съ желѣзными дорогами, съ устностью, гласностью, однимъ словомъ, со всѣми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится такъ-называемая цивилизація. Прибавьте только къ этимъ выгодамъ самое маленькое слово: **фю-ить!** — и вы получите такой Ташкентъ, лучше котораго желать не надо.

Истинный Ташкентъ устраиваетъ свою храмину въ нравахъ и въ сердцѣ человѣка. Всякій, кто видитъ въ семейномъ очагѣ своего ближняго не огражденное мѣсто, а арену для веселоправныхъ похожденій, есть ташкентецъ; всякій, кто въ физиономіи своего ближняго видитъ не образъ Божій, а токѣ, на которомъ можетъ во всякое время молотить кулаками, есть ташкентецъ; всякій, кто не стѣсняясь швыряетъ своимъ ближнимъ, какъ неодушевленной вещью, кто видитъ въ немъ лишь матеріалъ, на которомъ можно удовлетворять всевозможнымъ проказливымъ движеніямъ, есть ташкентецъ. Человѣкъ разсуждающій, что вселенная есть не что иное, какъ выморочное пространство, существующее для того, чтобъ на немъ можно было плевать во всѣ стороны, есть ташкентецъ...

Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жизни обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть переходными. Можетъ быть, именно чувствуется потому, что въ подобныя минуты, рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается нѣчто похожее на гражданственность, нѣчто напоминающее человѣку на возможность располагать своими движеніями... потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Можетъ быть, это „нѣчто зараждающееся“, „нѣчто намекающее“ и дѣлаетъ особенно нестерпимую боль при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйствительно, все это очень возможно; но что же кому за дѣло до этого! Развѣ объясненія утѣшаютъ кого-нибудь? развѣ они умалютъ хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже въ самыя глухія, печальныя историческія эпохи нельзя себѣ представить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ рукою, сколько ихъ видится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися сколько людей все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ безконечнаго аппетита!

Я, конечно, былъ бы очень радъ, еслибъ могъ, начиная этотъ рядъ характеристикъ, сказать: читатель! смотри, вотъ издыхающій Ташкентъ! но, увы! я не имѣю въ запасѣ даже этого утѣшенія! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но, въ тоже время, знаю, что есть и Ташкентъ,

который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентовъ, по истинѣ, пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, вездѣ сюрпризъ. Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей, несомнѣнно скверныхъ и опасныхъ, и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: пади! задавлю! и вижу людей работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: пади! задавлю! Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы упразднить дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить. Мнѣ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся и окрѣпшій. Пожалуй, я и на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ — въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но вѣдь это только доказываетъ, что и пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достаточно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ неправы въ своей безнадёжности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного.

Этотъ порочный кругъ не можетъ не огорчать. Когда видишь такое общественное положеніе, въ которомъ одинъ Ташкентъ упраздняется только по милости возникновенія другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и дѣлается вѣщуномъ чего-то недобраго. Говорятъ: новый Ташкентъ необходимъ только для того, чтобы стереть слѣды стараго; какъ скоро онъ выполнитъ эту задачу, то перестанетъ быть Ташкентомъ. На это я могу отвѣтить только: да; это разсужденіе очень ободрительное; но и за всѣмъ тѣмъ, я ни на юту не усилю моего легковѣрія, и не надѣну узды на мои сомнѣнія. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: съ одной стороны, упорствующую безазбучность; съ другой — увеличивающійся аппетитъ и возрастающую затѣйливость требованій для удовлетворенія его. Ничто такъ не прихотливо, какъ Ташкентъ, твердо рѣшившійся не выходить изъ безазбучности и, въ то же время, уже порастлившійся тонкою примѣсью цивилизації. Пирогъ начиненный устностью и гласностью — помилуйте! да это такое объяденье, что вѣкъ его ѣшь — и вѣкъ сытъ не будешь! Тутъ-то и лестно размахнуться, когда размахъ сопровождается какими-то пикантными видимостями, какъ будто препятствующими, а въ сущности едва ли не споспѣшествующими. Вѣдь и изъ опыта извѣстно, что наръзное ружье стрѣляетъ дальше, нежели ружье, у котораго дуло имѣетъ внутренность гладкую...

Милостивые государи! если вы не вѣрите въ существованіе господъ ташкентцевъ, я попросилъ бы васъ выйти на минуту на улицу. Тамъ вы навѣрное и на каждомъ шагѣ насладитесь такого рода разговорами:

— Я бы его, каналью, въ бараній рогъ согнулъ! говорить одинъ:—да и жаловаться бы не велѣть!

— Этого челоѣка четвертовать мало! восклицаетъ другой!

— На необитаемый островъ-съ! пускай тамъ морошку собираетъ-съ! вопіетъ третій.

Не думайте, чтобъ это были приговоры какого-то жестокаго, но все-таки установленнаго и всѣми признаннаго судилища; нѣтъ, это приговоры простыхъ охочихъ русскихъ людей. Они ходятъ себѣ гуляючи по улицѣ, и мимоходомъ ввертываютъ въ свою безазбучную рѣчь словцо о четвертованіи. Иногда они даже не понимаютъ и содержанія своихъ приговоровъ и измышляютъ всевозможныя казни единственно по простосердечію... Да, читатель, по простосердечію! и ежели ты сомнѣвался, что даже въ словѣ „четвертованіе“ можетъ вкратѣ простосердечіе, то взгляни на эти самодовольныя фигуры, устремляющіяся въ клубъ обѣдать—и убѣдись!

Меня нерѣдко занимаетъ вопросъ: можетъ ли палачъ обѣдать? можетъ ли онъ быть отцомъ семейства? какую картину долженъ представлять его семейный бытъ? ласкаетъ ли онъ жену свою? гладитъ ли по головѣ ребенка? Помнить ли онъ? то-есть, помнить ли, что онъ заплочный мастеръ?

Признаюсь, я долгое время не могъ даже представить себѣ, чтобъ палачъ имѣлъ надобность насыщаться; мнѣ казалось, что онъ долженъ быть всегда сытъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ ташкентцевъ, которые, посуливъ кому-то четвертованіе и голодную смерть на необитаемомъ островѣ, тутъ же сряду устремлялись обѣдать — мои сомнѣнія сразу покончились. Да, сказалъ я себѣ — это вѣрно; палачъ можетъ обѣдать, можетъ имѣть семейство, ласкать жену, гладить по головѣ ребенка! Что нужно, что онъ сегодня же утромъ гладилъ кого-то по спинѣ? — былъ часъ и было дѣло; настала другой часъ — настало другое дѣло; въ такомъ-то часу онъ заплочный мастеръ, въ такомъ-то—отецъ семейства, въ такомъ-то—полезный гражданинъ... Всѣ часы распределены, и у всякаго часа есть особенная клѣтка. Все имѣетъ свою очередь, все идетъ своимъ порядкомъ и, слѣдовательно, все обстоитъ благополучно...

Но оставимъ заплочнаго мастера и займемся нашими ташкентцами, изъ разряда простодушныхъ.

„Согнуть въ бараній рогъ“ — ясно, что эти люди не понимаютъ, какъ это больно, если они не теряютъ даже аппетита, выразивши своему ближнему такое странное пожеланіе. Ясно также, что они и о „необитаемомъ островѣ“ имѣютъ понятіе только по слышанной ими въ дѣтствѣ исторіи о Робинзонѣ Крузо. Можетъ быть, имъ думается, что вотъ дескать Робин-

зонтъ и въ пустынѣ нашелъ средства приготовить себѣ обѣдъ и прикрыть свою наготу... Невѣжды! они не знаютъ даже того, что это исторія вымышленная! Но въ томъ-то и дѣло, что есть случаи, когда невѣжество не только не вредитъ, но помогаетъ. Вопервыхъ, оно освобождаетъ человѣка отъ множества представлений, передъ которыми онъ отступилъ бы въ ужасъ, если бы имѣлъ отчетливое понятіе о ихъ внутренней сущности; во вторыхъ, оно позволяетъ содержать аппетитъ въ постоянно-достаточной степени возбужденности. Защищенный броней невѣжества, чего можетъ устыдиться гуляющій русскій человѣкъ?— того ли, что въ произнесенныхъ имъ сейчасъ угрозахъ нельзя усмотрѣть ничего другого, кромѣ бессмысленнаго бреха? но почему же вы знаете, что онъ и самъ не смотритъ на всѣ свои дѣйствія, на всѣ свои слова, какъ на сплошной брехъ? Онъ ходитъ — брешетъ, ѣстъ — брешетъ. И знаетъ это, и ни мало ему не стыдно.

Что тутъ есть брехъ — это несомнѣнно. Но дѣло въ томъ, что васъ настагаетъ не одиночный какой-нибудь брехъ, а цѣлая совокупность бреховъ. И вдругъ вамъ объявляютъ, что эта-то совокупность именно и составляетъ общественное мнѣніе. Сначала вы не вѣрите, и усиливаете ваши наблюденія; но мало по малу сомнѣнія слабѣютъ. Проходитъ немного времени и вы уже восклицаете: какъ это странно, однакожь!.. всѣ брешутъ!

Всѣ не всѣ, но это не мѣшаетъ предполагать, что если бы при употребленіи нѣкоторыхъ выраженій, мы давали мѣсто элементу сознательности, то дѣло отъ этого едва ли бы проиграло.

Возьмемъ для примѣра хоть одно такое выраженіе: согнуть въ бараній рогъ. Что нужно сдѣлать, чтобы выполнить эту угрозу? нужно перегнуть человѣка почти вчетверо, и при томъ такъ, чтобъ головой онъ упирался въ животъ, и чтобъ потомъ ноги черезъ голову перекинулись бы на спину. Тогда только образуется довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобіе бараньяго рога. Возможно ли подобное предпріятіе?—по совѣсти, это сказать нельзя. Я увѣренъ, что человѣкъ умретъ немедленно, какъ только начнутъ пригибать его голову съ тѣми усиліями, какія необходимы для подобной операціи. Когда онъ умретъ, конечно, уже можно будетъ и пригибать и наматывать какъ угодно, но удовольствія въ этомъ занятіи не будетъ. Какая польза оперировать надъ трупомъ, который не можетъ даже выразить, что онъ цѣнитъ дѣлаемые по поводу его усилія? По моему, если ужъ оперировать, такъ оперировать надъ живымъ человѣкомъ, который можетъ и чувствовать, и слегка нагрубить, и въ то же время не лишень способности произвести правильную оцѣнку...

Но, скажутъ мнѣ, какъ же вы не понимаете, что выраженіе „въ бараній рогъ согнуть“ есть выраженіе фигуральное? Знаю я это, милостивые государи! знаю, что это даже просто брехъ. Но не могу не огорчаться, что въ нашу и безъ того не очень богатую рѣчь постепенно вкрадывается такое ужасное множество бреховъ самыхъ пошлыхъ, самыхъ вредныхъ. По моему мнѣнію, не мѣшало бы подумать и о томъ, чтобы освободиться отъ нихъ.

И такъ, Ташкентъ можетъ существовать во всякое время и на всякомъ мѣстѣ. Не знаю, убѣдился ли въ этомъ читатель мой, но я убѣжденъ на столько, что считаю себя даже вполне компетентнымъ, чтобы написать довольно подробную картину нравовъ, господствующихъ въ этой отвлеченной странѣ. Такимъ образомъ, я нахожу возможнымъ изобразить:

ташкентца, цивилизующаго *in partibus*;

ташкентца, цивилизующаго внутренности;

ташкентца, разрабатывающаго собственность казенную (въ просторѣчій, казнокрадъ);

ташкентца, разрабатывающаго собственность частную (въ просторѣчій, воръ);

ташкентца промышленнаго;

ташкентца, разрабатывающаго смуту внѣшнюю;

ташкентца, разрабатывающаго смуту внутреннюю;

и такъ далѣе, почти до безконечности.

Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всѣхъ имѣется одинъ соединительный крикъ:

Жрать!!

Я не предполагаю писать романъ, хотя похождения любого изъ ташкентцевъ могутъ представлять много запутаннаго, сложнаго и даже поразительнаго. Мнѣ кажется, что романъ утратилъ свою прежнюю почву съ тѣхъ поръ, какъ семейственность и все, что принадлежитъ къ ней, начинаетъ измѣнять свой характеръ. Романъ (по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, какимъ онъ являлся до сихъ поръ) есть по преимуществу произведеніе семейственности. Драма его начинается въ семействѣ, не выходитъ оттуда и тамъ же заканчивается. Въ положительномъ смыслѣ (романъ англійскій), или въ отрицательномъ (романъ французскій), но семейство всегда играетъ въ романѣ первую роль.

Этотъ теплый, уютный, хорошо обозначившійся элементъ, который давалъ содержаніе роману, улетучивается на глазахъ у всѣхъ. Драма начинаетъ требовать другихъ мотивовъ; она

господа ташкентцы. 3

зарождается гдѣ-то въ пространствѣ, и тамъ кончается. Покуда это пространство не освѣщено, все въ немъ будетъ казаться и холодно, и темно, и безпріютно. Перспективъ не видно; драма кажется отданною въ жертву случайности. Того пришло, тотъ умеръ съ голоду — развѣ такое разрѣшеніе можетъ быть названо разрѣшеніемъ? Конечно, можетъ; и мы не признаемъ его таковымъ единственно потому, что оно предлагается намъ обрубленное, обнаженное отъ тѣхъ предшествующихъ звеньевъ, въ которыхъ собственно и заключалась нѣтъ незамѣченная драма. Но эта драма существовала несомнѣнно, и заключала въ себѣ образцы борьбы, гораздо болѣе замѣчательной, нежели та, которую представлялъ намъ прежній романъ. Борьба за неудовлетворенное самолюбіе, борьба за оскорбленное и униженное человѣчество, наконецъ, борьба за существованіе—все это такіе мотивы, которые имѣютъ полное право на разрѣшеніе посредствомъ смерти. Вѣдь умиралъ же чловѣкъ изъ-за того, что его милая поцѣловала своего милаго, и никто не находилъ дикимъ, что эта смерть называлась разрѣшеніемъ драмы. Почему? — а потому именно, что этому разрѣшенію предшествовалъ самый процессъ цѣлованія, то-есть драма. Тѣмъ съ большимъ основаніемъ позволительно думать, что и другія, отнюдь не менѣе сложныя опредѣленія чловѣка тоже могутъ дать содержаніе для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сихъ поръ пользуются недостаточно и неувѣренно, то это потому только, что арена, на которой происходитъ борьба ихъ, слишкомъ скудно освѣщена. Но она есть, она существуетъ, и даже очень настоятельно стучится въ двери литературы. Въ этомъ случаѣ, я могу сослаться на величайшаго изъ русскихъ художниковъ, Гоголя, который давно провидѣлъ, что роману предстоитъ выйти изъ рамокъ семейственности.

Романъ современнаго чловѣка разрѣшается на улицѣ, въ публичномъ мѣстѣ — вездѣ, только не дома; и притомъ разрѣшается самымъ разнообразнымъ, почти непредвидѣннымъ образомъ. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась Богъ знаетъ гдѣ; началась поцѣлуями двухъ любящихъ сердецъ, а кончилась полученіемъ прекраснаго мѣста, Сибирью и т. п. Эти рѣзкіе перерывы и переходы кажутся намъ неожиданными, но, между тѣмъ, въ нихъ несомнѣнно есть своя строгая послѣдовательность, только усложнившаяся множествомъ разнаго рода мотивовъ, которые и до сихъ поръ еще ускользаютъ отъ нашего вниманія, или неправильно признаются нами не драматическими. Прослѣдить эту неожиданность такъ, чтобъ она перестала быть неожиданностью —

вотъ, по моему мнѣнію, задача, которая предстоить геніальному писателю, имѣющему создать новый романъ.

Само собою разумѣется, что я не пытаюсь даже подойти къ подобной задачѣ; я сознаю, что она мнѣ не по силамъ. Но такъ какъ я все-таки понимаю ее довольно ясно, то беру на себя роль собирателя матеріаловъ для нея. Есть типы, которые объяснить не бесполезно, въ особенности въ тѣхъ вліяніяхъ, которыя они имѣютъ на современность. Если справедливо, что во всякомъ положеніи вещей главнымъ зодчимъ является исторія, то не менѣе справедливо и то, что вездѣ можно встрѣтить отдѣльных индивидуумовъ, которые служатъ воплощеніемъ „положенія“ и представляютъ собой какъ бы отвѣтъ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы значитъ, понять и разъяснить типическія черты самого положенія, которое ими не только не заслоняется, но, напротивъ того, съ ихъ помощью дѣлается болѣе нагляднымъ и рельефнымъ. И мнѣ кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляетъ условій совершенной цѣльности, но можетъ внести въ общую сокровищницу общественной фізіологіи матеріалъ довольно цѣнный.

Но тутъ является еще одно условіе — это отношеніе писателя къ типамъ, имъ изображаемымъ. Всякая данная историческая минута, несмотря на то, что ее можно охарактеризовать однимъ выраженіемъ (такъ, на примѣръ, объ извѣстныхъ эпохахъ говорятъ, что это эпохи, когда „злое начало въ члвчкѣ“ пришло къ спокойному и полному сознанію самого себя“ (Нибуръ. Чт. о др. ист.), представляетъ, однакожъ, довольно много мотивовъ, очень разнообразныхъ, изъ которыхъ одни вызываютъ типы, возбуждающіе негодованіе, другіе — типы, возбуждающіе сочувствіе. Казалось бы, что нѣтъ повода ни для негодованія, ни для сочувствія, если ужъ разъ признано, что во всякомъ положеніи главнымъ зодчимъ является исторія. Между тѣмъ, мы не можемъ воздержаться, чтобы однихъ не обвинять, а другихъ не ставить на пьедесталъ, и чувствуемъ, что, поступая такимъ образомъ, мы поступаемъ совершенно законно и разумно. Мнѣ кажется, явленіе это объясняется тѣмъ, что въ этомъ случаѣ и сочувствіе, и негодованіе устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздѣйствіе ихъ на общество. Кромѣ дѣйствующихъ силъ добра и зла, въ обществѣ есть еще извѣстная страдательная среда, которая преимущественно служитъ ареной для всякаго воздѣйствія. Упускать эту среду изъ вида невозможно, еслибъ даже писатель не имѣлъ другихъ претензій, кромѣ собиранія матеріаловъ. Очень часто объ ней ни слова не упоминается, и оттого



она кажется какъ бы вычеркнутою; но эта вычеркнутость мнимая, въ сущности же представленіе объ этой страдательной средѣ никогда не покидаетъ мысли писателя. Эта та самая среда, въ которой прячется „человѣкъ, питающійся лебедю“. Живетъ ли онъ, или только прячется? Мыѣ кажется, что хотя онъ, по преимуществу, прячется, но все-таки и живетъ немного.

Спрашивается: можетъ ли писатель оставаться совершенно безучастнымъ къ тому или иному способу воздѣйствія на эту страдательную среду?

Какъ бы то ни было, но покуда арена, на которую видимо выходитъ новый романъ, остается не освѣщенной, скромность и сознаніе пользы заставляютъ вступать на нее не въ качествѣ художника, а въ качествѣ собирателя матеріаловъ. Это развязываетъ писателю руки, это ставитъ его въ прямые отношенія къ читателю. Собиратель матеріаловъ можетъ позволить себѣ внѣшнія противорѣчія — и читатель не замѣтитъ ихъ; онъ можетъ навязать своимъ героямъ сколько угодно должностей, званій, ремесль, онъ можетъ сегодня уморить своего героя, а завтра опять возродить его. Смерть въ этомъ случаѣ—смерть примѣрная; въ сущности, герой живъ до тѣхъ поръ, покуда живо положеніе вещей, его вызвавшее.

Но я чувствую, что уже достаточно распространился о томъ, какую цѣль имѣютъ въ виду предлагаемые этюды.

Нѣтъ ничего легче, какъ составить краткое извѣстіе о родо-происхожденіи любого „ташкентца“.

Въ большинствѣ случаевъ, это дворянскій сынъ, не потому, чтобы въ дворянствѣ фаталистически скоплялись элементы всевозможнаго ташкентства, а потому, что сословіе это до сихъ поръ было единымъ дѣйствующимъ, и слѣдовательно, невольно представляло собой разсадникъ всего, что такъ или иначе имѣло возможность проявлять себя. Кромѣ пороковъ, тутъ были, конечно, и добродѣтели. Затѣмъ, „ташкентецъ“ непременно получилъ такъ называемое классическое образованіе, т. е. такое, которое имѣло свойствомъ испаряться немедленно по оставленіи пациентомъ школьной скамьи. Еще Грановскій подмѣтилъ это странное свойство русскаго классицизма. „Студенты“, пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ („Биографич. очеркъ“ А. Станкевича), „занимаются хорошо, пока не кончили курса“, или другими словами, до тѣхъ поръ, покуда можетъ потребоваться сдача экзамена. Послѣ сего, какъ и слѣдуетъ ожидать, наступаетъ полнѣйшая „свобода отъ наукъ“.

И въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ молодаго человѣка, который выходитъ изъ школы, предварительно сдавши свои экзамены. Приготовленіе къ нимъ стоило ему нѣсколькихъ недѣль самаго усидчиваго и назойливаго труда и не мало безсонныхъ ночей. Въ теченіи курса, онъ занимался всѣмъ, чѣмъ хотите, только не приобрѣтеніемъ знанія. Инстинктъ подсказывалъ ему, что даровая жизнь не требуетъ знанія и что знаніе, въ свою очередь, не можетъ даже имѣть никакихъ примѣненій къ даровой жизни. При такомъ положеніи вещей, можетъ существовать только одинъ стимулъ для приобрѣтенія знанія (въ особенности, знанія съ точки зрѣнія классицизма, знанія, неимѣющаго немедленнаго и непосредственнаго приложенія) — это любознательность. Но развѣ можно обвинять кого бы то ни было за то, что онъ мало любознателенъ? развѣ любознательность обязательна? Нашъ юноша очень хорошо понимаетъ это, и убѣждается въ необходимости знанія только въ ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Нѣсколько недѣль сряду онъ находится въ возбужденномъ, почти восторженномъ состояніи. Въ теченіе этого времени, онъ окучиваетъ себя множествомъ разнообразѣйшихъ знаній, но понимаетъ только одно: что знанія служатъ отвѣтомъ на печатные билеты, которые онъ долженъ будетъ брать на удачу со стола экзаменатора. Увы! этихъ билетовъ такъ много, что на нѣкоторые изъ нихъ онъ даже не успѣлъ приготовить отвѣтовъ...

Но судьба видимо покровительствуетъ ему: онъ вынимаетъ именно тотъ билетикъ, который всего тверже вызубрилъ. Ура! онъ оставляетъ школу, и получаетъ дипломъ!

Онъ во всеоружіи является на ту самую арену исторіи, на которой, по выраженію Грановскаго, онъ долженъ быть и матеріаломъ и зодчимъ („зачѣмъ же матеріаломъ? — недоумѣваетъ онъ про себя: —, не лучше ли прямо зодчимъ?“).

Ни мало не медля, отправляется онъ въ трактиръ, и этимъ открываетъ свое вступленіе на арену исторіи. Черезъ полчаса, онъ уже смѣшивается Ликурга съ Солономъ, а Мильгіада дружески называетъ Мараеономъ. Проходитъ еще полчаса — и вотъ даже этотъ маскарадный разговоръ начинаетъ тяготить его. Изъ устъ его вылетаютъ какія-то имена, но не Агриппины Старшей, и даже не Мессалины, а какой-то совсѣмъ неклассической Машки...

Знаніе, которымъ онъ окатилъ себя, уже соскользнуло. Онъ помнитъ только одно: что онъ получилъ дипломъ и имѣетъ право, отпраздновавши какъ слѣдуетъ освобожденіе отъ наукъ, быть „зодчимъ“.

Гдѣ и въ какомъ смыслѣ зодчимъ?

Онъ устремляется подъ кровлю родительскаго дома, чтобы отдохнуть послѣ неумѣреннаго окачиванья. Разумѣется, къ нему простираются всѣ объятія; его осматриваютъ, облюбовываютъ, говорятъ: ну, вотъ, молодецъ! Но никто не спрашиваетъ, чѣмъ онъ заручился и съ какимъ запасомъ пріѣхалъ. Среди восторговъ, увеселеній и ласкъ незамѣтно проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ; наконецъ, семейный праздникъ пріѣдается, наступаетъ, забота объ устройствѣ праздника болѣе солиднаго и на иной манеръ.

— Надо, мой другъ, подумать о будущемъ, говорятъ дворянскому сыну родители:—выдь ты не объѣдокъ какой-нибудь, чтобы голубей гонять!

— Да, надо подумать о будущемъ! повторяетъ дворянскій сынъ и, пользуясь этимъ случаемъ, вновь припоминаетъ, что имѣетъ право быть зодчимъ...

Или голубей гонять, или быть зодчимъ—средины нѣтъ. Сомнѣнія, къ которой изъ этихъ двухъ должностей применить выборъ, нельзя допустить; колебанію можетъ подлежать только одинъ вопросъ: гдѣ и въ какомъ смыслѣ быть зодчимъ?

Нѣкоторое время, юноша колеблется между гражданской палатой и земскимъ судомъ. Въ гражданской палатѣ существуютъ крѣпостныя дѣла („прекраснѣйшія, мой другъ, эти мѣста!“ говорятъ растроганные родители), но тамъ „зодчество“ ограничивается только устройствомъ и приумноженіемъ собственнаго благосостоянія. Въ земскомъ судѣ менѣе шансовъ для зодчества имущественнаго, за то большой просторъ для зодчества историческаго. Историческое зодчество прельщаетъ юношу своимъ размахомъ, своею красотой.

— Съ чѣмъ же я, однако, явлюсь на арену зодчества? что предстоитъ мнѣ созидать? что я знаю? спрашиваетъ онъ себя, и съ непривычки ему дѣлается какъ будто совѣстно.

— Я знаю, что я ничего не знаю! мелькаетъ въ его умѣ единственный афоризмъ, который онъ изучилъ вполне твердо.

— Э! не боги горшки обжигали! мелькаетъ, однакожь, и другой афоризмъ, тоже достаточно твердо заученный.

Какъ всегда водится, истина позднѣйшая вытѣсняетъ истину предшествовавшую. Позднѣйшій афоризмъ даетъ молодому человѣку возможность позабыть объ афоризмѣ прежде явившемся.

Рѣшено; онъ начинаетъ обжигать горшки, и вскорѣ убѣждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способнымъ и достойнымъ. Не только онъ самъ, но все, что его окружаетъ: товарищество, въ которое онъ вступаетъ, и даже масса, которую онъ предпринимаетъ обжигать—все въ одинъ голосъ удостовѣ-

рять его, что онъ поистинѣ способенъ и достоинъ. Никто не спрашиваетъ его, что онъ знаетъ, что онъ умѣетъ дѣлать: такъ натуральнымъ кажется всѣмъ и каждому, что для обжиганія горшковъ совсѣмъ не требуются божественныя качества. Каково зодчество, таковы и зодчіе—это безспорно. Каково зодчество? — странный вопросъ! — ухватилъ, смялъ, поволокъ...

И дѣйствительно: за что бы онъ ни взялся, все въ его рукахъ спорится, все выходитъ оттуда въ лучшемъ видѣ. Онъ удивляется только одному: отчего въ школѣ его учили какъ будто чему-то другому?

— А чему бишь учили меня въ школѣ? инстинктивно спрашиваетъ онъ самого себя: — ахъ, да! *res nullius cadet primo occupandi!* — вѣрно! Затѣмъ, онъ успокоивается и окончательно рѣшаетъ въ умѣ, что нѣтъ въ мірѣ ничего столь бесполезнаго, какъ нескромные вопросы.

Ворота Ташкента открыты настежь. Молодой человѣкъ влетаетъ въ нихъ съ гиканьемъ, съ свистомъ, съ малиновымъ звономъ, надвинувши шапку на бекрень... Онъ чувствуетъ, что надоедливая опека школы навсегда канула въ область прошлаго. Стыдиться нечего, да и некогда. Съ этой минуты, онъ полноправный гражданинъ своей новой родины.

Съ этой же минуты, онъ окончательно дѣлается продуктомъ принявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи, и еще болѣе своеобразныя понятія, которыя закрываютъ плотной завѣсой остальные обрывки воспоминаній скуднаго школьнаго прошлаго. Безазбучность становится единственною творческою силой, которая должна водворить въ мірѣ порядокъ и всеобщее безмолвіе.

Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что ташкентство плѣняетъ меня не столько богатствомъ внутренняго своего содержанія, сколько тѣмъ, что за нимъ неизбѣжно скрывается „человѣкъ, питающійся лебедемъ“.

Этотъ человѣкъ—явленіе очень любопытное, въ томъ отношеніи, что онъ не только не знаетъ, но повидимому, и не желаетъ сытости.

Стоитъ онъ, скучившись въ какомъ-то безобразномъ мурaveйникѣ, и до того съежился и присмирѣлъ тамъ, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая какъ будто колыхнется и живетъ, но изъ которой въ то же время не выходитъ ни единого живаго звука. Членораздѣльна ли она? способна ли выдѣлить изъ себя какія-нибудь особи?

или же до того сплотилась и склеилась, что даже мысль не въ силахъ разложить ее?

Мракъ, окружающій эти вопросы, до такой степени густъ, что многіе воспользовались имъ, чтобъ утверждать, что всякій муравейникъ есть соединеніе безличныхъ Ивановъ, которые всѣ одинаково снабжены толоконными животами, и всѣ одинаково ни на что не скалятъ зубы, ничего не просятъ, кромѣ лебеды. Это просто безшумное стадо, пасущееся среди всевозможныхъ недоразумѣній и недомыслий, питающееся паскуднѣйшими злаками, встающее съ восходомъ солнца, засыпающее съ закатомъ его, не покорившее себѣ природу, но само покорившееся ей.

„Покуда существовало крѣпостное право“, прибавляютъ защитники этого мнѣнія, „стадо, по крайней мѣрѣ, было, сыто и прилежно къ воздѣлыванью; теперь оно и голодно, и вмѣсто воздѣлыванья, поетъ по кабакамъ безобразныя пѣсни“. Такимъ образомъ, оказывается, что трудъ, какъ результатъ принужденія, и кабакъ, какъ результатъ естественнаго влеченія, — вотъ два полюса, между которыми осужденъ метаться человѣкъ, питающійся лебедою.

Другихъ опредѣленій не существуетъ; по крайней мѣрѣ, Ташкентъ цивилизованный, Ташкентъ интеллигентный не сумѣлъ отыскать ихъ.

Какъ ни авторитетны подобныя показанія, однакожь, когда подумаешь, что они даются ташкентцами, то-есть тоже жертвами всевозможныхъ недоразумѣній и недомыслий, то въ душу невольно закрадывается сомнѣніе.

Если муравейникъ, имѣя передъ собой два пути: путь трудолюбія и путь праздности, предпочелъ послѣдній первому, то, стало быть, это все-таки не просто инстинктивно-копошавшійся муравейникъ, но муравейникъ, имѣющій способность выбирать. Предположимъ, что въ данную минуту онъ сдѣлалъ свой выборъ въ явный ущербъ самому себѣ, но если уже однажды признается за нимъ способность выбирать, то необходимо признать и другую способность — способность руководиться при этомъ какими-нибудь соображеніями. Очень можетъ быть, что праздность показала ему выгоду, или, по крайней мѣрѣ, пріятнѣе, нежели трудолюбіе. Я напередъ соглашаюсь, что это самое грубое и даже горькое заблужденіе, но есть же какая-нибудь причина, вслѣдствіе которой и грубыя заблужденія въ иныя минуты принимаютъ видъ истины. Одну изъ такихъ причинъ, между прочимъ, представляетъ то разнорѣчіе, которое возникаетъ въ умѣ, когда начинаешь примѣнять слово „выгода“ къ слову „трудъ“. Трудъ выгоденъ — это афоризмъ очень основательный, но нельзя же принимать всякій афоризмъ бук-

важно. Афоризмы самые вѣрныя подвергаются разложенію; люди самые простые становятся иногда любознательными. Какая это выгода, о которой идетъ рѣчь? общая, или частная? Если это общая выгода, то не слишкомъ ли понятіе объ ней отвлеченно для такого простого и неразвитаго ума, каковымъ представляется умъ муравейника? Если же это выгода частная, то чья именно?

Не могу не повторить здѣсь того, что уже сказано было однажды въ началѣ этого этюда: никогда не лишнее дѣлать себѣ вопросы; это привычка спасительная, ибо она отрезвляетъ человѣка, и всѣмъ явленіямъ сообщаетъ ихъ истинные, дѣйствительные размѣры.

Но, оставивъ въ сторонѣ несостоятельное мнѣніе о безличности „человѣка, питающагося лебедю“, я все-таки долженъ сказать, что мракъ, окружающій его, густъ очень достаточно. Дойти до этого секретно-мыслящаго, секретно-вздыхающаго и секретно-вождѣющаго субъекта, увидѣть его лицомъ къ лицу, до такой степени трудно, что задача такого рода кажется почти неразрѣшимой. Можетъ быть, это происходитъ отъ того, что приемы, употреблявшіеся доселѣ съ этою цѣлью, были или слишкомъ грубы, или слишкомъ наивны. Эти приемы состояли съ одной стороны въ ташкентскомъ воздѣйствіи, съ другой — въ томъ, что мы сами (и притомъ очень неискусно) притворялись людьми, питающимися лебедю. И то и другое нигуда не годится. Ташкентство ошеломляетъ, но не изслѣдуетъ; притворство выглядываетъ наружу изъ-подъ самой искусной гримировки, и при частомъ повтореніи обращается въ привычку, которая всѣ дѣйствія человѣка держитъ въ какомъ-то искусственномъ плѣну. Нужно найти какой-нибудь средній путь, на которомъ наблюдатель могъ бы обозрѣвать человѣка, питающагося лебедю, оставаясь самимъ собой, то-есть не ташкентствуя, но и не лебезя.

Говоря по совѣсти, этого средняго пути я еще не знаю, но, кажется, что съ 19 февраля 1861 года онъ уже начинаетъ понемногу освѣщаться. Массы выясняются; показываются очертанія отдѣльных особей, наблюдательныя средства получаютъ возможность дѣйствовать успѣшнѣе не потому, чтобы они сами по себѣ дошли до совершенства, а потому, что уничтожилось нѣсколько лишнихъ преградъ, стоявшихъ между предметомъ и предметнымъ стекломъ. Очень возможно, что упадутъ и другія, послѣднія преграды.

Что тогда откроется? — вотъ въ чемъ весь вопросъ.

## ТАШКЕНТЦЫ-ЦИВИЛИЗАТОРЫ.

Цивилизующее значеніе Россіи въ исторіи развитія человѣчества всѣми учебниками статистики поставлено на такомъ незбылемомъ основаніи, что самое щекотливое самолюбіе должно успокоиться и сказать себѣ, что далѣе этого идти невозможно. Я узналъ объ этомъ назначеніи очень рано. Тому назадъ давно—я воспитывался въ то время въ одномъ изъ военно-учебныхъ заведеній, и, какъ сейчасъ помню, что это было на слѣдующее утро послѣ какого-то воликолѣпно удавшагося торжественнаго дня—мы слушали первую лекцію статистики. Профессоръ вошелъ на кафедру и слѣдующимъ образомъ началъ свою бесѣду о цивилизующемъ значеніи Россіи. „А замѣтили ли вы, господа, сказалъ онъ, что у насъ въ высокоторжественные дни всегда играетъ ясное солнце на ясномъ и безоблачномъ небѣ? что ежели, по временамъ, погода съ утра и не обѣщаетъ быть хорошею, то къ вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставленіи обывателямъ зажечь иллюминацію никогда не встрѣчаетъ препонъ въ своемъ исполненіи?“ Затѣмъ, онъ вздохнулъ, сосредоточился на минуту въ самомъ себѣ, и продолжалъ: „Стоя на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія призвана Провидѣніемъ“ и т. д., и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображеніе. Для меня сдѣлалось яснымъ, что задача Россіи двойственна: во-первыхъ, установить на прочномъ основаніи принципъ безпрепятственности иллюминацій (политика внутренняя), и во-вторыхъ, откуда-то нѣчто брать, и куда-то нѣчто передавать (политика внѣшняя)! Если вѣрить московскимъ публицистамъ, то первая задача уже давнымъ-давно рѣшена. Не смотря

на то, что торжества имѣютъ характеръ праздниковъ переходящихъ, наше солнце на столько дисциплинировано, что раньше справляется съ календаремъ, когда ему слѣдуетъ играть. Тогда и играетъ. Но вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мнѣ не мало беспокойствъ. Я слышалъ и понималъ, что тутъ есть какіе-то „плоды“, которые слѣдуетъ гдѣ-то принимать и куда-то передавать, но что это за „плоды“, въ какихъ лѣсахъ они растутъ и какимъ порядкомъ ихъ передавать, то-есть справа ли налѣво, или слѣва направо—этого никакъ не могъ взять себѣ въ толкъ. „Налѣво кругомъ!“ раздавалось въ моихъ ушахъ, но и этотъ воинственный кличъ какъ-то не утѣшалъ, а еще пуще раздражалъ меня.

— Иванъ Петровичъ!—спрашивалъ я почтеннаго нашего профессора:—зачѣмъ же намъ передавать чужіе плоды, если у насъ есть свои собственные?

— Коли у тебя есть, такъ никто тебѣ не препятствуетъ!—отвѣчалъ Иванъ Петровичъ съ тѣмъ равнодушіемъ, которое въ то время одно только и одушевляло нашихъ педагоговъ, и которое, казалось, такъ и говорило: „что ты пристаешь ко мнѣ за разъясненіями? Я свое дѣло сдѣлалъ: отзвонилъ—и съ колокольни долой!“

— Но откуда брать? Куда передавать?—продолжалъ я настаивать.

— Придетъ пора да время—все узнаешь. Скажутъ: „спасибо“—значить, потрафилъ; надерутъ вихоръ—значить, прощтрафился, надо начинать сызнова.—Итакъ, милостивые государи! находясь на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія самымъ Провидѣніемъ призвана...

Я страдалъ невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходилъ къ слѣдующимъ выводамъ:

- 1) что у насъ своихъ плодовъ нѣтъ;
- 2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаемъ: руками взялъ, руками и отдалъ—вотъ и все;
- и 3) что мы рискуемъ при этомъ быть выданными за вихоръ.

Результаты неясные, неудовлетворявшіе даже тогдашнихъ моихъ дѣтскихъ требованій.

Но съ теченіемъ времени самыя трудныя загадки разгадываются. Не буду подробно рассказывать здѣсь печальную исторію моихъ колебаній; но сознаюсь, что она была обильна всякаго рода разочарованіями. Была, напримѣръ, одна минута, когда, руководствуясь законами аналогіи, и видя, что солнце каждый день встаетъ на востокъ, я заключилъ изъ этого, что



восточные плоды суть тѣ самыя, которые наиболѣе пригодны для запада, и что стоить только насадить ихъ, чтобы положить конецъ всѣмъ гніеніямъ, броженіямъ и недоразумѣніямъ. Я ободрился. Нарѣзавши цѣлую рошу цивилизующихъ орудій и восликнувъ: а ну-те, господа картофельники! посмотримъ, какъ-то вы тамъ гніете! — я устремился впередъ, и что-жъ оказалось?—что мои цивилизующія орудія всѣ съ-разу заглохли! что пересаженные съ почвы дѣйственной, но сравнительно тощей, они не только ничего не плѣнили, но даже сами не выдержали изобилія туковъ, представляемаго западнымъ гніеніемъ!

Всякій пойметъ, какъ былъ непріятенъ для меня этотъ опытъ; но такъ какъ я все-таки твердо зналъ, что „стою на рубежѣ“, то цивилизаціонное мое назначеніе нисколько не затемнилось первою неудачею. Если попытка моя на западѣ не принесла желаемыхъ результатовъ, рассуждалъ я самъ съ собою, то это значитъ только, что я не потрафилъ, и что нужно потрафлять гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Меня начала интересоваться мысль: не съѣздить ли, для начала, поцивилизовать слегка, напримѣръ, въ Рязанскую или Тамбовскую губерніи? И не задумываясь долго, я набралъ съ десятокъ здоровыхъ, хотя и довольно голодныхъ ребятъ, хватилъ для храбрости очищенной и, крикнувъ: ребята! съ нами Богъ! ринулся...

Могу сказать смѣло: я дѣйствовалъ по всѣмъ правиламъ искусства, то-есть цивилизовалъ все, что попадалось мнѣ по пути. Но и тутъ неудача не перестала меня преслѣдовать. Оказалось, что въ этихъ благодатныхъ краяхъ все уже до такой степени процивилизовано, что мнѣ оставалось только преклониться ницъ передъ такими памятниками, какъ акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (каланчи), термы (народныя бани), величественныя зданія волостныхъ и сельскихъ расправъ, вымощенныя известковымъ камнемъ улицы и проч., и проч. Одинажды, вида, какъ на базарной площади безпомощно утопали возы съ крестьянскою жалкою кладью, я невольно восликнулъ: да чего же имъ, мерзавцамъ, еще нужно? — и долженъ былъ отступить. Очевидно, тутъ сталкивались двѣ цивилизаціи совершенно равноправныя: одна, которую хотѣлъ насадить я съ своими „ребятами“, и другая, которую постепенно насаждалъ цѣлый рядъ „ребятъ“, начиная отъ знаменитаго своими проказами Ударъ-Ерыгина, и кончая Колькой Шалобаевымъ.

Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня, хотя я и скрывалъ мое огорченіе. Но товарищи мои крѣпко приуныли. И не мудрено: весь запасъ очищенной былъ выпить безъ остатка, а за минуту передъ тѣмъ мы съѣли послѣдній кусокъ колбасы. Въ долгъ никто не вѣрилъ... Куда дѣвать ни-

кому ненужную силу? Гдѣ найти секретъ, который давалъ бы возможность просвѣщать безъ просвѣщенія, палить безъ пороху, сѣчь безъ розогъ? Какое употребленіе сдѣлать изъ рукъ, которыя такъ и цѣпляются, такъ и хватаютъ? А главное: какъ добыть очищенной, не имѣя гроша за душой, спустивши все до послѣдней нитки, не зная никакого ремесла, никакихъ даже словъ, кромѣ: ради стараться! и—съ нами Богъ!? Всякій согласится, что положеніе болѣе безвыходное, болѣе трагическое — трудно себѣ представить!

По временамъ, мною овладѣвали движенія совершенно безсознательныя. Я вскакивалъ съ мѣста и бѣжалъ впередъ, самъ не зная, куда. Будь у меня въ рукахъ штофъ водки, я былъ бы способенъ въ одну минуту процивилизовать насквозь цѣлую палестину! Я бросался и на западъ, и внутрь, все въ надеждѣ что-нибудь зацѣпить, что-нибудь ущемить... тщетно! Я чувствовалъ, что во мнѣ сидитъ что-то такое, чему нѣтъ имени... или нѣтъ! это ужасное имя есть, и называется оно—раззоренье! Не откуда ничѣмъ раздобыться, некуда ничего нести... все вздоръ, все обольщеніе и прахъ! Ничего у меня не осталось, кромѣ ужаснаго аппетита!

Жрррратъ!!

И вдругъ я услышалъ слово, которое съ-разу заставило забиться мое сердце. Я остановился и притаилъ дыханіе.

— Таш-кентъ! Таш-кентъ!—слаще всякой музыки раздавалось въ ушахъ моихъ.

Жрррратъ!!

Сенька Броненосный! Ты, который выдумалъ это слово, ты не понималъ и самъ, какіе новые пути оно отерываетъ твоимъ добрымъ товарищамъ! Ты произнесъ его безсознательно, въ порывѣ отчаянія, но услуга, которую оказала твоя безсознательность, останется навсегда незабвенною. Покуда я размышлялъ и соображалъ, товарищи шумѣли и спорили; слово „Ташкентъ“ было у всѣхъ на языкѣ.

— Ташкентъ! — ораторствовалъ другъ мой, Аркаша Пустолюбовъ:—но, поймите же, messieurs, вѣдь это только географическій терминъ, вѣдь это просто пустое мѣсто, въ которомъ не только удобствъ, но даже ѣды никакой, кромѣ баранины, нѣтъ!

— Жрррратъ! — какъ-то особенно звонко раздавалось въ ушахъ!

— Однако, mon cher, — возражалъ Сеня Броненосный: — баранина... c'est très succulant! on en fait du schischlik... qui n'est pas du tout à mépriser! Я нахожу, что это вещь очень почтенная, а въ нашемъ положеніи даже далеко не лишняя.

— Жрррратъ!

— Позвольте! ну, положимъ — баранина! но общество женщинъ? гдѣ, я васъ спрашиваю, найдемъ мы общество женщинъ?

Но я уже не слушалъ; уста мои шептали: стою на рубежѣ...

Господи! ужели же, наконецъ, тѣ цѣли, о которыхъ говорилъ учебникъ статистики, будутъ достигнуты!

Я прогорѣлъ, какъ говорится, до тла. На плечахъ у меня была довольно ветхая ополченка (воспоминаніе севастопольской брани, которой я, впрочемъ, не видалъ, такъ какъ извѣстіе о мирѣ застало насъ въ одинъ переходъ отъ Тулы; впоследствии эта самая ополченка была свидѣтельницей моихъ усилій по водворенію началъ восточной цивилизаціи въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ), на ногахъ — соотвѣтствующіе ботинки. Затѣмъ, кромѣ голода и жажды — ничего!

Въ такомъ положеніи, я на послѣднія деньги взялъ себѣ мѣсто въ вагонѣ третьяго класса, чтобы искать счастья въ Петербургѣ.

Я еще прежде замѣчалъ, что, по какой-то странной случайности, составъ путешественниковъ, наполняющихъ вагоны, почти всегда бываетъ однородный. Такъ, напримѣръ, бываютъ вагоны совершенно глуше, что въ особенности часто случалось вскорѣ послѣ заведенія спальныхъ вагоновъ. Однажды, помѣстившись въ спальномъ вагонѣ второго класса, я былъ лично свидѣтелемъ, какъ одинъ путешественникъ, не успѣвши еще осмотрѣться, сказалъ:

— Ну, теперича намъ здѣсь преотлично! ежели мы теперича даже совсѣмъ раздѣнемся, такъ и тутъ никто ничего намъ сказать не можетъ!

И дѣйствительно, онъ скинулъ съ себя все, даже сапоги, и въ одномъ бѣльѣ началъ ходить взадъ и впередъ по отдѣленіямъ. Эта глупость до того заразила весь вагонъ, что черезъ минуту уже всѣ путешественники были въ одномъ бѣльѣ и радостно приговаривали:

— Ну, теперь намъ здѣсь преотлично! теперь ежели мы и совсѣмъ раздѣнемся, такъ никто ничего сказать намъ не смѣетъ!

И такимъ образомъ ѣхали всѣ вилоть до Петербурга, то раздѣваясь, то одѣваясь и выказывая радость неслыханную.

Точно также было и въ настоящемъ случаѣ; вагонъ, въ которомъ я помѣстился, можно было назвать по преимуществу ташкентскимъ. Казалось, люди, собравшіеся тутъ, были не отъ міра сего, но принадлежали къ числу выходцевъ какой-то отдаленной эпохи. Большинство состояло изъ отставныхъ служакаъ, уже порядочно обколоченныхъ жизнью, хотя тамъ и сямъ

виднѣлось и нѣсколько молодыхъ людей, жертвъ преждевременной страсти къ табаку и водкѣ. Никакимъ другимъ цивилизующимъ орудіемъ они не обладали, кромѣ сухихъ, мускулистыхъ и чрезвычайно цѣпкихъ рукъ, которыми они, по временамъ, какъ будто загребали. На многихъ были одѣты такія же ополченки, какъ и на мнѣ; отъ многихъ отдавало запахомъ овчины и водки. Но всѣ говорили безъ усталы; въ душѣ у всякаго жила надежда. Надо было видѣть, съ какою поспѣшностью проглатывали они на станціяхъ стаканы очищенной, съ вагими судорожными движеніями отдирали зубами куски зачерствѣлой колбасы! Казалось, земля горѣла подъ ихъ ногами, и они опасались только одного: какъ бы не упустить времени!

— Да-съ,—говорить кто-то въ одномъ углу: — это, я вамъ доложу, сторонка! сверху палить, кругомъ песокъ... воды — ни капли! Ну, да вѣдь мы люди привычныя!

— Такъ-то такъ, только вотъ насчетъ ѣды... ну, и тово-воно какъ оно — и этого тоже нѣту!

— Помилуйте! да какой вамъ ѣды лучше! баранина есть, водка есть... выпилъ рюмку, выпилъ другую, съѣлъ кусокъ...

— То-то, что водка-то тамъ кусается; а хлѣбнаго, такъ сказываютъ, и въ заводѣ нѣтъ!

— Такъ что-жь! еще лучше — изъ рису ее тамъ дѣлаютъ! Отъ этой, отъ рисовой-то, и голова никогда не болитъ.

Въ другомъ углу:

— Въ этихъ-то обстоятельствахъ, доложу вамъ, я уже не въ первый разъ нахожусь...

— Ссс...

— Да-съ, вотъ тоже въ шестьдесятъ третьемъ году, сижу, знаете, слышу: шумятъ! Ну, думаю, люди нужны! Надѣваю вотъ эту самую дубленку, и прямо къ покойному генералу! Вышелъ... хрипѣть! — Ну? говорить. — Такъ и такъ, говорю. — готовъ! — Хорошо, говорить, мнѣ люди нужны... Только и словъ у насъ съ нимъ было. Налѣво кругомъ... Качай! И какую я, сударь, тамъ плечку подцѣпилъ — масло!

— Д-да... а теперь, пожалуй, объ плечкахъ-то надо будетъ забыть! Это такой край, что тутъ не то, чтобы что, а какъ бы только перехватить что-нибудь!

— Что вы! да развѣ вы не слышали, какая у нихъ тамъ баранина...

Въ третьемъ углу:

— Мнѣ бы, знаете, годикъ-другой, — а потомъ урвалъ свое, и на боковую!

— Чтò вы! чтò вы! да вы не разстанетесь! тамъ, я вамъ доложу, такая баранина...

Въ четвертомъ углу:

— Такъ вы изволите говорить, что тринадцать дѣлъ за собой имѣете?

Тринадцать разъ, шельма, нодѣ судѣ отдавалъ! двѣнадцать разъ изъ уголовной чистѣ выходилъ—ну, на тринадцатомъ скапнулся!

— Однако, теперь Богъ милостивъ!

— Теперь, батюшка, наше дѣло вѣрное!—завтра къ вечеру приѣдемъ, послѣ завтра чѣмъ свѣтъ въ канцелярію... Отрапортовать... сейчасъ тебѣ въ зубы подорожную, прогонны и прочее... А ужъ тамъ-то, на мѣстѣ-то, какое житье! баранина, я вамъ скажу...

Въ пятомъ углу:

— Не посчастливилось мнѣ, mon cher!—говоритъ одинъ молодой человѣкъ другому (у обоихъ надъ губой едва пробивается пушокъ):—изъ школы выгнали... ну, и рѣшился!

— А я такъ долговъ надѣлалъ; вотъ отецъ и говоритъ: ступай, говорить, мерзавецъ въ Ташкентъ!

— Однако, вашъ родитель нельзя сказать, чтобы былъ очень учтивъ!

— Какое учтивъ! Такими словами ругается, что хоть любому вахмистру... Ну, да, впрочемъ, это все пустяки! а меня вотъ что пугаетъ: какъ-то тамъ будетъ на счетъ лакомства?!

— Говорятъ, будто ташкентскія принцессы очень не дурны...

— Имъ... вѣдь мы въ полку-то рзабаловались. Вотъ тоже и обѣдѣ не совсѣмъ одобрительные слухи ходятъ!

— Однако, я слышалъ, что баранину можно достать отличную...

Въ шестомъ углу:

— Такъ вы и съ супругой туда отправляться изволите?

— Конечно! нельзя же!—она у мена баба походная!

Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигиваютъ другъ другу. Одинъ изъ нихъ шопотомъ говоритъ: ну, вотъ! значить, и на счетъ лакомства сомнѣваться нечего!

— Только тяжеленько имъ будетъ, супругѣ-то вашей! продолжаетъ одинъ изъ прежнихъ голосовъ:—вѣдь тамъ ни сѣсть, ни испить слатенько...

— И! что вы!—да тамъ, говорятъ, такая баранина...

Въ седьмомъ углу:

— Откровенно вамъ доложу: я ужъ маленько отъ медицины-то поотсталъ, потому что и выпущенъ-то я изъ академіи почестъ-что при царѣ Горохѣ. Однако, травки нѣкоторыя еще знаю.

— Конечно! конечно! съ нихъ и этого будетъ!

— Народъ простой, непорченный-съ. Опять сказываютъ, что

у них даже простая баранина отъ многихъ недуговъ исцѣляетъ!

Въ восьмомъ углу:

— Проповѣдывать—можно! Только вотъ сказываютъ, что они по постамъ баранину лопаютъ—ну, это истребимо съ трудомъ!

Однимъ словомъ, всѣ заканчиваютъ свои рѣчи бараниной, всѣ надѣются на баранину, какъ на каменную гору. Такъ что мой другъ, Сенья Броненосный, слушалъ, слушалъ, но, наконецъ, не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Если эта баранина хоть въ сотую долю такъ вкусна, какъ объ ней говорятъ, то я увѣренъ, что черезъ полгода въ страѣ не останется ни одного барана!

Увы! такова судьба цивилизующаго начала! Оно истребляетъ туземныхъ барановъ и, взамѣнъ того, научаетъ обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто въ выигрышѣ? кто въ проигрышѣ? тѣ ли, которые удѣляютъ пришельцу частицу стада своихъ, или тѣ, которые, въ возмездіе за это, приносятъ съ собою драгоценнѣйшій изъ всѣхъ плодовъ земныхъ—просвѣщеніе?

Но здѣсь я долженъ сдѣлать довольно горькое для моего самолюбія признаніе. Я чувствую, что въ жизни моей готовится что-то рѣшительное, а это невольно заставляетъ меня чаще и чаще обращаться къ самому себѣ. Бываютъ минуты, когда откровенная оцѣнка пройденнаго пути становится настоятельнѣйшею потребностью всего человѣческаго существа. Повидимому, одна изъ такихъ минутъ наступаетъ теперь для меня...

Сознаюсь безъ оговорокъ: я не имѣю права быть очень высокого о себѣ мнѣнія. Лучшее изъ качествъ, которыми я обладаю, есть нѣчто въ родѣ сократовскаго: я знаю, что ничего не знаю. Несмотря на свою незамысловатость, это свойство значительно помогло мнѣ въ жизни, такъ какъ оно дѣлало для меня во всякое время и на всякомъ мѣстѣ лихаго исполнителя. Я никогда не изобрѣту пороха (даже если мнѣ формально приважутъ изобрѣсти—я и тогда какъ-нибудь отшучусь), но если его изобрѣтутъ другіе—я очень радъ. Палить я тоже готовъ во всякое время, и ежели не встрѣчу слишкомъ серьезныхъ препятствій, то могу выказать храбрость несомнѣнную. Не помню, въ какой именно изъ шекспировскихъ комедій, герой пьесы задаетъ себѣ вопросъ: что такое невинность? — и весьма резонно отвѣчаетъ: невинность есть пустая бутылка, которую можно наполнить какимъ угодно содержаніемъ. Хотя, съ точки зрѣнія моралистовъ, это сравненіе для меня не совсѣмъ выгодно, но я долженъ сказать правду (разумѣется, по секрету), что оно подходитъ ко мнѣ довольно близко. Пустая бутылка!—лестнаго, конечно, немного для меня въ этомъ сравненіи!—но

для чего-жъ бы, однакожъ, я сталъ отрекаться отъ этого званія? Развѣ міръ не наполненъ сплошь такими же точно пустыми бутылками, какъ и я? и развѣ сущность дѣла можетъ измѣниться отъ того, что нѣкоторые изъ этихъ бутылокъ высокомерно называютъ себя „сосудами?“

Я тѣмъ меньше имѣю основанія конфузиться этого званія, что сдѣлался пустою посудой далеко непроизвольно. Тутъ, задолго до меня, ужъ были цѣлыя поколѣнія пустыхъ посуды, которыя, дребезжа и звеня, такъ много о себѣ надребезжали и назвенѣли, что, казалось, и впрямь нѣтъ званія болѣе почетнаго, болѣе счастливаго и спокойнаго, какъ званіе пустой бутылки. Званіе это не только насижено, но и по штатамъ значится подлежащимъ немедленному замѣщенію, какъ только открывается свободная вакансія. Тутъ нѣтъ мѣста ни для размышленій, ни для колебаній. Вы являетесь въ жизнь, объявляете имя и фамилію. „Записать его въ званіе пустой бутылки!“ — и вы записаны...

Съ моей стороны уже и то значительный шагъ впередъ, что я начинаю смутно сознавать, что ничто не способно такъ скоро дать трещину, какъ посудина, которую слишкомъ часто то наполняютъ, то опоражниваютъ. Я чувствую, что уже недалекъ моментъ разложенія, тотъ моментъ, когда навсегда долженъ быть поколебленъ авторитетъ балалаекъ, пустыхъ бутылокъ, упраздненныхъ головъ и т. п. Но если я сознаю, что такой результатъ неизбеженъ, это нисколько не обязываетъ меня стараться о приближеніи минуты, которая должна превратить бутылки въ черепки. Совсѣмъ напротивъ. Я думаю даже, что еслибъ я дѣйствовалъ въ смыслъ приближенія этой минуты, то такая дѣятельность была бы противна и здравому смыслу, и чувству самосохраненія. Чтѣ говорить мнѣ здравый смыслъ? — онъ говоритъ: какъ ты не бейся, но, кромѣ пустой бутылки, ничего изъ тебя не выйдетъ. Чтѣ говорить чувство самосохраненія? — оно говоритъ: неужели же погибать изъ-за того только, что явился въ свѣтъ пустою посудиною? и явился не произвольно, ни мало не участвуя въ этомъ актѣ ни сознаниемъ, ни волею?... Чтѣ остается мнѣ дѣлать послѣ такихъ отвѣтовъ? Измѣниться — я не могу; погибнуть — не имѣю ни малѣйшей охоты. Остается, стало быть, откровенно стать въ ряду пустыхъ бутылокъ, и этимъ дѣйствіемъ окончательно закрѣпить законность моего присутствія на аренѣ всероссійской цивилизующей дѣятельности.

Какъ бы то ни было, но я живу, а если живу то, стало быть, имѣю и право отстаивать свое существованіе. Но отстаивать его я не могу иначе, какъ продолжая быть той самой пустою бутылкою,

какою сдѣлали меня обстоятельства. Иначе я буду исключень изъ жизни. Покуда порожняя посуда имѣть возможность дребезжать и звенѣть, моя обязанность — тоже дребезжать и звенѣть, и, время отъ времени, наполняться той жидкостью, которая наиболѣе подходит къ вкусамъ минуты. Какая это жидкость — до этого мнѣ нѣтъ дѣла, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся съ полнымъ равнодушіемъ къ тому, что ее наполняетъ. Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чѣмъ-нибудь замѣнить эту пустоту, и замѣняю ее готовностью. Поэтому, я переимчивъ, вертлявъ, дерзокъ на услугу, и ни передъ какой профессіей не задумываюсь. Никто не засталъ меня ни въ какихъ подвигахъ, которые могли бы свидѣтельствовать, что я такое, и это въ совершенствѣ обезпечиваетъ мою свободу. Я публицистъ, метафизикъ, реалистъ, моралистъ, финансистъ, экономистъ, администраторъ. По нуждѣ, я могу быть даже другомъ народа. Вчера существовало крѣпостное право — я былъ крѣпостникомъ; сегодня крѣпостное право отмѣнено — я удивляюсь, какъ можно было дожить до настоящей вожаденной минуты, и не задохнуться. Всякая минута застаётъ меня врасплохъ, и всякая же минута находитъ меня готовымъ. Сколь разнообразны вольныя художества въ Россійской Имперіи, столь же разнообразны и роды моей готовной дѣятельности. Надъ всѣми ими парить одно: моя всегдашняя, непоколебимая готовность слѣдовать указанію всякаго одареннаго способностью указывать перста, хотя бы этотъ перстъ былъ и запачканъ. Не ужасайтесь этой способности, не клеймите ее именемъ разврата; это дѣйствительно развратъ, но развратъ добросовѣстный (бываетъ же добросовѣстное воровство!), развратъ лишь до нѣкоторой степени, точно такъ, какъ и все прочее, что во мнѣ ни есть, — все добросовѣстно, и все развратно лишь до нѣкоторой степени.

Иногда, мнѣ случается накуралесить серьезно: обрушить какой-нибудь монументъ, передавить при этомъ цѣлую уйму людей. Изъ этого одни заключаютъ, что я имѣю злое сердце и дѣлаю вредъ преднамѣренно, другіе — что я человѣкъ рѣшительный, дѣйствующій во имя какихъ-то сознанныхъ мною идей. Я вслушиваюсь въ эти толки, и смѣюсь себѣ втихомолку; ибо я очень хорошо понимаю, что, въ дѣйствительности, я только вселенный нравный мужчина, которому хочется удивить вселенную своею стремительностью. Я могу, сколько угодно, бить, давить, неистовствовать, ходить колесомъ — и никто не имѣетъ права вмѣнить мнѣ это ни въ злодѣяніе, ни даже въ озорство. Помните! я самъ къ своимъ дѣяніямъ отношусь совершенно объективно, то-есть исключительно съ точки зрѣнія чистоты от-



дѣлѣи. Я лечу, стремлюсь, хватаю, ловлю; мало того: я радуюсь, трепещу, страдаю, скрежещу зубами... о, еслибъ знали, что все это не болѣе, какъ угаръ! еслибъ могли видѣть, какъ разрывается послѣ этого угара голова, какъ болѣзненно бьется и сжимается сердце!..

Многіе спрашиваютъ меня: чего-жъ я достигъ? Но развѣ на этотъ вопросъ я, съ своей стороны, не могу отвѣтить другимъ вопросомъ: а чего же, милостивые государи, можетъ достигнуть человѣкъ, прогорѣвшій до тла? человѣкъ, который не имѣетъ ни воспоминаній, ни надеждъ, у котораго нѣтъ ничего внутри, кромѣ раззоренія?—Конечно, ничего другого, кромѣ того, чтобы какъ-нибудь не пропасть, чтобы не быть въ конецъ искалѣченнымъ, и хотъ изрѣдка да возобновлять въ себѣ вкусъ тѣхъ благъ, которыя теперь выбрасываются ему въ видѣ обглоданной кости, но которыя нѣкогда составляли фондъ его существованія? Если я достигаю всего этого—я считаю себя вполне удовлетвореннымъ. Воспоминаніе о потерянныхъ благахъ жизни переносится совсѣмъ не такъ легко, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. Оно до послѣдней минуты волнуется и раздражаетъ плѣнное воображеніе; оно преслѣдуетъ, жжетъ, оно медленно, всечасно отравляетъ. Въ настоящемъ—воздержаніе и тоска; впереди—вино, игра, женщины... а въ промежуткѣ—лишь небольшой океанъ грязи, который необходимо переплыть... Ужели же найдется глупецъ, который, благословясь, не бросится вплавь?

Грязи! какой грязи? въ этомъ весь вопросъ!

Еслибъ эта грязь пачкала наглядно, осязательно, еслибъ она измѣняла наружность человѣка, уничтожала ея элегантность, дѣйствовала тлетворнымъ образомъ на зрѣніе и обонаніе сосѣдей—тогда такъ! Тогда, конечно, и самый отчаянный человѣкъ задумался бы прежде, чѣмъ окунуться въ нее. Но вѣдь это грязь отвлеченная, метафизическая; грязь, о которой *ses dames* даже понятія никакого не имѣютъ!

Переплывите этотъ грязный океанъ, окунитесь въ него съ головою, ныряйте, шалите сколько угодно—и вы все-таки выйдете на берегъ, словно изъ душистой ванны! Ни одного брызга! ни одного пятнышка! Мало того, ваши одежды получаютъ даже какой-то особенный, нелишенный пикантности блескъ!

Мнѣ во сто кратъ болѣе досадна моя ветхая ополченская поддевка, нежели та незримая одежда пороковъ, которую такъ охотно навязываютъ всѣмъ и каждому особаго рода цѣховые, именующіе себя моралистами. Неприличіе и безконечную лживость моей поддевки я понимаю сразу. Ея появленіе вносить оффузъ въ порядочныя семейства, заставляетъ умолкнуть са-

мые оживленные разговоры, расширяет изумленіем глаза; однимъ словомъ, уничтожаетъ веселость, гармонію, движеніе и жизнь. Какъ бы я ни былъ самостоятеленъ, я не могу не сказать внутренно: „да, твое мѣсто не здѣсь; не среди этихъ цвѣтущихъ силою и увѣренностью людей, а тамъ, въ вагонѣ третьяго класса, въ кругу людей надломленныхъ, потухшихъ и полинявшихъ, людей съ завистливыми взорами, людей, торопливо проглатывающихъ очищенную и раздражающихъ зубами окаменѣлую колбасу!“ Въ эти горькія минуты я явственно слышу, какъ внутренности мои колышутся подъ наплывомъ ненависти — ненависти къ кому? Къ тѣмъ ли, которые меня презираютъ? Нѣтъ, не къ нимъ, ибо они представляютъ идеалъ, къ которому стремится всѣ мои помыслы, и которому я могу завидовать, но ненавидѣть не могу. Къ кому же? — а именно къ тѣмъ, кого я самъ презираю, къ тѣмъ моимъ собесѣдникамъ по вагону третьяго класса, которые вчера простоудшно сообщали мнѣ о своихъ видахъ на ташкентскую баранину!

Эти ужасные люди своимъ участіемъ, своимъ панибратствомъ каждую минуту уничтожаютъ меня. Они напоминаютъ мнѣ, что я не что иное, какъ *un homme perdu de dettes*, что я такой же прохожимецъ, пропойца, прощальга, какъ они всѣ, что я одинъ изъ тѣхъ любопытныхъ субъектовъ, которые растратили молодость, силу, таланты и состояніе — на что? — на лестное знакомство съ половыми московскихъ трактировъ! Какъ же мнѣ не ненавидѣть ихъ? Какъ не броситься мнѣ въ какой угодно омутъ, лишь бы освободиться изъ плѣна ихъ ужаснаго панибратства!

И я достигну этого! Въ Ташкентѣ ли, или въ другомъ мѣстѣ, но я дойму этихъ людей, пятнающихъ меня своимъ прикосновеніемъ!..

Да, если ужъ заводить рѣчь о какихъ-то метафизическихъ пятнахъ, незримо лежащихъ на какую-то, не менѣе метафизическую совѣсть, то прежде надлежитъ изобрѣсти средство, которое выгоняло бы эти пятна наружу и заставляло бы ихъ горѣть на лбу и щекахъ человѣка неизгладимымъ свидѣтельствомъ того праха, которымъ преисполнено въ немъ все, за исключеніемъ сюртука и штановъ, всегда находящихся въ безукоризненной исправности! А такъ какъ этого средства, по счастью, не изобрѣтено, то, стало быть...

Но довольно морализировать.

Я знаю, что главнымъ двигателемъ по части ташкентской цивилизаціи состоитъ нѣкто Пьеръ Накатниковъ, мой старый товарищъ по школѣ. Онъ занимался организаціей арміи цивили-

лизаторовъ; онъ кликалъ кличъ и вербовалъ охочихъ людей; онъ отправлялъ ихъ цѣлыми транспортами къ мѣсту назначенія, распоряжался перевозочными средствами и т. д., и т. д.

Каждого человѣка судьба снабжаетъ какою-нибудь спеціальностью. Однихъ она дѣлаетъ спеціалистами по части юридическихъ вопросовъ, другихъ — спеціалистами по части вопросовъ педагогическихъ, третьихъ (большинство) — спеціалистами по части „очищенной“ и т. п. Спеціальность Накатникова заключалась въ распространеніи цивилизаціи. Никто не имѣлъ права съ большимъ основаніемъ сказать: „стоя на рубежѣ“, какъ Накатниковъ. Въ немъ это была страсть, до того живая и безпокойная, что онъ ни минуты не могъ посидѣть на мѣстѣ, чтобъ не озаботиться насчетъ того или другого темнаго уголка, какимъ-нибудь чудомъ ускользнувшего отъ его цивилизующаго вліянія! Онъ неоднократно уже дѣлывалъ весьма замѣчательные въ этомъ смыслѣ походы, и потому былъ чрезвычайно опытенъ. Мало того, что онъ могъ заранѣе опредѣлить всѣ матеріальныя подробности похода (заготовленіе цивилизующихъ орудій, количество ихъ и т. д.), но инстинктивно угадывалъ, что кому требуется. Разумѣется, всего нужнѣе оказывались разные принципы. Такъ, напримѣръ, направляя стопы свои на западъ, онъ напередъ говорилъ, что первый принципъ, съ которымъ надлежитъ ближе познакомить обывателей—это *le principe du stanovoou russe*. Устремляясь внутрь, онъ знакомилъ невѣждъ съ принципомъ строгости и скорости во взысканіи податей. Теперь, когда дѣло шло объ отдаленномъ востокѣ, онъ, разумѣется, прежде всего задалъ себѣ вопросъ: чего имъ нужно?—и тотчасъ же, съ свойственною ему проницательностью, рѣшилъ, прежде всего необходимо познакомить ташкентцевъ съ *principe du télégue russe*. Я это зналъ, и, разумѣется, приготовилъ нѣсколько нѣлишнихъ соображеній въ этомъ смыслѣ.

Признаюсь, я не безъ волненія переступилъ порогъ канцеляріи, въ которой должна была рѣшиться моя участь. Накатниковъ былъ нѣкогда моимъ другомъ — это правда, но въ то же время я зналъ, что ему не безызвѣстна была моя цивилизующая дѣятельность въ одной изъ западныхъ губерній... Это меня смущало, потому что я вель себя тогда... ахъ, какъ я себя тогда вель! Къ счастью, я могъ утѣшить себя той мыслью, что современный контингентъ нашихъ цивилизующихъ силъ все тотъ же, который дѣйствовалъ и на западѣ, и внутри, и что, слѣдовательно, какъ ни бейся, а обойти насъ ни подъ какимъ видомъ нельзя.

Когда я вошелъ въ приемную, всѣ мои вчерашніе спутники

по вагону были уже на лицо. Многие изъ нихъ почистились, всѣ были положительно трезвы. Такія фizioноміи встрѣчаешь только въ пріемные дни въ канцеляріяхъ, да въ церквахъ передъ причастіемъ. Кромѣ ихъ, набралось еще много другого народа, столь же рѣшительнаго и столь же скудно, но чистенько одѣтаго. Пьеръ опрашивалъ каждаго по одиночкѣ, и главное вниманіе обращалъ на специальности, могущія служить подспорьемъ въ дѣлѣ цивилизаціи. Въ большей части случаевъ онъ встрѣчалъ просителей, какъ старыхъ знакомыхъ, ужъ извѣстныхъ ему по цивилизующей дѣятельности на западѣ и внутри. По движенію его лица я убѣдился, что и мой приходъ не остался имъ незамѣченнымъ.

Странно играетъ судьба людьми. Я зналъ Пьера въ школѣ, и зналъ, что тамъ онъ игралъ довольно не завидную роль. Какъ сейчасъ вижу его: сидитъ передъ складнымъ зеркальцомъ и вѣчно причесываетъ волосы. На губахъ улыбка, и около верхней губы, въ углу, шевелится кончикъ языка; изнутри слышится какое-то неопредѣленное мурмыканье. Чешется-чешется, потомъ нагнется, заглянетъ въ зеркальце, помурлычить, что-то поправить, и опять начнетъ мѣрно водить щеткой по головѣ. Никто не зналъ, о чемъ онъ думалъ, и даже думалъ ли о чемъ-нибудь. Въ тѣ минуты, когда онъ бывалъ свободенъ отъ туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда по неволѣ и всегда съ опредѣленной цѣлью: что-нибудь взять, исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставомъ заведенія. И всегда при этомъ кончикъ языка прилизывалъ начинающийся надъ верхнею губою усъ. Казалось, въ немъ происходила какая-то работа, только нельзя сказать, чтобъ очень умная. Въ улыбкѣ его (а онъ улыбался постоянно) видѣлось что-то сардоническое, вопросительное; какъ будто онъ самъ себя спрашивалъ: „чему же я, однако, улыбаюсь?“ Говорилъ онъ рѣдко, да и то односложными словами, и ежели бы не обязательная сдача уроковъ, которая все-таки требовала нѣкоторой связности рѣчи, едва ли кто-нибудь изъ насъ имѣлъ бы возможность утверждать, въ состояніи ли онъ сказать рядомъ два слова. Онъ никогда не дрался, никогда ни къ кому не приставалъ; его можно было дразнить и даже щипать — онъ только пожимался и изрѣдка произносилъ единственное, завѣтное слово: „шутъ!“. Когда же случалось, что его раздражали свыше всякой мѣры, то онъ молча вскакивалъ изъ-за туалета, молча схватывалъ первый попавшійся подъ руку предметъ: книгу, чернильницу, линейку, и молча же швырялъ ея въ обидчика. Такимъ образомъ, молча, улыбаясь и какъ-то машинально слѣдуя за всѣми товарищескими движеніями, прожилъ онъ съ нами шесть лѣтъ. Никто

не могъ назвать его своимъ другомъ, но всѣ видѣли въ немъ добраго товарища. Въ курсѣ онъ вышелъ послѣднимъ.

И вдругъ мы узнаемъ, что нашъ Петя трется около какого-то генерала, и что тотъ употребляетъ его въ качествѣ цивилизатора!..

Но счастье ужасно измѣняетъ человѣка. Въ ту минуту, какъ я пишу эти строки, Накатниковъ уже состоитъ въ чинѣ штатскаго генерала, имѣетъ на груди очень почтенное украшеніе... и говорить! Я не могу утверждать, что онъ говорить разумно, но онъ говорить, и этого уже для меня достаточно. Слова слѣдуютъ другъ за другомъ въ порядкѣ; по временамъ, можно даже различить мысленное присутствіе знаковъ препинанія. Чего больше нужно? Превжняя бродячая улыбка еще мелькаетъ на губахъ, но теперь она уже имѣетъ характеръ благосклонности; кончикъ языка, по прежнему, беспокойно прилизываетъ искусно заправленные концы усовъ, но теперь это движеніе уже не кажется просто инстинктивнымъ, а выражаетъ какую-то озабоченность. Голова его причесана еще тщательнѣе, безукоризненные бакенбарды обрамливаютъ блистающее свѣжестю лицо; но ничто не напоминаетъ ни о долгихъ часахъ туалета, ни о томительныхъ совѣщаніяхъ по поводу какого-нибудь непокорнаго волоска. Напротивъ того, кажется, что Пьеръ исключительно поглощенъ заботами своей миссіи, а прическа тутъ такъ-себѣ... пришла сама собою.

Какъ произошла эта метаморфоза—я съ точностью объяснить не могу, но несомнѣнно, что тутъ большую роль играло то случайное положеніе, которое Пьеръ успѣлъ занять. Положенія обьявляютъ. Съ расширеніемъ горизонтовъ, явленія самыя общезвѣстныя и безспорныя утрачиваютъ свою рѣзкость и даже измѣняютъ свои первоначальныя названія. Глупость начинаетъ называться благодушіемъ, коварство — дипломатіей, мошенничество — искусствомъ жить на свѣтѣ. Въ чинѣ коллежскаго регистратора, Пьеръ былъ глупъ; теперь, въ чинѣ штатскаго генерала, онъ сдѣлался благодушенъ. Глупость неприятна, и ежели не представляетъ положительнаго порока, то, во всякомъ случаѣ, никого не украшаетъ; напротивъ того, благодушіе есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее...

Пьеръ обошелъ всѣхъ поочереды; всѣмъ сказалъ слово ободренія и надежды, и когда приблизился къ моему сосѣду, то я совершенно явственно услышалъ какъ-бы случайно оброненное имъ слово: „шутъ!“

Я понялъ, что это слово было пущено по моему адресу и, признаюсь откровенно, весь вспыхнулъ отъ удовольствія. Это

слово разом перенесло меня къ милой односложности нашего школьнаго прошлаго. Мало того, оно заключало въ себѣ отпущеніе всѣхъ моихъ недавнихъ проказъ. Я просвѣтлѣлъ и переминался съ ноги на ногу, въ ожиданіи аудіенціи. Я видѣлъ въ немъ уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшаго завидное положеніе, а какое-то высшее существо, которому я обязанъ былъ принести въ жертву все. „До послѣдней капли крови!“ „не щадя живота!“ „не токмо за страхъ, но и за совѣсть!“—вотъ единственныя формулы, которыя безсознательно вырабатывали мои мозги, подъ вліяніемъ внезапнаго прилива преданности. Наконецъ, просители были удовлетворены, и мы остались вдвоемъ.

— Шутъ!—повторилъ онъ, но такъ мило, такъ безконечно благосклонно, что я могъ только произнести:

— Ради стараться, ваше превосходительство!

— Шутъ!

Онъ съ „небесною“ улыбкой оглядѣлъ меня съ головы до ногъ и, остановившись на моемъ ополченскомъ казакинѣ, продолжалъ:

— Ба! и старый другъ на плечахъ!

Я былъ побѣжденъ и уничтоженъ. Со слезами на глазахъ, я рассказалъ печальную повѣсть моихъ грѣхопаденій; признался ему во всемъ, даже...

— Ваше превосходительство! Я здѣсь передъ вами... какъ передъ отцомъ! казните, но не отнимайте отъ меня вашего расположенія!—заключилъ я прерывающимся отъ волненія голосомъ.

Такая довѣренность видимо польстила ему; онъ былъ тронутъ, и съ чувствомъ пожалъ мою руку. Прошедшее было забыто; будущее открывалось, полное надеждъ и загадочныхъ предпріятій. Онъ объяснилъ мнѣ всю важность предстоящихъ задачъ и, постепенно развивая свои мысли, *de fil en aiguille*, пришелъ, наконецъ, къ тому, что онъ называлъ „la question du télégraphe russe“. Этотъ вопросъ, по его мнѣнію, долженъ былъ явиться отправнымъ пунктомъ нашей будущей цивилизующей дѣятельности.

— Первоначальный способъ передвиженія,—говорилъ онъ,—несомнѣнно представляется намъ въ собственныхъ ногахъ человѣка. Неоспорно, что прародители наши двигались именно этимъ способомъ, удовлетворяя своимъ немногочисленнымъ нуждамъ. Тѣмъ же способомъ двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищъ нашихъ...

— Въ недавнее время заведены „посыльные“, которые тоже...—осмѣлился вставить я отъ себя.

— Ну да, мы, наши прародители и „посыльные“ — все это пользуется первоначальными способами передвиженія. Но не прерывай меня, mon cher, потому что мнѣ нужно высказать мою мысль вполнѣ. Итакъ, я сказалъ, что первоначальный способъ передвиженія заключался въ пѣшковой ходьбѣ. Но, по мѣрѣ того, какъ человекъ порабощаетъ природу и укрощаетъ звѣрей, способы передвиженія усложняются; на смѣну пѣшковой ходьбы является ѣзда верхомъ на четвероногихъ. Выступаетъ понятіе о собственности, которая, на основаніи правила: *omnīa meū mecum porto*, навьючивается, вмѣстѣ съ всадникомъ, на одно и тоже животное. Это уже шагъ впередъ, но, согласись со мной, что шагъ очень ограниченный (я сдѣлалъ знакъ головой и нѣсколько подкатилъ глаза, какъ будто хотѣлъ сказать: *oh, comme je vous comprends, mon général*)... Собственность ничтожна, перевозочныя средства тоже — вотъ ключъ для объясненія существованія народовъ пастушескихъ, кочевыхъ. Они бродятъ, кочуютъ, не могутъ усидѣть на мѣстѣ... *enfin, tout s'explique!* Наконецъ, появляется телѣга — этотъ неудобный и тряскій экипажъ! — но посмотри, какую онъ революцію произведетъ! Своею неудобностью онъ заставитъ обывателя остережся излишнихъ передвиженій, и тѣмъ самымъ привяжетъ его къ землѣ. Эта привязанность, съ своей стороны, породитъ понятіе о навозѣ. Видя постепенное накопленіе этого удобри-тельного матеріала, простодушный пастухъ спроситъ себя: что такое навозъ? и въ первый разъ задумается, въ первый разъ осянётся мыслью, что навозъ, какъ и все въ природѣ, существуетъ не безъ цѣли. Онъ начинаетъ дорожить навозомъ, онъ видитъ въ немъ *ses rénates et ses lares* — и вотъ устраиваетъ около него свое жилище и, незамѣтно для самого себя, вступаетъ въ періодъ осѣдлости (*oh! comme je vous comprends! comme je vous comprends, mon général!*). Понимаешь? Человекъ заводитъ телѣгу, и этого простого факта, который чуть ли не каждый день проходитъ передъ нашими глазами незамѣченнымъ, совершенно достаточно, чтобы онъ приобрѣлъ элементарныя понятія о навозѣ и навсегда оставилъ кочевыя привычки! Но этого мало; имѣя телѣгу, онъ полагаетъ основаніе прочной цивилизаціи (*oh, comme je vous comprends!*). Понимаешь ли ты, какую радикальную реформу мы можемъ сразу произвести въ бытѣ этихъ несчастныхъ бродягъ, ничѣмъ не рискуя, ничего даже съ собою не принося... кромѣ телѣги! кромѣ простой русской телѣги! *Aussi, je leur en donnerai... du tèlegue! Га!*

Онъ кончилъ, а я стоялъ и все слушалъ. Я удивлялся только тому, какъ это мнѣ самому сто разъ не пришли въ голову мысли столь простыя и естественныя. Каждый день я

вижу сотни телѣтъ, а никогда-таки не приходило на мысль, что тутъ-то именно и сидитъ вся суть цивилизующаго русскаго дѣла. Повидимому, и Пьеръ убѣдился, что я понялъ его намѣренія, потому что прервалъ свои объясненія и ласково сказалъ мнѣ:

— Ну, на первый разъ довольно! Я сегодня же доложу о тебѣ нашему генералу, и мы запишемъ тебя въ гвардію. Да, mon cher, и у насъ, ташкентцевъ, есть свои чернорабочіе и свои гвардейцы! *Que veux tu!* Первые—это такъ называемые *les pionniers de la civilisation*; они идутъ впередъ, прорубаютъ просѣки, пускаютъ кровь и такъ далѣе. Всѣ эти люди, которыхъ ты сейчасъ у меня видѣлъ,—все это кровопускатели. Если они погибаютъ, то, въ общемъ ходѣ дѣла, это почти остается незамѣченнымъ. Этихъ кровопускателей каждую минуту рождается такое множество, что они такъ и лѣзутъ изъ всѣхъ щелей на смѣну другъ другу. Совсѣмъ другое дѣло—наша цивилизаціонная гвардія. Люди гвардіи не прорубаютъ сами просѣки, а только указываютъ и дирижируютъ работами. Имъ не позволено погибать, потому что имъ ведется подробный счетъ. Сверхъ того, они получаютъ двойныя прогонныя и порціонныя деньги!

Должно быть, впечатлѣніе, произведенное на меня послѣдними словами, было особенно сильно, потому что Накатниковъ благосклонно улыбнулся и сказалъ.

— Понимаю! соловья баснями не кормятъ! *C'est juste!* Желаніе скорѣй разрѣшить вопросъ „о полученіи“ съ твоей стороны совершенно естественно, особливо если принять во вниманіе, что „старый другъ“, котораго ты такъ добросовѣстно хранишь на плечахъ, долженъ какъ можно скорѣе уступить мѣсто новому другу болѣе приличной наружности. Завтра это дѣло будетъ покончено, а покамѣстъ...

Онъ далъ мнѣ некрпную ассигнацію и отпустилъ отъ себя, потому что новыя толпы просителей ожидали его. Я не шелъ домой, а летѣлъ, точно у меня выросли сзади крылья. По дорогѣ, я забѣжалъ въ Палкинъ трактиръ и разомъ съѣлъ двѣ порціи бифштекса.

Цѣлый день я получалъ деньги.

Когда я пришелъ въ главное казначейство и явился къ та-мошнему генералу (на всякомъ мѣстѣ есть свой генералъ), то даже этотъ, повидимому, нечувствительный человѣкъ изумился разнообразію параграфовъ и статей, которые я сразу предъявилъ! А что всего важнѣе, денегъ потребовалась куча неслы-



ханная, ибо я, въ качествѣ ташкентскаго гвардейца, кромѣ собственныхъ подъемныхъ, порціонныхъ и проч., получалъ еще и другія суммы, потребныя преимущественно на заведеніе цивилизующихъ средствъ...

### § 15. Цивилизующія средства.

Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ.

### § 26. Береговое довольствіе.

Ст. 14. Призрѣніе шлющихся и охочихъ людей. И т. д., и т. д.

Я считалъ деньги съ утра и до пяти часовъ. Сеня Броненосный, который получалъ при этомъ свои тощіе ординарные порціоны и прогоны, только облизывался.

Я помню, что въ этотъ день я все помнилъ.

Я помню, что на другой день я отправился на желѣзную дорогу и взялъ мѣсто въ спальномъ вагонѣ второго класса.

Я помню, что былъ одѣтъ въ хорошее платье, что ѣлъ хорошее кушанье, что старая ополченка была спрятана въ чемоданъ. Черезъ плечо у меня висѣла дорожная сумка, въ которой хранились казенныя деньги.

Все это я помню...

Но какимъ образомъ я очутился въ Ростовѣ-на-Дону?! И не въ хорошемъ платьѣ, а въ моей старой ополченской поддѣвѣ?! Гдѣ моя сумка?!

Ужели я пріѣхалъ сюда единственно для того, чтобъ познакомиться съ градскимъ головою Байковымъ, котораго я, впрочемъ, не видалъ?!

Не можетъ быть!

Я помню: я ѣхалъ...

Я ѣхалъ, я ѣхалъ, я ѣхалъ...

Я ѣхалъ.

Вѣроятно, по дорогѣ я засмотрѣлся на какую-нибудь постороннюю губернію и...

Господи!

Тутъ есть какое-то волшебство. Злой волшебникъ превра-

тилъ въ Ташкентъ Рязанскую губернію. Рязанскую или Тульскую?!

Я помню: я пилъ...

Въ Таганрогѣ меня арестовали.

— Откуда? куда?—спрашивали меня.

— Я помню: я ѣхалъ...

— Гдѣ казенная сумка?

— Я помню: я пилъ...

Что случилось? гдѣ я нахожусь?

Кругомъ меня ходятъ какія-то тѣни и говорятъ: „стоя на рубежѣ...“ Потомъ приходятъ другія тѣни и говорятъ: „le principe du télégraphe russe...“

§ 15. Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ!!

Но вѣдь надобны же средства, mon cher! Телѣга... конечно, это не Богъ знаетъ драгоцѣнность какая, но вѣдь надо построить ее! Гдѣ средства? Гдѣ-жъ средства... коли я ихъ всѣ пропилъ... mon cher!

## ОНИ-ЖЕ.

---

Ахъ! какъ я тогда себя велъ!

Ташкентъ еще завоеванъ не былъ; на западъ дѣло было покончено; мы были свободны, но страсть къ завоеваніямъ не умирала.

Ничего другого не оставалось, какъ обратиться внутрь...

Я помню, это было лѣтомъ. Петербургъ погибалъ, стихіи смѣшались. Наводненіе слѣдовало за наводненіемъ; Адмиралтейство уже ушло; съ часу на часъ ожидали, что поплыветъ Петропавловская крѣпость. Публицисты гремѣли, общественное мнѣніе требовало быстрой и дѣйствительной немезиды. Образовались, какъ водится, подъ предводительствомъ отставныхъ генераловъ, нѣсколько частныхъ компаній „для искорененія зла“; акціи разбирались на расхватъ, тѣмъ болѣе, что цѣна имъ была назначена копейка серебромъ. Какъ въ 1612 году, общество пыталось спасти себя само, безъ разрѣшенія начальства. Объявленъ былъ походъ противъ неблагонадежныхъ элементовъ; крестоносцевъ потребовалось множество. Къ одной изъ такихъ компаній, подъ названіемъ „Робкое усиліе благонамѣренности“, приступилъ и я.

Какъ только кто-нибудь кликнетъ кличъ—я тутъ. Не успѣть еще генералъ (не знаю почему, но мнѣ всегда представляется, что кличетъ кличъ всегда генералъ) ротъ разинуть, какъ уже я вырастаю изъ подъ земли и трепещу предъ его превосходительствомъ. Гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы углу ни скитался—я чувствую. Сначала меня мутитъ, потомъ начинаютъ вытягиваться ноги, вытягиваются, вытягиваются, бѣгутъ, бѣ-

гутъ, и едва успѣть вылетѣть звукъ: „Ребята! съ нами Богъ!“ — я тутъ.

— Куда прикажете, ваше-ство?

— А! ты опять здѣсь!

— Точно такъ ваше-ство!

— Благодарю, мнѣ люди нужны!

Такъ именно было и тогда. Не помню: въ какой губерніи я скитался, но помню, въ карманѣ не было ни гроша. И еще помню: мѣра беззаконій исполнилась... Взять тройку, подтянуться кушакомъ, подкрѣпиться 3 — 4 рюмками очищенной, сѣсть въ телѣгу, перекреститься—все это было дѣломъ одной минуты. Затѣмъ скакать, скакать и скакать... И дѣйствительно, я прискакалъ въ тотъ моментъ, когда генераль произносилъ возмутительную рѣчь. Эта рѣчь произвела на меня такое глубокое впечатлѣніе, что я и теперь помню ее отъ слова до слова. „Господа! сказалъ онъ: не посраимся, но ляжемъ костями. Такъ, Мм. гг., говорилъ блаженной памяти его высочество великій князь Святославъ Игоревичъ, намѣреваясь вступить въ сокрушительный бой съ Іоанномъ Цимисхіемъ“... Генераль остановился, покраснѣлъ и прибавилъ: „Господа! я не ораторъ, но, какъ человѣкъ русскій, могу сказать: ребята, наша взяла!“

Въ это самое время я вошелъ. Къ удивленію, пріемная зала была уже полна соискателей всѣхъ возрастовъ, состояній и націй. Очевидно, мутило не меня одного. Фонды компаніи въ одну минуту возвысились съ копѣйки до ломаного гроша. Сочувствующіе, желающіе поживиться, тѣснились, толкали другъ друга, бросали кругомъ завистливые взгляды, такъ что генераль, чтобы предотвратить несчастіе, долженъ былъ сказать: „Господа! не торопитесь! всѣмъ будетъ мѣсто! мнѣ люди нужны!“ И затѣмъ, обращаясь къ одному изъ приближенныхъ, продолжалъ: „Какой, однако, прекрасный наплывъ чувствъ!“

Насъ тутъ-же всѣхъ поголовно переписали и велѣли немедленно явиться въ правленіе для окончательнаго распредѣленія по отрядамъ (par escouades). Я помню, въ числѣ соискателей, меня въ особенности поразилъ одинъ инородецъ: при 3-хъ аршинномъ ростѣ и соразмѣрной тучности, онъ выражалъ такую угрюмую рѣшительность, что самые невинные люди немедленно во всемъ сознавались, при одномъ его приближеніи.

Генераль нашъ долго любовался имъ, но, замѣтивъ, что это предпочтеніе во многихъ начинаетъ возбуждать чувство патріотической ревности, тотчасъ же поспѣшилъ разувѣрить насъ. „Господа! сказалъ онъ: не думайте, прошу васъ, чтобы у насъ требовались исключительно люди сверхъ естественнаго роста! Нѣтъ!—

въ нашемъ предпріятіи найдется мѣсто для людей всякаго роста, всякой комплекціи. Одно не пр ем ѣ н н о е условіе—это русская душа! Слово „непремѣнное“ генераль произнесъ съ особымъ удареніемъ.

— А нѣмцу можно? раздался въ толпѣ чѣй-то голосъ... Небесная улыбка озарила лицо генерала.

— Нѣмцу—можно! нѣмцу всегда можно! потому что у нѣмца всегда русская душа сказалъ онъ съ энтузіазмомъ, и, обращаясь вновь къ своему приближенному, прибавилъ:—о, еслибы всѣ русскіе обладали такими русскими душами, какія обыкновенно бываютъ у нѣмцевъ!

Генераль на минуту задумался и пожевалъ губами.

— Наполеонъ III сказалъ правду, произнесъ онъ, какъ бы въ раздумьи:—что такое истинный французъ? спросилъ онъ себя въ одну изъ трудныхъ минутъ, и отвѣчалъ: истинный французъ есть тотъ, который исполняетъ приказаніе генерала Пьетри! И съ тѣхъ поръ, какъ онъ сказалъ себѣ это, все у него пошло хорошо!

— Такъ точно, ваше пр-ство! прогремѣли мы хоромъ.

Иностранцевъ шевелилъ глазами и простиралъ руки. Наконецъ переносъ кончилась. Оказалось 666 соискателей; изъ нихъ 400 (все-таки большинство!) русскихъ, 200 нѣмцевъ съ русскими душами, тридцать три иностранца безъ души, но съ развитыми мускулами, и 33 поляка. Послѣднихъ генераль тотчасъ-же вычеркнулъ изъ списка. Но едва онъ успѣлъ отдать соотвѣтствующее приказаніе, какъ „безмозглые“ обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспламеняющейся націи.

— Мы тоже русскіе! съ наглостію говорили они. — У насъ тоже русскія души!

— Но вы католики, господа! усовѣщивалъ генераль:—а этого я ни въ какомъ случаѣ потерпѣть не могу!

— Какіе мы католики — мы и въ церкви никогда не бываемъ!

— А! если такъ — это другое дѣло! но, предваряю, худо будетъ тому, кто солгалъ...

И затѣмъ, приказавъ возстановить поляковъ въ правахъ и обращаясь къ намъ, прибавилъ:

— Ну, теперь съ Богомъ, господа!

Съ этими словами предсѣдатель компаніи „Робкое усиліе благонамѣренности“ удалился въ кабинетъ, оставивъ всѣхъ очарованными...

Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили отъ него и весело разговаривали.

— Ангель! говорили одни.

— Какое знаніе человѣческаго сердца! разсуждали другіе.

Я лично былъ въ такомъ энтузіазмѣ, что, подходя къ Палкину трактиру и встрѣтивши „стриженную“, которая шла по Невскому, притоптывая каблучками и держа подъ мышкой книгу, не воздержался, чтобы не сказать:

— Тише! Ммерзавка!

Почему я это сказалъ, я до сихъ поръ объяснить себѣ не могу. Но оказалось, что я попалъ мѣтко, потому что негодная поблѣднѣла, какъ полотно, и поскорѣй сѣла на извозчика, чтобы избѣжать народной немезиды. Есть какой то инстинктъ, который въ важныхъ случаяхъ подсказываетъ человѣку его дѣйствія, и я никогда не раскаявался, повинаясь этому инстинкту. Такъ, напримѣръ, когда я цивилизовалъ на западѣ, то не иначе входилъ въ домъ пана, какъ восклицая: а ну-те вы, такіе-сякіе „кши, пши, вши“, рассказывайте! думаете-ли вы, что „надзѣя“ еще съ вами?

Я очень хорошо понималъ, что остроумнаго тутъ нѣтъ ничего. „Надзѣя“ — надежда, „смѣтанка“ — сливки, „до зобаченія“ — до свиданія, — конечно, все это слова очень обыкновенныя, но — странное дѣло, — мы, просвѣтителі, не могли выносить ихъ. Намъ казалось, ну какъ не бить людей, которые произносятъ такіа слова? Но въ то же время я былъ убѣжденъ, что паны найдутъ мою шутку необыкновенно веселою. И дѣйствительно, они просто надрывали животы отъ смѣха, когда я произносилъ свое привѣтствіе. (Какъсь, этому смѣху многіе даже были обязаны своимъ спасеніемъ).

— О! какой панъ милій! восклицали они хоромъ... Милій! замѣтьте, „милій“, а не „милый“! Ахъ, прахъ васъ побери!

Точно такъ было и теперь.

Повидимому, я не сказалъ ничего, а вышло, что сказалъ очень многое. Къ несчастію, я былъ голоденъ, и къ тому не имѣлъ свободнаго времени слѣдить за негодяйкой. Однако, я все-таки былъ доволенъ, что успѣлъ изубытчить ее на четвертакъ, который она должна была заплатить извозчику.

У Палкина была почти такая-же давка, какъ и въ генеральской пріемной, такъ какъ всѣ мы, на первый случай, получили по нѣскольку монетъ, и спѣшили вознаградить себя за дни недобровольнаго воздержанія, которое каждый изъ насъ передъ тѣмъ вытерпѣлъ. Но замѣчательно, что никто не спрашивалъ себѣ горячаго, а всѣ насыщались какъ-то непослѣдовательно, урывками, большею частью солеными и копчеными закусками, заѣдая ими водку. Трехътаршинный инородецъ былъ

господа ташеентцы.

тоже здѣсь, но водки не пилъ, а выпилъ жбанъ кислыхъ щей и съѣлъ четверть жеребенка. Проглотивъ послѣдній кусокъ, онъ отяжелѣлъ и долгое время не могъ даже моргнуть глазами. Многіе пользовались этимъ, и безнаказанно показывали ему свиное ухо.

На всѣхъ пунктахъ шли оживленные разговоры.

— Нужно думать, что намъ придется дѣйствовать по ночамъ, догадывались одни.

— Еще бы! Днемъ-то „его“ съ собаками не сыщешь, а ночью — динь, динь! Команъ ву порте ву? Wie viel haben sie gewesen? Сейчасъ его, ракалю, за волосное правленіе — не угодно-ли прогуляться? Да не топырится, сударь мой! Н-н-е-то-пы-ри-ть-ся!

— А если же онъ уфъ спальни? спросилъ тотъ самый нѣмецъ, который сомнѣвался, какая у него душа.

— А если же онъ уфъ спальни? поддразнилъ его одинъ изъ собесѣдниковъ: — такъ что же, что уфъ спальни! Тебѣ же, нѣмцу, лучше—прямо туда и при! Можетъ, на стрижечку интересненькую набредешь!

Нѣмчикъ покраснѣлъ.

— Чтѣ? Побагровѣлъ? Ахъ, нѣмецъ, нѣмецъ! чувствуетъ мое сердце, что добра отъ тебя не будетъ. Ты пойми: тутъ каждая минута миллионъ триста тысячъ червонцевъ стоитъ, а ты ломаешься: „уфъ спальни!“

— О, нѣтъ! я ничего! мнѣ очень пріятно!

— То-то „ничего!“ Ты иди прямо, потому дохнуть тутъ некогда!

— Это дѣло нужно умненько вести, разсуждали въ другомъ мѣстѣ:—потому тутъ какъ разъ наскочишь!

— Не можетъ этого быть!

— Чтѣ вы говорите: „не можетъ быть!“ Я самъ, сударь, на собственной своей персонѣ испыталъ! Видите это пятно? Вотъ это!.. Ну? Вы думаете, что это родимое! нѣтъ, государь мой, это...

— Я полагаю, надо сначала вызвать дворника, ораторство-вали въ третьемъ мѣстѣ:—а когда онъ обрѣветъ, то потребовать, чтобъ указалъ путь... Когда же такимъ образомъ настоящая берлога будетъ приведена въ извѣстность, то изловить „его“ не будетъ составлять никакой трудности... Нужно только, знаете, съ шумомъ, съ трескомъ, чтобъ впечатлѣніе было полное...

— Но если, заслышавъ шумъ, „онъ“ уйдетъ?

— Куда уйдетъ, подъ столъ что-ли спрячется? или въ щель заползетъ? такъ за волосы оттуда вытащимъ, государь мой, за волосы!..

— Но если „онъ“ вдругъ лишитъ себя жизни?

— Те-те-те; это волосатый-то! онъ-то лишитъ себя жизни? Да вы, сударь, стало быть не знаете ихъ! Это благородный человекъ... ну, тотъ, конечно... для благороднаго человека жизнь что? тьфу!.. А то кого нашли! волосатаго!

Словомъ сказать, всё шумѣли, всё волновались. Одинъ ино-родецъ былъ исключительно преданъ варенію принятой имъ пищи. Вскорѣ, впрочемъ, и онъ получилъ способность моргать глазами и поворачивать головой. Тогда онъ повернулся всѣмъ корпусомъ къ Невскому, и, увидѣвъ на улицѣ жалкую соба-ченку, которая на трехъ ногахъ жалась около тротуара, отперъ окно, вынулъ изъ кармана небольшой камень и пустилъ имъ въ собаку. Послѣдовалъ визгъ, и на губахъ его показалась улыбка! Только тогда мы поняли, какую роль долженъ былъ играть этотъ человекъ въ предстоящемъ походѣ. Всѣ на мгно-веніе притихли.

Я вслушивался въ эти разговоры, и желчь все сильнѣе и сильнѣе во мнѣ кипѣла. Я не знаю, испытывалъ ли читатель это странное чувство самораздраженія, когда въ человекѣ первоначально зарождается ничтожнѣйшая точка, и вдругъ эта точка начинаетъ разрастаться, разрастаться, и наконецъ охва-тываетъ всё помыслы, преслѣдуетъ, не даетъ ни минуты покоя. Однажды вспыхнувъ, страсть подстрекаетъ себя сама, и не удовлетворяется до тѣхъ поръ, пока не исчерпаетъ всего своего содержанія.

Что до меня, то я ощущалъ это чувство неоднократно. Об-становка, совѣщанія, ожиданіе предстоящихъ подвиговъ—все это дѣйствуетъ опьяняющимъ образомъ. Такъ было и теперь. Чѣмъ болѣе я слушалъ, тѣмъ болѣе напрягались мои душевныя силы, тѣмъ болѣе я ненавидѣлъ. Ночь, робѣющій дворникъ, бряцанія о тротуары и черныя лѣстницы, гетные тѣнаге въ бу-магахъ и письмахъ—таково начало! Потомъ: краткое мерцаніе утренней зари, медленный благовѣстъ къ заутренямъ, дрожъ на проникнутомъ ночью свѣжестью воздухѣ, рюмка водки въ ближайшей харчевнѣ, шумъ, смѣхъ, изумленіе раннихъ прохо-жихъ... стой! слу-шай! Въ комъ не произведетъ опьяненія по-добная перспектива?

Въ такомъ-то возбужденномъ состояніи я вышелъ изъ Пал-кина трактира и уже хотѣлъ направить шаги въ свою квар-тиру, какъ вдругъ увидѣлъ идущаго навстрѣчу товарища по школѣ. Натурально, бросились другъ къ другу; изліянія, воспо-минанія, вопросы... Радость была взаимная, потому что въ школѣ мы были очень дружны, а послѣ того, потеряли другъ друга изъ вида, и слѣдовательно ни онъ обо мнѣ, ни я объ



немъ не имѣли рѣшительно никакихъ свѣдѣній... И вдругъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ задушевной бесѣды, онъ говоритъ мнѣ:

— Ахъ, какое время, мой другъ! Какое ужасное время!

Я инстинктивно взглянулъ на него, онъ уловилъ этотъ взглядъ, и вдругъ... все понялъ!

— То-есть, ты понимаешь меня, заспѣшилъ онъ, какъ-то странно смѣясь мнѣ въ лицо: — не въ томъ смыслѣ ужасное... пожалуйста, ты не подумай... однако, прощай! Мнѣ надо по одному дѣлу!

И онъ удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я нѣсколько минутъ, какъ статуя, стоялъ на одномъ мѣстѣ и безмолвно кусалъ усн. Если бы въ эту минуту возлѣ меня развернулась пропасть, я, навѣрное, бросился бы въ нее!..

Мерзавецъ!

Pardon! Вѣдь было, однако, время... когда я былъ либераломъ!.

Не удивляйся, читатель, и не глади на меня съ недоумѣ-  
ріемъ: да, было время, когда я не только былъ либераломъ, но былъ близокъ къ нѣкоторымъ знаменитымъ и уважаемымъ личностямъ (увъ! теперь уже умершимъ!). Мы составляли тогда тѣсную, дружескую семью; у всѣхъ насъ былъ одинъ девизъ: „добро, красота, истина“.

Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба романтизма съ классицизмомъ, движеніе, возбужденное Бѣлинскимъ, Луи-Бланъ, Жоржъ-Зандъ—все это увлекало насъ и увлекало совершенно искренно. Насъ трогали идеи 48 года; конечно не сущность ихъ, а женерозность, гуманность... „*Alea jacta est*“, *la grandeur d'âme est à l'ordre du jour*—восклицали мы вслухъ съ Ламартиномъ.

Какимъ образомъ все это примирилось съ уставомъ благоустройства и благочинія?

Это сдѣлалось очень странно, но я помню, тутъ произошелъ какой-то сумбуръ.

Была одна минута, одна единственная минута, когда вдругъ все перемѣнилось, когда выползли изъ норъ какіе-то волосатые люди и начали доказывать, что „добро“, „красота“, „истина“ — все это только слова, которыя непременно нужно наполнить содержаниемъ, чтобы они получили значеніе.

Что разумѣете вы, наприм., подъ „добромъ?“ спрашивали насъ эти люди, и спрашивали такъ дерзко, такъ самоувѣренно,

какъ будто и въ самомъ дѣлѣ возможность „распорядиться“ исчезла навсегда изъ всѣхъ кодексовъ.

Однако, мы были на столько любезны (замѣтите: мы могли и не быть ими!), что отвѣчали.

Я помню, я въ первый разъ тогда покраснѣлъ. До тѣхъ поръ все это было мнѣ такъ ясно, такъ безспорно — и вдругъ... призываютъ къ допросу!

— Добро! говорили мы: — но развѣ каждому изъ насъ не присуще это чувство? Развѣ каждый изъ насъ не трепещетъ восторгомъ при одномъ его имени? Развѣ не страненъ самый вопросъ: чтъ такое добро?

Сказавъ это, мы сѣли, ибо были увѣрены, что отвѣтили.

— Ну-съ? слышали мы, вмѣсто возраженія.

— Наконецъ, продолжали мы: — если въ трудныя минуты жизни мы жаждемъ утѣшенія, то гдѣ же мы ищемъ его, какъ не въ высокихъ идеяхъ добра, красоты и истины? Ужели и это не объясняетъ достаточно, какое значеніе, какую цѣну имѣетъ добро?

Мы кончили и опять сѣли, ожидая, что „они“ поймутъ. Но въ отвѣтъ на наши слова послышался холодный, какъ бы беззвучный смѣхъ. Я понялъ, что этотъ смѣхъ называется „отрицаніемъ“ и впервые тогда произнесъ: Меррзавцы!

Послѣ этого пошло дальше и дальше; послѣ „отрицанія“ пришло „неуваженіе авторитетовъ“, потомъ „безвѣріе“, потомъ „послѣдствіе на чужую собственность“, затѣмъ еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришелъ, что я у пристани...

Иногда меня интересуетъ вопросъ: что было бы, еслибъ былъ живъ Грановскій? Остался ли бы я его другомъ? Я понимаю, что самъ по себѣ этотъ вопросъ праздный; но сознаюсь, въ первое время моего вступленія на арену благочинія, онъ волновалъ меня довольно сильно. Бывали минуты, когда я предлагалъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе компетентнымъ людямъ. Многие изъ нихъ уклонялись, многие не отвѣчали ни да, ни нѣтъ; но одинъ просто-на-просто сразилъ меня.

— Вы! почти крикнулъ онъ на меня: — вы... другъ Грановскаго? Вы!.. Да онъ бы на порогъ квартиры своей васъ не пустилъ!..

Меррзавецъ!

Я уже сказалъ, что мы дѣйствовали отрядами, *par écouades*.

Не смотря на позднее время, „онъ“ сидѣлъ и читалъ книгу; подруга его беззаконій спала. Когда мы позвонили, онъ самъ отворилъ намъ дверь. „Онъ“ не казался испуганнымъ, ни даже

изумленнымъ, но какъ будто старался понять... Наконецъ, онъ понялъ.

Первымъ моимъ движеніемъ было овладѣть книгой.

Содержаніе ея было фیزیологическое.

— Вотъ эти то книги и доводятъ васъ, милостивый государь, до всего! сказалъ я, и ужъ не помню, какъ это случилось, но бросилъ книгу на полъ и началъ топтать ее ногами.

„Онъ“ съ любопытствомъ и даже какъ бы съ жалостію слѣдилъ за моими произвольными движеніями, однако не протестовалъ.

Изъ другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.

— Это кто? спросилъ я, указывая на нее.

— Это... моя жена.

— Около ракового куста вѣнчаны?

— Къ сожалѣнію, я не настолько знакомъ съ отечественными былинами, чтобы отвѣчать на вашъ вопросъ.

Это была уже дерзость.

— Я заставлю васъ понимать себя! всплилъ я.

— Извините, но я не могу понимать больше того, сколько понимаю. Потрудитесь выражаться яснѣе.

— Гражданскимъ бракомъ? проклятымъ гражданскимъ бракомъ? говорилъ я, выходя изъ себя.

— Теперь понимаю... Да, гражданскимъ бракомъ!

— Такъ вотъ для нея... Сударыня... какъ васъ... Извольте получить... билетъ!

„Она“ на скоро одѣлась и вышла къ намъ.

Повидимому, она еще не понимала.

— Что же! возьми! сказалъ онъ.

Но она все еще не рѣшалась брать и взорами спрашивала у него, у меня, у всѣхъ—разъясненія этой загадки... Вдругъ, черты ея лица начали искажаться, искажаться... „Она“ поняла... И чтожь? Оказалось, что это была дочь почтеннаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, увлеченная хитростію въ сомнище неблагонамѣренныхъ...

Марршъ!

Было еще позднѣе, и „онъ“ уже спалъ. Сдѣлавши нѣсколько сильныхъ ударовъ звонкомъ, мы долго ждали на площадѣ, прислушиваясь, какъ за дверь возились и ходили взадъ и впередъ. Вознѣ этой, казалось, не будетъ конца.

— Да куда же, однако, дѣвались мои носки? долеталъ до насъ „его“ голосъ.

Наконецъ, носки были отысканы, и дверь отперта. „Онъ“

узналъ насъ сразу, и не только не показалъ никакого изумленія, но даже принималъ гостей съ нѣкоторою развязностію.

Впослѣдствіи открылось, что „онъ“ уже „травленный“.

— Ба! Гости! сказалъ онъ довольно весело:— да ужъ нѣтъ ли тутъ старыхъ знакомыхъ? нѣтъ? Ну, и съ новыми познакомимся! Marie! вставай: гости пришли!

Оказалось, что „онъ“ былъ веселый малый и даже отчасти жуиръ. На столѣ, въ кабинетѣ, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыръ, балыкъ, куски холодного пирога... Нѣсколько початыхъ бутылокъ вина и на половину выпитый графинъ съ водкой довершали картину.

— Господа! не угодно-ли? сказалъ „онъ“, указывая на закуски: отъ меня, съ часъ тому назадъ, ушли пріятели, такъ вотъ кстати и закуска осталась. А я покажѣтъ одѣнусь: вѣдь мнѣ придется сопровождать васъ? или, лучше, вамъ придется сопровождать меня—такъ?

— Точно такъ-съ! отвѣчалъ я, увлеченный его добродушіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не подумать:—если бы всѣ они были таковы! Гостепріименъ, ласковъ, словоохотливъ!

Это былъ единственный случай, когда меня угостили закуской. Я уже начиналъ думать, что „они“ не ѣдятъ и не пьютъ, и вдругъ... встрѣчаюсь съ картиной стариннаго дворянскаго хлѣбосоольства! И гдѣ-же встрѣчаюсь?

Что привело этого человѣка въ бездну вольномыслія? Непостижимо!!

Мы послѣдовали приглашенію радушнаго хозяина и, признаюсь, даже не замѣтили, какъ прошло время въ любезной бесѣдѣ.

Говорили обо всемъ, о социализмѣ, о коммунизмѣ, но безъ раздраженія, безъ задора, и даже съ видимымъ удовольствіемъ. Одинъ только разъ я принужденъ былъ выразиться довольно строго, и именно, по поводу той самой Marie, которую онъ уже вызывалъ въ началѣ нашего прихода и которая теперь съ самой изысканной любезностію подчивила насъ пирогомъ и закуской.

— Эта особа... какъ вамъ приходится? спросилъ я его.

— А! это... моя жена! Вамъ, можетъ быть, нужно въ спальную войти? Сдѣлайте одолженіе—не стѣсняйтесь! Я самъ вамъ все покажу.

— Нѣтъ-съ, покуда мы еще не имѣемъ въ этомъ нужды... Но жена... т. е. какъ жена? прибавилъ я, шутливо подмигнувъ однимъ глазомъ:—вокругъ ракитоваго куста?

— Если вы подъ ракитовымъ кустомъ разумѣете...

— Но онъ не успѣлъ докончить.

— Довольно, государь мой! сказалъ я строго, чтобы дать ему почувствовать, что вѣжливое обращеніе еще не даетъ права на дерзость.

Затѣмъ, когда мы закусили и выпили, онъ самъ намъ показалъ все. Въ пѣлой квартирѣ не было ни одной книги, ни одного клочка бумаги, такъ что я даже изумился.

— Васъ изумляетъ отсутствіе книгъ и бумагъ? поспѣшили онъ объяснить, замѣтивъ на моемъ лицѣ недовольное движеніе—но поймите-же, наконецъ, что начиная съ 48-го года, я періодически подвергаюсь точно такимъ посѣщеніямъ, какъ въ настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить нѣкоторую опытность.

Признаюсь, во всякомъ другомъ случаѣ подобная предусмотрительность огорчила бы меня, но на этотъ разъ она даже обрадовала: такъ мнѣ пріятно было за нашего добраго, радушнаго... и, вѣроятно, не по своей винѣ увеличеннаго хозяина!

Подъ вліяніемъ этого чувства я совершенно раскисъ.

— Вы не сердитесь, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ (такъ „его“ звали), сказалъ я:—но я считаю своимъ долгомъ вамъ выразить, что давно не проводилъ такъ пріятно время, какъ въ вашемъ милomъ, образованномъ семействѣ.

— За чтѣ-же тутъ сердиться?

— Да-съ! Но за всѣмъ тѣмъ... моя обязанность... мой, если можно такъ выразиться, священный долгъ...

— Повелѣваемъ вамъ пригласить меня съ собою? Что-жъ, вѣдь я съ перваго-же раза сказалъ вамъ, что на всякомъ мѣстѣ и во всякое время готовъ!

— Да съ; но могу васъ увѣрить, что съ своей стороны... все, что зависить.

— Ну, отъ такихъ курицыныхъ дѣтей, какъ вы, тутъ, пожалуй, ровно ничего зависить не можетъ... Однако, довольно разговаривать: идемъ!

Тутъ только я замѣтилъ, что ему все таки не совсѣмъ пріятно было наше посѣщеніе.

Маршъ!

Петербургъ погибалъ! Петропавловская крѣпость уже уплыла... Послѣдній оплотъ! Это было зрѣлище ужасное: куда ни оглянись—вездѣ дыра... Публицисты гремѣли, благонамѣренные... радовались!

Всѣ чувствовали, что надо вырвать „зло“ съ корнемъ, всѣ издавали дикіе вопли... Въ чемъ заключалось зло? Какое оно отношеніе имѣло къ данной минутѣ? Объ этомъ никто себя не

спрашивалъ, не разсуждалъ, не говорилъ. Чувствовалось одно: что минута благопріятна, что это одна изъ тѣхъ минутъ, къ которымъ можно приурочить какую угодно обиду, и никто въ суматохѣ ничего не разберетъ и не отличить. Если теперь упустить минуту, то кто можетъ поручиться, поймаетъ-ли ее когда нибудь за хвостъ?

Нѣтъ зрѣлища болѣе поразительнаго, какъ зрѣлище радости благонамѣренныхъ! Это какой-то гулъ: у-у! а-а! го-го! Повидимому, тутъ нѣтъ даже необходимой, для вразумительности, членораздѣльности, а за всѣмъ тѣмъ нельзя не чувствовать, что это единственные „передовые“ звуки, возможные въ извѣстныхъ минуты!

Еще вчера благонамѣренный жался къ сторонкѣ, ходилъ съ понурою головою, съ блѣдными щеками и потухшими зорами; еще вчера онъ клялся и божился, что отнынѣ подло быть негодяемъ — и вдругъ какая метаморфоза! Сегодня онъ цвѣтеть; походка у него увѣренная, авторитетная; глаза блестятъ молніями; уста извергаютъ побѣдный вопль. Вы не можете объяснить, какъ совершилась побѣда, но чувствуете, что она совершилась, и что вчерашній день утонулъ навсегда. *Vae victis!* Горе тому, кто попадетъ въ эту минуту на глаза „благонамѣренному“! Онъ въ одно мгновеніе будетъ съ ногъ до головы обрызганъ ядовитою слюной ябеды и клеветы!

Сильныя общественныя пертурбаціи необходимы для „благонамѣреннаго“: онѣ даютъ ему возможность окрѣпнуть. Пожаръ поселяетъ въ его сердцѣ радостный трепетъ, наводненіе, голодь — приводять въ восхищеніе!

Въ обыкновенное время, когда теченіе дѣлъ не представляетъ угрозъ, когда окрестъ царствуетъ тишина, когда въ обществѣ расцвѣтаетъ надежда на лучшее будущее — „благонамѣренный“ увядаетъ, ибо сознаетъ себя ненужнымъ.

Самолюбіе его страдаетъ безмѣрно; онъ мечется и ищетъ исхода для своей дѣятельности и вездѣ приходитъ не вовремя, вездѣ видитъ себя лишнимъ... Тишина тлетворнымъ образомъ дѣйствуетъ на его фонды, почти что исключаетъ его изъ жизни. Притомъ, это явленіе до такой степени для него ново и не обычно, что невольно возбуждаетъ въ немъ подозрительность, населяетъ его воображеніе всевозможными страхами. „Тихо — стало быть, я пропалъ“ — говоритъ себѣ благонамѣренный, и нѣтъ мѣры его злополучію. Чтобы пищевареніе совершалось въ немъ безпрепятственно, нужно, чтобы дѣлы массы изнемогали подъ игомъ нравственныхъ и физическихъ истязаній, или, по крайней мѣрѣ, чтобы кто-нибудь да стоналъ.

Если этого нѣтъ, онъ чувствуетъ себя „неловко, и, чтобы смягчить свое горе, начинаетъ предсказывать, накливать.

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на его предсказанія, на горизонтѣ появляется облако, въ воздухѣ чувствуется удушливость, вдалекѣ слышатся раскаты грома...

Посмотрите, какъ постепенно онъ воскресаетъ, какъ загорается румянецъ на его блѣдныхъ щекахъ, какой страшной пастью разверзаются нѣмотствовавшія дотолѣ уста!

„Я говорилъ, я предсказывалъ, я зналъ впередъ, что это будетъ такъ!“ — хохочетъ онъ на всѣ стороны. И лется этотъ зловѣщій, перекастистый хохотъ изъ края въ край, вызывая къ жизни давно уснувшія ненависти, давая плоть и форму тому, что смутно шипѣло и бессмысленно бормотало, не созная самого себя, не умѣя найти для себя яснаго выраженія...

Наступаетъ минута какого-то адскаго откровенія. „Либералы!“ раздается побѣдный кличъ, и все, что чувствуетъ себя бодрымъ,—все складывается въ одну яму и немедленно отдается на поруганіе...

Въ такомъ положеніи дѣлъ, очень естественно, что какъ бы человекъ ни старался попасть въ тонъ минуты, онъ всегда чувствуетъ себя опереженнымъ.

Такъ было и съ нами, членами общества „Робкаго усилія благонамѣренности“. Какъ мы ни бодрились, какъ ни старались сослужить службу общественную—возрастающій спросъ на благонамѣренность съ каждымъ часомъ больше и больше затоплялъ насъ. Мы уже не удовлетворяли потребности минуты; мы оказывались слабыми и неумѣлыми; насъ открыто называли колапаками!! Въ концѣ концовъ, мы сдѣлались страдательнымъ орудіемъ, которое направляло свои удары почти механически.

Надо было видѣть, какіе люди встали тогда изъ могилъ! Надо было слышать, что тогда припоминалось, отомщалось и вымѣщалось!

Если вы имѣли съ вашимъ сосѣдомъ процессъ; если вы дали взаймы денегъ и имѣли неосторожность напомнить объ этомъ; если вы имѣли несчастіе доказать дураку, что онъ дуракъ, подлецу—что онъ подлецъ, взяточнику—что онъ взяточникъ; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали изъ когтей хищника добычу—это просто-на-просто означало, что вы сами вырыли себѣ подъ ногами бездну. Вы припоминали объ этихъ вашихъ преступленіяхъ, и съ ужасомъ ожидали. Не было закоулка, куда бы не проникла „благонамѣренность“...

Провинція колыхалась и извергала изъ себя цѣлые легіоны чудовищъ ябеды и клеветы...

Отъ Перми до Тавриды,  
Отъ хладныхъ финскихъ скалъ  
До пламенной Колхиды...

Отовсюду устремлялись стада „благонамѣренныхъ“, чтобы вымѣстить накипѣвшія въ сердцахъ обиды...

Они рыскали по стогнамъ, становились на распутьяхъ и вопили. Обвинялся всякій: отъ коллежскаго регистратора до тайнаго совѣтника включительно. Вся табель о рангахъ была заподозрѣна. Сводились счеты; все прошлое ликвидировалось сразу... Дѣлалось яснымъ, что какъ бы ни тѣлся человѣкъ быть „благонамѣреннымъ“, не было убѣжища, въ которомъ бы не настигала его „благонамѣренность“ еще болѣе благонамѣренная.

Самые „благонамѣренные“, наконецъ, спутались и испугались—не за общество, а за самихъ себя и за дѣтей своихъ.

Человѣкъ старался угадать не то, въ чемъ онъ когда нибудь преступилъ противъ ходячей политической морали, а то, существовали-ли какіе-нибудь пункты этой морали, въ которыхъ нельзя было бы совершенно свободно обвинить кого угодно и какъ угодно, и на которомъ изъ этихъ пунктовъ обрушится обвиненіе именно на него? Тотъ, кого въ этомъ обвинительномъ омутѣ постигало забвеніе, могъ считать себя счастливымъ. Тотъ, кого не обвиняли прямо, а кому только издали грозили пальцемъ, долженъ былъ спѣшить исчезнуть, чтобы не раздражать своимъ видомъ торжествующей „благонамѣренности“. Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытымъ—вотъ лучшій удѣлъ, котораго могъ желать человѣкъ...

Читатель! ты, который, пробѣгая настоящее признаніе, быть можетъ, обвиняешь меня въ развратѣ, размысли надъ правдивой картиной, которую сейчасъ нарисовало перо мое; проверь ее съ твоими воспоминаніями, и скажи, по совѣсти: гдѣ находятся дѣйствительныя, крайнія границы нравственной распущенности—во мнѣ... или, можетъ быть, въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ?

На этотъ разъ было почти утро... Цѣлую ночь мы не смыкали глазъ, и уже начинали дѣйствовать нерѣшительно и вяло. Это былъ тотъ моментъ, когда на улицахъ начинается показываться какое-то колеблющееся, словно приготовительное движеніе: дворники метутъ мостовую, открываются двери булочныхъ, сѣзжаются возы съ овощами и зеленью; но настоящая толпа,



настоящее движеніе еще не показываются. Въ такіа минуты всего сильнѣе чувствуется цѣна теплой кровати. Самый безпріютный человѣкъ ищетъ себѣ уголка, къ которому можно прислонить уставшую голову. Бодрственное состояніе дѣлается почти непереносимымъ и можетъ быть поддержано лишь искусственнымъ образомъ...

Мы спѣшили.

„Онъ“ былъ уже, однако, одѣтъ. „Онъ“ отворилъ намъ дверь, держа въ рукахъ книгу, и, не отрывая отъ нея глазъ, пошелъ передъ нами, какъ будто наше появленіе не составляло для него ничего непредвидѣннаго, и, пожалуй, даже не относилось къ нему.

Равнодушіе уже перестало удивлять насъ. Однако, это было уже не равнодушіе, но что-то такое, чему нельзя подыскать имени. Мы всегда примѣчали, что, какъ бы ни старался человѣкъ взглянуть въ глаза бѣдѣ, какъ бы ни примирялся онъ съ неизбежностью и непоправимостью положенія, въ которое ставила его сила обстоятельствъ, но такое философское настроеніе никогда не оказывается вполнѣ цѣльнымъ. Всегда въ него примѣшивалась хоть тѣнь горечи, ироніи или, по крайней мѣрѣ, изумленія. Человѣкъ не протестуетъ, не жалуется, но восклицаніе: „Какіе жалкіе люди!“ такъ и свѣтится во всѣхъ движеніяхъ, такъ и бьетъ всюду: и въ интонаціи голоса, и въ выраженіи глазъ... всюду.

Читатель! какъ ни обидна подобная опѣнка, но даже и она можетъ примирить! Чувствуется, что эту фразу говорить человѣкъ не совсѣмъ еще закоснѣлый, что вы не ничто въ его глазахъ, что у него могутъ быть такіа же уязвимыя мѣста, какъ и у васъ, и у всякаго; однимъ словомъ, что это слабый смертный, которому можно сдѣлать больно, который имѣетъ хоть какія-нибудь точки соприкосновенія съ вами. Какъ хотите, а это сознаніе успокаиваетъ. Напротивъ того, тутъ, въ этомъ разсѣянномъ и сосредоточенномъ молодомъ человѣкѣ, не видѣлось ничего подобнаго. Какъ будто все давно имъ понято, рѣшено и забыто.

Мы вошли въ кабинетъ.

„Онъ“ молча сѣлъ около окна и углубился въ чтеніе. Натурально, это меня взорвало.

— Извольте стоять! крикнулъ я на него.

Онъ всталъ и продолжалъ читать.

— Извольте оставить книгу!

Онъ положилъ книгу на столъ.

— Мерззавецъ! произнесъ я сквозь зубы, но такъ, что онъ,

навѣрное, слышалъ мое восклицаніе; тѣмъ не менѣе ни малѣйшаго движенія не показалось на лицѣ его.

— Съ вами живетъ какая-нибудь женщина?

— Смотрите! сказалъ онъ, какъ будто отгоняя отъ себя что-то назойливое, прервавшее нить его мыслей.

Разсуждая хладнокровно, я долженъ сознаться, что при тогдашнемъ моемъ утомленіи, именно только такое адское равнодушіе и могло обновить мои заснувшія силы. Я съ яростію выбрасывалъ книги, швырялъ бумаги. Но онъ, по прежнему, продолжалъ стоять у окна и безъ малѣйшаго признака изумленія смотрѣлъ на картину разрушенія, которая быстро созидалась передъ его глазами.

— Кто вы такой? наконецъ бросился я къ нему.

Онъ назвалъ себя. Онъ даже не сказалъ, что я самъ долженъ знать, у кого я нахожусь. Повидимому, ему не приходило въ голову, что можно пронизировать, удивляться, негодовать.

Это было до такой степени ново, что въ головѣ у меня блеснула мысль: не подступиться-ли къ нему посредствомъ великодушія?

— Общественное мнѣніе указываетъ на васъ, какъ на причину зла, сказалъ я: — опровергните это! Постарайтесь снять съ себя столь ужасное обвиненіе! Я изъ участія къ вамъ говорю это: мнѣ жалъ васъ! Наконецъ, я прошу васъ: спасите себя и дайте мнѣ возможность участвовать въ этомъ спасеніи!

— Идемте! произнесъ онъ съ такимъ видомъ, какъ будто ему безконечно надобно мое кроткое изліяніе чувствъ...

Марршъ!

Дальше! дальше!

„Онъ“, очевидно, былъ философъ, и принялъ на себя трудъ убѣждать насъ.

— Мнѣ кажется, господа, говорилъ онъ: — что вы будете совсѣмъ не туда, куда слѣдуетъ, и что, видя въ занятіяхъ умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете послѣднему упрекъ, котораго оно даже не заслуживаетъ!.. Ужели оно и въ самомъ дѣлѣ такъ разслаблено, что не можетъ выдержать напора мысли, и первая вещь, отъ которой прежде всего необходимо остеречь его—это преданность интересамъ мысли? Почему. вы думаете, что для общества всего необходимо невѣжество? Почему, когда въ обществѣ возникаетъ какое-нибудь замѣшательство, первые люди, которые дѣлаются жертвами вашей подозрительности, суть именно люди мысли, люди изслѣдованія? Согласитесь, что такое странное явленіе

нельзя даже объяснить иначе, какъ глубокимъ презрѣніемъ, которое вы питаете не только къ обществу, но и къ самимъ себѣ?

Я слушалъ его съ удовольствіемъ, да и нельзя было иначе, потому что *au fond il y a du vrai dans tout ceci!*.. Иногда мы дѣйствительно пересаливаемъ и какъ будто черезчуръ охотно доказываетъ міру, что знаменитое хрестоматическое двустипіе: „Науки юношей питають“ и пр. улечивается изъ насъ немедленно, какъ только мы покидаемъ школьныя скамьи.

Я невольно вздохнулъ при этомъ соображеніи.

Онъ продолжалъ:

— Допустимъ, однакоже, что наука вредитъ; но вѣдь во всякомъ случаѣ это такой вредъ, который доступенъ только не многимъ, большинству же не можетъ при этомъ угрожать ни малѣйшей опасностью. Вы говорите: общество лишь тогда можетъ быть счастливо, когда оно невѣжественно — прекрасно! Но съ чего-же вы берете, что эта невѣжественность такъ легко доступна для посягательства науки? И ежели общество дѣйствительно такъ невѣжественно, что считаетъ состояніе невѣжества лучшимъ залогомъ своего спокойствія, то какъ же допустить въ немъ ту легкомысленную жажду къ знанію, которая будто-бы до того сильна, что требуетъ какихъ-то экстраординарныхъ мѣръ для предупрежденія увлеченія ею?

Удовольствіе мое возросло. Онъ продолжалъ:

— Одно что-нибудь: или общество желаетъ знанія, и слѣдовательно, можетъ безопасно выдержать его, или оно не терпитъ знанія — и въ такомъ случаѣ, конечно, само постоитъ за свою святиню, само отобьется отъ нападеній и защититъ свое право на свободу отъ наукъ. Бояться за общество, столь крѣпко убѣжденное, предпринимать искусственныя и не всегда ловкія мѣры для огражденія его, — не значить ли это безъ надобности волновать его, и даже указывать такіе просвѣты, которыхъ оно никогда не увидало-бы, не будь вашей безсознательной услуги?

Удовольствіе возросло съ каждой минутой. Я думалъ: ахъ, еслибы такъ всѣ разсуждали! еслибы всѣ понимали, что вмѣсто того, чтобы преслѣдовать науку, лучше всего поступать такъ, какъ бы ея совѣмъ не было... Наука! Что такое наука? *Parlez moi de ça! Qu'est ce que c'est que cette „наука“ et où avez vous été pêcher cet animal-là!*

Вотъ, по моему мнѣнію, единственный разговоръ, который можетъ допустить, по этому поводу, истинно прозорливая внутренняя политика!

Но „онъ“ продолжалъ:

— Но вѣдь придется же, наконецъ понять — хоть въ этомъ

и тяжело сознаться, — что со всѣмъ безъ наукъ тоже обойтись нельзя; что народы, которые питають къ наукамъ презрѣніе...

„Онѣ“ остановился, точно обрѣзалъ: очевидно „онѣ“ понялъ, что я слушалъ „его“ съ удовольствіемъ.

— Идемте! сказалъ онѣ, надѣвая на голову картузь.

Маррш!

Замѣчательно, что женщины никогда не бываютъ такъ тверды въ бѣдствіяхъ, какъ мужчины: онѣ непремѣнно или въ слезы ударятся, или легкомысленничаютъ. Обыкновенно, онѣ очень хвастливы и даже нагло отстаиваютъ убѣжденія, имъ искусственно привитыя; напротивъ того, становятся очень робки, когда дѣло коснется ихъ убѣжденій настоящихъ, жизненныхъ. Сейчасъ нарываютъ шмыгнуть въ сторону. Такъ, напримѣръ, онѣ выходятъ изъ себя, разговаривая о собственности, о семействѣ, какъ основѣ государственнаго и гражданскаго союза, однимъ словомъ, обо всемъ, что ни прямо, ни косвенно не касается ихъ, а заговорите-ка объ „амурахъ“...

— Вы, душенька, либералка? спрашивалъ я на-дняхъ одну „милушку“, зачитывавшуюся Боклемъ до чертиковъ.

— А вы, душенька, негодяй? отвѣчала она, вѣроятно думая очень улолотъ меня этимъ названіемъ.

Вотъ одинъ изъ 1000 примѣровъ женскаго легкомыслія! Я обращаюсь съ словомъ „либералка“, а она отвѣчаетъ мнѣ: негодяй! и не понимаетъ, что въ этомъ наивномъ сопоставленіи заключается все мое торжество; что она собственными своими милыми устами подтверждаетъ, что „либераль“ и „негодяй“ понятія однозначущія...

Я охотно указалъ ей на этотъ естественный выводъ, и хотя она пыталась объяснить свою фразу, но въ этихъ объясненіяхъ еще болѣе запутывалась...

— Нѣтъ, я этого не говорила! горячилась она: — „либерализмъ“ — это само по себѣ, а „негодяй“ — самъ по себѣ: негодяй — это вы!

И она такъ уморительно сердилась, что я готовъ былъ разцѣловать ее...

— Ну, а на счетъ браковъ какъ? спросилъ я.

Она вышла изъ себя... Вообще я замѣтилъ, что „онѣ“ не любятъ этого вопроса, и перестаютъ быть любезными, когда имъ предлагаютъ его.

— Ну-съ, хорошо-съ! Скажите, по крайней мѣрѣ, что называется коммунизмомъ?

— Коммунизмъ, заговорила она бойко: — Это такая форма общежитія, при которой ни одинъ изъ членовъ общества не имѣетъ отдѣльной собственности, въ которую всѣ члены приносятъ одинаковую долю труда, необходимаго для производства цѣнностей, и всѣ же получаютъ одинаковую долю въ пользованіи произведенными цѣнностями.

— Всѣ: и лѣнныя и прилежныя?

— Лѣнныя не должно быть. Лѣнныя — это изобрѣтеніе вашего историческаго общества.

— Прекрасно-съ! Ну, а на счетъ браковъ — такъ-таки ничего не скажите?

— Я сказала уже, что вы негодяй!

Ужели это не легкомысліе? Готовы всѣмъ рисковать, страдать, перенести всякую невзгуду изъ-за какихъ-то завѣтныхъ принциповъ, а какъ только начнешь сводить этотъ любезный принципъ съ маленькаго пьедестальчика, на который онъ взобрался, какъ только назовешь этотъ принципъ по имени—сейчасъ или сердятся, или плачутъ!

Марршъ!

Въ другой разъ, дѣло было еще горячѣе:

Я сидѣлъ съ одной „душкой“ (и какъ идутъ къ нимъ эти распушенные волосы, эти короткія платица, какой онѣ имѣютъ шикарный видъ!) и, побрякивая саблей, доказывалъ ей, что занятіе анатоміей отнюдь не должно входить въ кругъ воспитанія благородныхъ дѣвицъ.

— Почему такъ? спросила она меня довольно нахально.

— А потому, душенька, отвѣчалъ я:—что анатомія можетъ волновать нѣжныя, легко воспаляющія чувства...

— Лучше скажите, что она можетъ волновать чувства у тѣхъ, кто ни помышляетъ ни о чемъ, кромѣ гадостей...

— Ужъ будто и „гадостей“? А небось, какъ дойдетъ до „амуровъ“...

Я каюсь: я увлекся! Раздражаемый содержаніемъ разговора, милостивостью пациентки, коротенькой юбочкой, которая позволяла видѣть прекраснѣйшую въ мірѣ ножку, я, можетъ быть, ужъ слишкомъ близко подсѣлъ къ ней...

Я хотѣлъ уже взять ее за талію... Хлопъ!.. Ужели и это не легкомысліе? Проповѣдуютъ свободу любви, а какъ только предлагаютъ имъ запечатлѣть эту свободу... Хлопъ!

Марршъ!

— Ахъ, какъ я себя вель!

„Онѣ“ сидѣли и клеили картонки. Не знаю, почему мнѣ это показалось возмутительнымъ. Но этого мало! мнѣ показалось, что слѣдуетъ ихъ обыскать...

Ахъ, какъ я себя вель!

Читатель можетъ опросить меня: кто допустилъ насъ такимъ образомъ нахальничать? чего смотрѣло начальство?

На это я могу отвѣчать одно: медвѣдь проснулся... Покуда медвѣдь лежитъ въ берлогѣ и сосетъ лапу, начальству легко. Съ помощію куска мяса, его можно даже выманить изъ берлоги и заставить танцевать, но Боже упаси, если онъ начнетъ рычать! Нѣтъ той силы, которая могла бы усмирить его!

Слава о моихъ подвигахъ росла... Одинъ, безъ всякаго уполномочія, кромѣ частной инициативы... Это было изумительно! Это даже было не просто изумительно, но почти волшебно! Но таково могущество охранительной идеи! Она простого, слабого смертнаго, съ желѣзомъ въ сердцѣ, съ кремнемъ въ душѣ, вооружаетъ когтями льва! Невольнымъ образомъ голова моя закружилась. Я видѣлъ себя предметомъ восторженнѣйшихъ овацій. Въ похвалу мнѣ приносились спичи, во всѣхъ трактирахъ Имперіи лилось шампанское съ пожеланіемъ новыхъ и новыхъ подвиговъ, со всѣхъ концовъ сыпались поздравительныя телеграммы... Я пламенѣлъ, я жаждалъ, я устремлялся, я былъ готовъ! Я вѣсколько дней сряду кутилъ; ночи проводилъ безъ сна и почти не ѣлъ ничего. Глаза воспалились, ненависть разгоралась все больше и больше, такъ что можно почти сказать, что она одна поддерживала мои силы... Но цементъ былъ крѣпокъ! Я дошелъ почти до ясновидѣнія, и угадывалъ „негодяевъ“ тамъ, гдѣ другіе усматривали только дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ. Но, съ другой стороны, эта же возбужденность чувства мѣшала мнѣ ясно понимать, что въ числѣ множества прихотливыхъ формъ, которыми облекается либерализмъ, есть нѣкоторыя, прикасаться къ которымъ не всегда безопасно... Особенныя трудности въ этомъ смыслѣ представляютъ формы, называемыя дѣйствительными статскими совѣтниками.

Оваціи продолжались, шампанское лилось, шарманки въ трактирахъ играли. Но были уже сферы, въ которыя проникла измѣна. Поговаривали кой-гдѣ que je suis trop entier, что у меня начинаютъ обрисовываться слишкомъ яркія убѣжденія, что это тоже не хорошо, потому что, становясь на почву убѣж-

господа ташкентцы.

дений (даже самых, что называется, пасквильных), человек, самый враждебный либерализму, постепенно совращается, совращается и, наконец, ничего не подозревая, оказывается на самомъ днѣ онаго...

Какія-то странныя предчувствія тяготили меня. Я смутно подозревалъ, что эти слухи не даромъ, что откуда-то грозитъ опасность, долженствующая положить конецъ моей дѣятельности. Я старался исправиться, старался стать выше убѣждений; но бессонница и искусственныя средства для поддержанія слабѣющаго организма разрушали всѣ усилія, дѣлаемыя въ этомъ смыслѣ. Едва я приступалъ къ „работѣ“, какъ мною овладѣвалъ всецѣло демонъ ненависти. Глаза наливаются кровью, въ ушахъ шумить, руки безпокойно подергиваются, лицо искажается судорогою.

Вотъ инородецъ, такъ тѣмъ нахвалиться не могутъ. Ему что?—онъ пришелъ, ни слова не сказалъ, пошевелилъ глазами, забралъ въ охапку и ушелъ... Днемъ спитъ, ночью работаетъ, и никогда ни капли! А я?!

Сегодня призывали меня къ генералу, не къ тому отставному, который вручилъ мнѣ жезлъ просвѣщенія, а къ другому, настоящему, котораго я, по несчастію, совсѣмъ упустилъ изъ вида. Генералъ былъ сердитъ.

— Правда-ли, сказалъ онъ мнѣ: — что вы дошли до такой степени гнусности, что позволили себѣ потерять всякое уваженіе даже къ женской стыдливости?

Очевидно, что клевета начинала уже поднимать голову.

Я хотѣлъ оправдываться; говорилъ, что это только такъ... немного... Я заикался, переминался съ одной ноги на другую и былъ дѣйствительно жлокъ.

— Прошу отвѣчать на вопросъ! прервалъ генералъ.

— Точно такъ, ваше пр-ство! выпалилъ я словно изъ пушки.

— Мерзавецъ!

Странное дѣло! Сколько разъ имѣлъ я случай испытывать на себѣ дѣйствіе этого слова, сколько разъ самъ примѣнялъ его къ другимъ, — и все не могу привыкнуть къ нему! Всегда оно кажется мнѣ чѣмъ-то неожиданнымъ, совсѣмъ новымъ.

Однако, растолковать это все-таки довольно трудно. „Мер-

рзавецъ!“ — ну, прекрасно! Но отчего-же одинъ генераль говорить: „молодецъ“, а другой, при тѣхъ же точно обстоятельствахъ, кричить: „мерзавецъ“?

Но какимъ образомъ я „его“ высѣлъ?!

Дѣло было такъ.

Мы закусывали въ „Старомъ Пекинѣ“. Выпито было изрядно, потому что стеченіе патріотовъ было неслыханное. Я рассказывалъ о подвигахъ послѣдней ночи; другіе — также. Соревнованіе было общее. Не знаю, какимъ образомъ разговоръ принялъ такой странный оборотъ, но помню, что я сталъ хвастаться. Я говорилъ, что и не такъ еще поступаю, и что въ будущую же ночь непременно „его“ высѣку.

Каналья-нѣмецъ (тотъ самый, который не могъ сразу опредѣлить, какая у него душа), еще больше раззудилъ меня, выразивши сомнѣніе на счетъ исполнимости моего намѣренія. Слово за слово, состоялось пари...

— Сто противъ одного! бѣсновался я: — я ставлю сто рюмокъ, ты — одну! Принимаешь, скорлупная голова? (У нѣмцевъ, — а это замѣтилъ, — головы всегда нѣсколько прозрачны на свѣтъ)!

— О, я съ удовольствіемъ! зудилъ проклятый нѣмецъ: — но вы можете сейчасъ же начать платить, потому что это никакъ невозможно... вы должны „его“ взять... вести... смотрѣть... но виеѣчь! — это невозможно! О, нѣтъ... это другой, а не вы!

И словно бѣсъ-соблазнитель, онъ ежеминутно сновалъ мимо меня, моталъ своей бараньей головой и повторялъ:

— Висѣчь — нѣтъ! не вы!

Наступила ночь. По обыкновенію, я отправился въ походъ. Для крѣпости выпилъ. Какъ теперь помню, мы подошли къ громадному дому, вызвали дворника и назвали фамилію. Онъ со двора указалъ намъ квартиру въ самомъ верху...

Сначала, когда мы были еще неопытны, мы всегда брали съ собой дворника до самой двери квартиры. Но впоследствии стали negliжировать этой предосторожностью.

Мы что-то долго поднимались по лѣстницѣ, которая въ добавокъ была темна, черна и скользка. Наконецъ, порядочно утомившись, пришли къ цѣли.

Едва успѣли мы одинъ разъ дернуть за ручку звонка, какъ „онъ“ уже прибѣжалъ къ двери и поспѣшно отворилъ ее...

Повидимому, это былъ человѣкъ не первой молодости. Лицо его было блѣдно и разстроено. Свѣча дрожала въ рукѣ. Распахнувшіяся полы стараго, истрепаннаго халата обнаруживали



нару трясущихся ногъ. Никогда я не видалъ человѣка въ такой степени виноватаго...

— Всыпьте-ка ему десятка два дѣтскихъ! сказалъ я съ перваго абцуга, обращаясь къ своимъ товарищамъ.

Нѣмецъ былъ тутъ же и только взмахнулъ на меня глазами.

„Онъ“ былъ до того виноватъ, что даже не возражалъ. „Онъ“ кротко легъ и кротко же всталъ, не испустивши ни стопа, ни жалобы.

— Ваша фамилія, ваши занятія? сурово спросилъ я.

— Начальникъ отдѣленія NN. департамента, статскій совѣтникъ Перемоловъ! отвѣчалъ онъ, упираясь глазами внизъ. (Очевидно, ему было стыдно).

Представьте мое изумленіе! это былъ... не „онъ“!!

Я пытался какъ-нибудь выпутаться, и запутался еще больше. Мнѣ слѣдовало просто-на-просто уйти, показавъ видъ, что общественная немезида удовлетворена. Вмѣсто того, я уперся, перерылъ всю его скаредную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какую-нибудь, которая могла бы мнѣ послужить оправданіемъ. Разумѣется, я ничего не нашелъ, кромѣ доказательствъ его душевной невинности... Тогда я сталъ придирается:

— Но какъ-же осмѣлились вы, милостивый государь, вводить меня въ заблужденіе? накинулся я на него.

Но онъ уже понималъ и, убѣдившись въ своей невинности, началъ обнаруживать твердость души.

— Нѣтъ, это вамъ такъ не пройдетъ! говорилъ онъ, постепенно приходя въ раздраженіе, и какъ-бы ободряя себя своимъ собственнымъ крикомъ. Нѣтъ! это что же? Этакъ всякій съ улицы пришелъ, распорядился и ушелъ!.. Нѣтъ! это не такъ!.. Въ этихъ дѣлахъ надо глядѣть, да и глядѣть...

— Но поймите, что тутъ вашей вины гораздо больше нежели моей...

— Ничего я не хочу понимать! Я слишкомъ хорошо понимаю! Это чортъ знаетъ что! Пришелъ, распорядился и ушелъ! Н-н-н-ѣ-тъ!

Онъ вдругъ остервенился, началъ скакать на меня, подставляя къ моему лицу кулаки... Такъ, что даже, наконецъ, я оскорбился.

— Понимаете-ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорбляете? сказалъ я съ достоинствомъ.

— Я его оскорбляю! Милости просимъ! я! Онъ со мной, какъ съ младенцемъ... и я его оскорбляю! Я... его!.. Ахъ!

Словомъ сказать, загородилъ такую чепуху, что хоть свя-

тыхъ вонъ выноси! Одно мгновеніе въ моей головѣ мелькнуло: не попросить ли прощенія? Но странное дѣло! я вдругъ какъ то понялъ, что это послѣдній мой подвигъ, и покорился...

---

Онъ не простилъ.

На другой день меня опять призвали къ настоящему генералу.

— Правда-ли, что вы статскаго совѣтника Перемолова подвергли наказанію на тѣлѣ? спросилъ онъ меня.

— Точно такъ, ваше пр-ство!

Онъ взглянулъ на меня съ любопытствомъ.

— Мерзавецъ! произнесъ онъ тихо...

Опять это слово!!!



**ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА.**



ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА.

быть дипломатъ, а можетъ быть... и самъ Александръ Дюма-фисъ. Напротивъ того, некрасивая молодка такъ и останется съ своими *jolies manières*, и съ желаніемъ ни въ чемъ себѣ не отказывать. Она будетъ *bien mise* исключительно для самой себя, и ни одинъ кавалеристъ не поведетъ ее ни въ храмъ славы, ни въ храмъ утѣхъ. А если и поведетъ, обольщенный блестящимъ приданымъ, или связями, то такъ тамъ и оставитъ въ храмѣ одну. Безъ занятій, безъ цѣли къ жизни, безъ возможности *saucer*, она постепенно накопитъ въ себѣ такой запасъ желчи, что жизнь сдѣлается для нея пыткой. Изъ дѣйствующаго лица въ повѣсти утѣхъ, какимъ она воображала себя во времена счастливой выкормки въ патентованномъ садѣ, она сдѣлается простою, жалкою конфиденткою, будетъ выслушивать исповѣдь тайныхъ амурныхъ словъ и трепетныхъ рукопожатій, расточаемыхъ кавалеристами и дипломатами счастливымъ молодкамъ-красоткамъ, и неизмѣнно при этомъ думать все одинъ и тотъ же припѣвъ: ахъ, кабы все это мнѣ! И такъ какъ ни одной капли изъ всего этого ей не перепадетъ, то она станетъ сочинять цѣлые фантастическіе романы, будетъ видѣть волшебные сны и пробуждаться тѣмъ больше несчастною, оставленною, одинокою, чѣмъ больше преисполненъ былъ свѣта, суеты и лихорадочнаго оживленія только-что пережитый сонъ.

Ольга Сергеевна принадлежала къ числу молодыхъ красавицъ, а потому счастье преслѣдовало ее съ первыхъ шаговъ ея вступленія въ свѣтъ. Вышедши изъ патентованнаго сада шестнадцати лѣтъ, въ семнадцать она уже зацѣпилась за шпору краснощогого ротмистра Петра Николаича Персикова, и затѣмъ навсегда поселилась въ храмъ утѣхъ полновластной хозяйкою. Цѣлый годъ безпримѣрнаго блаженства встрѣтилъ молодую женщину на самомъ порогѣ семейной жизни. Это былъ непрерывный рядъ баловъ, *parties de plaisirs*, выѣздовъ, приѣмовъ, въ которыхъ принимали участіе представители всѣхъ возможныхъ родовъ оружія и дипломаты всѣхъ вѣдомствъ. „C'était un rêve“, какъ она сама выражалась объ этомъ времени. По возвращеніи съ бала, начиналось собственно такъ называемое семейное счастье и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались за туалетъ, предшествующій визитамъ или приѣму. Отъ Ольги Сергеевны всѣ были въ восхищеніи: старики называли ее куколкой; молодые кавалеристы, говоря объ ней, вращали зрачками. Она кружилась, танцевала, кокетничала, но ни разу не оступилась, а осталась вѣрною своему Петькѣ до конца (*voilà ce que c'est que d'avoir reçu une éducation morale et religieuse!* говорили объ ней старушки). Наконецъ, осьмнадцати лѣтъ, она

сдѣлалась матерью, одною изъ тѣхъ матерей, о которыхъ благословитанные сынки говорятъ: у меня татапа такая миленькая, точно куколка! Это происшествіе, въ свою очередь, положило начало цѣлому ряду новыхъ подвиговъ, которые опять-таки дали Ольгѣ Сергеевнѣ возможность être bien mise, sauter, plaier и ни въ чемъ себѣ не отказывать. Въ теченіе шести недѣль послѣ родовъ, она неутомимо снаряжала своего маленькаго Nicolas, и, наконецъ, достигла таки того, что онъ въ свою очередь сдѣлался точно куколка.

— Онъ у меня совсѣмъ, совсѣмъ куколка! говорила она, показывая Nicolas кавалеристамъ, товарищамъ ея мужа:—куколка! засмѣйся!

Кавалеристы хвалили „куколку“, и въ то же время искося поглядывали на другую куколку, на молодую мать.

По прошествіи шести недѣль, начались визиты. Ma tante, mon oncle, mon cousin, la princesse Simborska, la comtesse Romanzoff, la baronne de Fok, всѣхъ надо было обрадовать, всѣмъ сообщить, какой у насъ родился „куколка“.

— Ma tante, еслибъ вы знали, какой онъ у меня куколка! C'est un petit charme! И какъ все понимаетъ! Представьте себѣ на дняхъ я одѣваюсь, а онъ лежитъ у меня на колѣннхъ, и, вдругъ (слѣдуетъ нѣсколько словъ на ухо...) mais imaginez-vous cela!

— Ты сама еще куколка! улыбаясь отвѣчаетъ ma tante:—но чувство матери, мой другъ—священное чувство! Ты—никогда не должна забывать этого!

— Ахъ, какъ я это понимаю, ma tante! Съ той минуты, какъ у меня родился мой куколка, я точно преобразилась вся! C'est toute une révélation. Этого противнаго Петьку я даже не пускаю къ себѣ... et vous savez si je l'aime! Все думаю о томъ, какъ бы мнѣ нарядить моего милаго куколку! И еслибъ вы знали, сколько платьицъ ему сшила... tout un trousseau!

— Все это очень хорошо, мой другъ, но не забудь, что для мальчика главное не въ платьицахъ, а въ религіозномъ чувствѣ и въ твердыхъ нравственныхъ правилахъ.

— О! я не забуду! я никогда этого не забуду, ma tante! И даже вотъ теперь, когда Петька вздумалъ въ прошлый постъ ѣсть скоромное, я ему очень твердо объявила: mon cher! теперь не прежнее время! теперь у насъ есть сынъ, которому мы должны подавать примѣръ! si vous faites gras à table, vous ferez maigre ailleurs... И при этомъ такъ ему погрозила, что онъ со страху (vous savez, ma tante, comme c'est une grande privation pour lui!) съѣлъ цѣлую тарелку супу безо всего!!



— Ну, Христось съ тобой, куколка! Поѣзжай, подѣлись своей радостью съ дядей Павломъ Борисычемъ!

У дяди Павла Борисыча повторилась та же сцена, что у *ma tante*, съ тою разницею, что, вмѣсто правоученій о религиозномъ чувствѣ и твердыхъ правилахъ нравственности, дядя сказалъ слѣдующее наставленіе:

— Ты дѣлаешь очень мило, мой другъ, что заботишься о своемъ куколѣ. *Que ton marmot soit bien lavé, bien vêtu, qu'il soit présentable, enfin*—все это прекрасно, похвально и необходимо. Но помни, душа моя, что и для него настанетъ время, когда онъ будетъ думать не объ атласныхъ одѣяльцахъ и кружевныхъ чепчикахъ, а о другомъ атласѣ, о другихъ кружевахъ. *Vous savez, ma chère, de quoi il s'agit.* Надебно, чтобъ онъ встрѣтилъ эту минуту съ честью. *Il faut que ce soit un galant homme.* Чтобъ онъ не обращался съ женщиной, какъ извозчикъ, или какъ нынѣшніе національгарды, которые, отправляясь въ общество порядочныхъ женщинъ, предварительно ищутъ себѣ вдохновенья въ манежахъ, кафе-шантанахъ и циркахъ! Чтобъ женщина была для него святыня! Чтобъ онъ любилъ покорять, но при этомъ умѣлъ всегда сохранять видъ побѣжденнаго!

На что Ольга Сергеевна отвѣчала:

— *Mon oncle!* ужели вы во мнѣ сомнѣваетесь! *Mais le culte de la beauté... c'est tout ce qu'il y a de plus sacré!* Я теперь совершенно переродилась! Я даже Петьку къ себѣ не пускаю — *et vous savez, comme c'est une grande privation pour lui*—только потому, что онъ рѣзокъ немного!

— Ну, Христось съ тобой, куколка! Я съ своей стороны высказался, а теперь ужъ отъ тебя будетъ зависѣть сдѣлать изъ твоего „куколки“ *un homme bien élevé.* Поѣзжай и подѣлись твоею радостью съ братомъ Никитой Кирилычемъ.

И такъ далѣе, то есть того же содержанія и съ тѣми же отгѣнками сцены у брата Никиты Кирилыча, у *comtesse Romanoff* и проч., и проч.

Такимъ образомъ прошли два года, въ продолженіи которыхъ судьба то покровительствовала „куколѣ“, то измѣняла ему. Маман относилась къ нему какъ-то капризно: то запоемъ показывала его всякому пріѣзжающему гостю, то запоемъ оставляла въ дѣтской на рукахъ нянекъ и бонни. Мало-по-малу, послѣдняя система превозмогла, такъ что только въ званые обѣды и вечера куколку на минуту вызывали въ гостиную вмѣстѣ съ хорошенькой швейцаркой-бонной, и раскладывали передъ гостями. всего въ батистѣ и кружевахъ, на атласной подушкѣ. Гости подходили, щекотали у „куколки“ подѣ брюш-

комъ, произносили: „брякишь“ или „диковинное произведеніе природы!“ и при этомъ такъ жадно поглядывали на шапан, что ей становилось жутко.

На двадцать первомъ году („куколѣ“ тогда не было еще трехъ лѣтъ), Ольгу Сергеевну постигло горе: у ней скончался мужъ. Въ первыя минуты, она была какъ безумная. Просиживала по нѣскольку минутъ лицомъ къ стѣнѣ, потомъ подходила къ рояли и разсѣяннo брала нѣсколько аккордовъ, потомъ подбѣгала къ гробу и утомленно-капризнымъ голосомъ вскрикивала:

— Петька! глупый! ты какъ смѣешь умирать! Ты лжешь! ты притворяешься! Дурной! противный! Ты никогда... слышишь, никогда!—не смѣешь бросить твою Ольку!

И слезы, какъ перлы, сыпались (именно сыпались, а не лились) изъ ея темно-синихъ глазъ, и, о диво! — не производили въ нихъ ни красноты, ни опухлости.

Но черезъ шесть недѣль, опять наступила пора визитовъ, и плакать стало некогда. Надо было ѣхать къ *ma tante*, къ *mon oncle*, къ *comtesse Romanzff* и со всѣми подѣлиться своимъ горемъ. Вся въ черномъ, немного блѣдная, съ опущенными глазами, Ольга Сергеевна была такъ интересна, такъ скромно и плавно скользила по паркету гостиныхъ, что всѣ въ почтительномъ безмолвіи разступались передъ нею, и въ одинъ голосъ рѣшили: *c'est une sainte!*

— *Ma tante!* говорила между тѣмъ Ольга Сергеевна:—я потеряла свое сокровище! Но я счастлива тѣмъ, что у меня осталось другое сокровище—мой „куколка!“

— Другъ мой, отвѣчала *ma tante*:—я знаю, потеря твоя велика. Но даже и въ самомъ страшномъ горѣ, у насъ есть всегда вѣрное пристанище—это религія!

— Ахъ, какъ я это понимаю, *ma tante!* какъ я это понимаю! Съ тѣхъ поръ, какъ я лишилась моего сокровища, я вся преобразилась! *La religion! mais savez vous, ma tante, qu'il y a des moments, où j'ai envie d'avoir des ailes!* И еслибъ у меня не было моего другого сокровища, моего „куколки“...

— Ну, Христосъ съ тобой, сама ты куколка!.. Поѣзжай, и подѣлись твоимъ горемъ съ дядей Павломъ Борисычемъ. Ты знаешь, какъ старикъ тебя жалуетъ.

У дяди Павла Борисыча тѣ же жалобы и тоже сочувствіе.

— Я потеряла моего благодѣтеля, мое сокровище, *mon oncle*, говорила Ольга Сергеевна:—вы знали, какъ онъ былъ добръ ко мнѣ! какъ онъ любилъ меня! какъ исполнялъ всѣ мои прихоти! А я... я была глупенькая тогда! Я была недостойна его благодѣній! Я... я не понимала тогда, какъ дорого ему все это стоило!

— Мой другъ, я очень понимаю всю важность твоей потери, отвѣчалъ mon oncle:—mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant. Вспомни, что ты женщина, и что у тебя есть обязанности передъ свѣтомъ. Смотри же у меня, не худѣй, а не то я разсержусь и не буду любить мою куколку!

— Ахъ, mon oncle! вы одинъ добрый, одинъ великодушный. Vous pénétrez si bien dans le cœur d'une femme! Нѣтъ, я не буду худѣть, я буду много-много кушать, чтобы вы, всегда-всегда могли любить вашу маленькую, несчастную куколку!

— То-то! ты не очень слушайся тетку Надежду Борисовну! Она тамъ постнымъ масломъ да изрѣченіями аббата Гетэ кормить, а я этого не люблю! Ну, теперь, Христосъ съ тобой! Побѣждай и подѣлись твоимъ горемъ съ братомъ Никитой Кириллчемъ!

И т. д. и т. д.

Затѣмъ, все впало въ обычную колею. Въ теченіе цѣлыхъ четырехъ лѣтъ Ольга Сергеевна являла собой примѣръ скромности и материнской нѣжности. „Куколка“, временно пренебреженный, вновь выступилъ на первый планъ и сдѣлался предметомъ всевозможныхъ восхищеній. Его одѣвали утромъ, одѣвали въ полдень, одѣвали къ обѣду, одѣвали къ вечеру. Утромъ къ нему пріѣзжалъ специальный дѣтскій докторъ, осматривалъ, ощупывалъ, присутствовалъ при его купаньи, и всякій разъ неизмѣнно повторялъ одну и ту же фразу.

— О! этотъ молодой человѣкъ будетъ имѣть успѣхъ!

На что Ольга Сергеевна столь же неизмѣнно отвѣчала:

— Ah! mais savez-vous, docteur, qu'il devient déjà polisson!

Передъ обѣдомъ, „куколку“ прогуливали на рысакахъ по Невскому и по набережной; вечеромъ его приводили въ гостиную, всегда полную гостей, и заставляли распаркиваться и говорить des aimabilités. У „куколки“ были двѣ бонны: англичанка и нѣмка и одна—institutrice—француженка. Сверхъ того, по распоряженію ma tante, его посѣщалъ отецъ Антоній, le père Antoine, молодой и благообразный священникъ, который отличался отъ своихъ собратьевъ тѣмъ, что говорилъ по французски безъ латинскаго акцента, ходилъ въ муаръ-антиковой расѣ и съ такою непринужденностью сѣялъ сѣмена религіи и нравственности, какъ будто ему это ровно ничего не стоило... Идетъ и сѣетъ и, повидимому, даже не замѣчаетъ, что сѣмена такъ и сыплются изъ всѣхъ поръ его существа. При такой обстановкѣ, относительно „куколки“ разомъ достигались всѣ цѣли хорошаго воспитанія: и тѣлесная крѣпость, и привычка къ обществу, и прекрасныя манеры, и такъ-называемые краткіе начатки вѣры и нравственности.

Не одинъ изъ лихихъ кавалеристовъ, посѣщавшихъ по вечерамъ салонъ Ольги Сергеевны, заглядывался на нее и покушался нарушить миръ ея души. Это казалось тѣмъ менѣе труднымъ, что два года счастливаго супружества должны были порядкомъ-таки избаловать хорошенъкую молодку, и слѣдовательно, при такой набалованности, ей не легко было разомъ покончить съ утѣхами прошлаго. Сама *ma tante* выражала по секрету свои опасенія на этотъ счетъ, а *mon oncle* даже прямо выражался: *pourvu que ça soit une bonne petite intrigue bien comme il faut — le reste ne me regarde pas!* Но, къ общему удивленію, Ольга Сергеевна закалилась, какъ адамантъ. По временамъ она, конечно, вспыхивала, щеки ея слегка алѣли, глаза туманились, грудь поднималась и не умѣла сдержатъ затаеннаго вздоха; но какъ-то всегда, въ эти тяжкія минуты, подоспѣвалъ къ ней на выручку „куколка“. Онъ бурей влеталъ въ гостиную, и такъ уморительно расшаркивался, что Ольга Сергеевна мгновенно отрезвлялась. Отецъ Антоній, которому были извѣстны всѣ перипетіи этой борьбы слабой женщины съ цѣлымъ корпусомъ кавалерійскихъ офицеровъ, сравнивалъ ее съ египетскими пустынножителями, и для приобритенія большой крѣпости въ брани совѣтовалъ соблюдать посты. Но даже и съ этой стороны интересная вдова не могла считать себя совсѣмъ безопасною, потому что самъ отецъ Антоній выслушивалъ ее „смущенный и очи опустья, какъ передъ матерью виновное дитя“, и Ольга Сергеевна такъ и ожидала, что онъ нѣтъ-нѣтъ да и начнетъ вращать зрачками, какъ любой кавалерійскій корнетъ. *Ma tante* была такъ поражена этой неслыханной твердостью, что называла свою племянницу не иначе, какъ *ma sainte*. Одинъ *mon oncle* все еще надѣялся, что когда-нибудь *cela viendra*, и продолжалъ предостерегать Ольгу Сергеевну на счетъ національгардовъ.

И вдругъ, черезъ четыре года, Ольга Сергеевна является къ *ma tante* и объявляетъ, что ей скучно.

— Но что же съ тобой, мой другъ? спросила *ma tante*, пораженная этой неожиданностью.

— *Je ne sais, je sens quelque chose là*, отвѣчала Ольга Сергеевна, указывая на грудь: — однимъ словомъ, доктора въ одинъ голосъ приказываютъ мнѣ ѣхать за границу!

— Но какъ же быть съ „куколкой“?

— Я все обдумала, *ma tante*; я знаю, что я дурная... что, можетъ быть, я даже преступная мать! воскликнула Ольга Сергеевна, и вдругъ встала передъ *ma tante* на колѣни: — *ma tante!* вы не оставите его! вы замѣните ему мать!

Жребій „куколки“ былъ брошенъ. *Ma tante* согласилась за-

мѣнить ему мать и взяла на себя насажденіе въ его сердцѣ правилъ нравственности и религіи. Mon oncle поручился за другую сторону воспитанія, то-есть за хорошія манеры и искусство побѣждать, сохраняя видъ побѣжденнаго. Въ результатѣ этихъ соединенныхъ усилій, долженъ былъ выйти un jeune homme accompli, рыцарь вѣжливости и преданности, молодой человѣкъ, преисполненный всевозможныхъ bons principes, preux chevalier, готовый во всякое время объявить крестовый походъ противъ maîtres et mécréans. Ольга Сергеевна уѣхала вполнѣ успокоенная.

Годы шли, а интересная вдова, какъ канула за границу, такъ и исчезла тамъ. Слухъ былъ, что она на короткое время блеснула на водахъ, въ сопровожденіи какого-то національгарда (отъ судьбы, видно, не убѣжишь!), но потомъ скоро уѣхала въ Парижъ и тамъ поселилась на житье. Потомъ прошелъ и еще слухъ: въ Парижѣ Ольга Сергеевна произвела фуроръ и имѣла нѣсколько шикарныхъ приключеній, которыя сдѣлали имя ея очень громкимъ. La belle princesse Persianoff сдѣлалась предметомъ газетныхъ фельетоновъ и устныхъ скандальныхъ хроникъ. Называли двухъ-трехъ литераторовъ, одного министра (de l'Empire), одного сенатора и даже одного акробата (неизбѣжное слѣдствіе чтенія романа „L'homme qui rit“). Доходы съ пензенскихъ, тамбовскихъ и воронежскихъ имѣній проматывались съ быстротою неимоверною. Система залоговъ и перезалоговъ, продажа лѣсныхъ и другихъ угодій, находившаяся при покойномъ Петькѣ лишь робкое себѣ примѣненіе, сдѣлалась основаніемъ всѣхъ финансовыхъ операций Ольги Сергеевны. „Mais vendez donc cette maudite Tarakanikha qui ne vaut rien et qui ne nous est qu'à charge!“ безпрерывно писала она къ одному изъ своихъ cousins, наблюдавшему „изъ прекраснаго далека“ за имѣніемъ ея и ея покойнаго мужа. И одна за другой полетѣли Тараканихи, Опалихи, Бычихи, Конячихи, все, что служило обремененіемъ, что вдругъ оказалось лишнимъ. Наконецъ, репутація Ольги Сергеевны достигла тѣхъ предѣловъ, далѣе которыхъ идти было ужъ некуда. Въ газетахъ рассказывали подробности одной дуэли, въ которой интересная вдова играла очень видную, хотя и не совсѣмъ лестную для нея роль. Повѣствовалося о какомъ-то butor изъ молдаванъ, о какихъ-то mauvais traitemens, жертвою которыхъ была la belle princesse russe de P\*\*\*, и наконецъ о какомъ-то preux chevalier, который явился защитникомъ малтретированной красавицы. Тогда петербургскіе родные встревожились.

— Et dire que c'était une sainte! восклицала ma tante.

— Я предсказывалъ, что знакомство съ національгардами не доведетъ до добра! зловѣще каркалъ mon oncle.

На семейномъ совѣтѣ рѣшено было просить... Разрѣшеніе не замедлило, и въ силу его Ольга Сергеевна вынуждена была оставить очаровательный Парижъ и поселиться въ деревнѣ, для поправленія разстроенныхъ семейныхъ дѣлъ. Въ это время ей минуло тридцать четыре года.

А „куколка“ тѣмъ временемъ процвѣтала въ одномъ „высшемъ учебномъ заведеніи“, куда былъ помѣщенъ стараніями ma tante. Это былъ юноша, въ полномъ смыслѣ слова, многообщающій: красивый, свѣжій, краснощекій, вполне увѣренный въ своей дипломатической будущности и въ то же время съ завистью поглядывающій на бряцающихъ палашами юнкеровъ. По части священной исторіи, онъ зналъ, что „царь Давидъ на лирѣ, играетъ во псалтырѣ“, и что у законоучителя ихъ „лимонная борода“. По части всеобщей исторіи, онъ былъ твердо убѣжденъ, что Римъ палъ жертвою своевольной черни. По части этнографіи и статистики, ему небезъизвѣстно было, что человечество раздѣляется на двѣ отдѣльных породы: *chevaliers* и *manans*, изъ коихъ первые храбры, великодушны, преданны и вѣрны данному слову, вторые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда даннаго слова не выполняютъ. Онъ зналъ также, что народы, которые не роптали, были счастливы, а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмирению посредствомъ эзекуцій. Сверхъ того, онъ курилъ табакъ, охотно пилъ шампанское и еще охотнѣе посѣщалъ театръ Берга по воскреснымъ и табельнымъ днямъ. О *manan* своей онъ имѣлъ самое смутное понятіе, то-есть зналъ, que c'est une sainte, и что она живетъ за границей для поправленія разстроеннаго здоровья. Ольга Сергеевна раза два въ годъ писала къ нему коротенькія, но чрезвычайно милыя письма, въ которыхъ умоляла его воспитывать въ себѣ сѣмена религіи и нравственности, запасъ которыхъ всегда хранился въ готовности у ma tante. Онъ съ своей стороны писалъ къ *manan* чаще, и довольно пространно описывалъ свои занятія у профессоровъ, такъ что въ одномъ письмѣ даже подробно изобразилъ первый крестовый походъ. „Представьте себѣ, милая *manan*, ихъ гнали отовсюду, на нихъ плевали, ихъ травили собаками, однакожь, они, предводимые пламеннымъ Петромъ Пикарскимъ, все шли, все шли“. Но такъ-какъ во время этого описанія (онъ самъ впоследствии признавался въ этомъ *manan*) его тайно преслѣдовалъ образъ нѣкоторой Альфонсинки и ея куплетъ:

A Provins  
 On recolte des roses  
 Et du jasmin,  
 Et beaucoup d'autres choses...

то весьма естественно, что реляція о крестовомъ походѣ заканчивалась слѣдующими словами: „въ особенности же съ героической стороны выказалъ себя при этомъ небольшой французскій городокъ Provins (allez-y, bonne maman! c'est si près de Paris), который въ настоящее время, какъ видно изъ географіи, отличается изобиліемъ жасминовъ и розъ самыхъ лучшихъ сортовъ“.

Таковъ былъ этотъ юноша, когда ему минуло шестнадцать лѣтъ, и когда съ Ольгой Сергеевной случилась катастрофа. Приѣхавши въ Петербургъ, интересная вдова, разумѣется, расплакалась, и прикинулась до того наивною, что когда „куколка“ въ первое воскресенье явился въ отпускъ, то она, увидѣвъ его, притворилась испуганною и съ крикомъ: „ахъ! это не „куколка!“ это какой-то большой!“—выбѣжала изъ комнаты. „Куколка“, съ своей стороны, услышавъ такое привѣтствіе, приосанился и покрутилъ зачатокъ уса.

Тѣмъ не менѣе, болѣе близкое знакомство между матерью и сыномъ все-таки было неизбѣжно. Какъ ни дичилась на первыхъ порахъ Ольга Сергеевна своего бывшаго „куколки“, но мало-по-малу робость прошла и началось сближеніе. Оказалось что Nicolas прелестный малый, почти мужчина, qu'il est au courant de bien des choses, и даже совсѣмъ, совсѣмъ не сынъ, а просто братъ. Онъ такъ мило бралъ свою конфетку-маман за талію, такъ нѣжно цѣловалъ ее въ щеку, рукулировалъ ей на ухо de si jolies choses, что не было даже резона дичиться его. Поэтому, минута обязательнаго отъѣзда въ деревню показалась для Ольги Сергеевны особенно тяжкою, и только надежда на предстоящіе каникулы нѣсколько смягчала ея горе.

— Надѣюсь, что ты будешь откровененъ со мною? говорила она, трепля „куколку“ по щекѣ.

— Маман!

— Нѣтъ, ты совсѣмъ, совсѣмъ будешь откровененъ со мной! ты расскажешь мнѣ всѣ твои prouesses; tu me feras un récit détaillé sur ces dames, qui ont fait battre ton jeune cœur... Ну, однимъ словомъ, ты забудешь, что я твоя маман, и будешь думать... ну, что бы такое ты могъ думать?.. ну, положимъ, что я твоя сестра!..

— И, чортъ возьми, прехорошенькая! прокартавилъ Nicolas

(въ экстренныхъ случаяхъ, онъ всегда для шика картавиль), обнимая и цѣлуя свою маман.

И маман уѣхала, и стала считать дни, часы и минуты.

Село Перкали, съ каменнымъ господскимъ домомъ, съ огромнымъ, прекрасно содержимымъ господскимъ садомъ, съ многоводною рѣкою, прудами, тѣнистыми аллеями—вотъ мѣсто упокоенія Ольги Сергеевны отъ парижскихъ тревоженій. Комната Nicolas убрана съ тою разсчитанною простотою, которая на первомъ планѣ ставитъ комфортъ, и допускаетъ изящество лишь какъ необходимое подспорье къ нему. Ковры на полу и на стѣнахъ, простая, но чрезвычайно покойная постель, мебель, обитая сафьяномъ, массивный письменный столъ, уставленный столь же массивными принадлежностями письма и куренья, небольшая библиотека, составленная изъ избраннѣйшихъ романовъ Габорио, Монтепена, Фейдэ, Понсонъ-дю-Терайля и проч., и, наконецъ, по стѣнамъ цѣлая коллекція ружей, ятагановъ и кинжаловъ—вотъ обстановка, среди которой предстояло Nicolas провести цѣлое лѣто.

Первая минута свиданія была очень торжественна.

— *Voici la demeure de vos ancêtres, mon fils!* сказала Ольга Сергеевна:—можетъ быть, въ эту самую минуту они благословляютъ тебя là haut!

Nicolas, какъ благовоспитанный юноша, поникъ на минуту головой, потомъ поднялъ глаза къ небу и какъ-то порывисто поцѣловалъ руку матери. При этомъ, ему очень встали вспомнили стихи изъ крестоматіи:

И изъ его суровыхъ глазъ.  
Слеза невольная скатилась...

И онъ вдругъ вообразилъ себѣ, что онъ сѣдой, что у него суровые глаза, и изъ нихъ катится слеза.

— А вотъ и твоя комната, Nicolas, продолжала маман:—я сама уставляла здѣсь все до послѣдней вещицы; надѣюсь, что ты будешь доволенъ мною, мой другъ!

Глаза Nicolas прежде всего впились въ стѣну, увѣшанную оружіемъ. Онъ ринулся впередъ, и сталъ одинъ за другимъ вынимать изъ ноженъ кинжалы и ятаганы.

— *Mais regardez, regardez comme c'est beau! oh, maman! merci! vous êtes la plus généreuse des mères!* восклицалъ онъ,

7\*

9500A



въ ребяческомъ восторгѣ показывая свои сокровища: — этотъ ятаганъ... чортъ возьми!

— Этотъ ятаганъ — святыня, мой другъ, его отнялъ твой дѣдушка Николай Ларіонычъ—c'était le bienfaiteur de toute la famille!—à je ne sais plus quel Turc, и съ тѣхъ поръ онъ переходитъ въ нашемъ семействѣ изъ рода въ родъ! Здѣсь все, что ты ни видишь, полно воспоминаній... de nobles souvenirs, mon fils!

Nicolas вновь поникъ головой, подавленный благородствомъ своего прошлаго.

— Вотъ этотъ кинжалъ, продолжала Ольга Сергеевна;—его вывезла изъ Турціи твоя grande tante, которую вся Москва звала la belle odalisque. Она была плѣнная турчанка, но твой grand oncle Constantin такъ увлекся ея глазами (elle avait de grands-grands yeux noirs!) что не только обратилъ ее въ нашу святую православную вѣру, notre sainte religion orthodoxe, но впоследствии даже женился на ней. И представь себѣ, mon ami, всѣ, кто ни зналъ ее потомъ въ Москвѣ... никто не могъ найти въ ней даже тѣни турецкаго! Она принимала у себя всю Москву, давала балы, говорила по-французски.. mais tout à fait comme une femme bien élevée! По временамъ, даже журила самого Свѣтлѣйшаго!

Nicolas поникъ опять.

— А вотъ это ружье — ты видишь, оно украшено серебряными насѣчками—его подарилъ твоему другому grand oncle, Имполиту, самъ свѣтлѣйшій князь Таврическій — tu sais? l'homme du destin! Покойный Pierre рассказывалъ, что „баловень фортуны“ очень любилъ твоего grand oncle, и даже готовилъ ему блестящую карьеру, mais il paraît que le cher homme était toujours d'une très petite santé—и это мѣсто досталось Мамонову!

— Fichtre! c'est le grand oncle surnommé le Bourru bien-faisant? Такъ вотъ онъ былъ каковъ!

— Онъ самый! Depuis lors il n'a pas pu se consoler. Онъ поселился въ деревнѣ, здѣсь по близости, и все жертвуетъ, все строить монастыри. C'est un saint, и тебѣ непременно нужно у него погостить. Что онъ вытерпѣлъ — ты не можешь себѣ представить, мой другъ! Десять лѣтъ онъ былъ подъ опекой по доносу своего двоюроднаго (un homme, dont il a fait la fortune!) за то, что будто бы засѣкъ его жену... lui! un saint! И это послѣ того, какъ онъ былъ наканунѣ такой блестящей карьеры! Но и затѣмъ онъ никогда не позволялъ себѣ роптать... напротивъ, и до сихъ поръ благословляетъ то имя... mais tu me comprends, mon ami?

Nicolas въ четвертый разъ поникъ головой.

— Но рассказывать исторію всего, что ты здѣсь видишь, слишкомъ долго, и потому мы возвратимся къ ней въ другой разъ. Во всякомъ случаѣ, ты видишь, что твои предки и твой отецъ — oui, et ton père aussi, quiqu'il soit mort bien jeune! всегда и прежде всего помнили, что они всѣмъ сердцемъ своимъ принадлежатъ нашему милому, доброму, прекрасному отечеству!

— Oh, maman! la patrie!

— Oui, mon ami, la patrie—vous devez la porter dans votre coeur! А прежде всего—дворянскій долгъ, а потомъ нашу прекрасную православную религію (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbé Gueté). Безъ этихъ трехъ вещей — что мы такое? Мы путники, или лучше сказать, пловцы...

— „Безъ кормила, безъ весла“, вставилъ свое слово Nicolas, припомнивъ нѣчто подобное изъ христоматіи.

— Ну, да, c'est juste, ты прекрасно выразилъ мою мысль. Я сама была молода, душа моя, сама заблуждалась, тѣдила даже съ визитомъ къ Прудону, но, къ счастью, все это прошло, какъ больной сонъ... et me voilà!

— O, maman! le devoir! la patrie! et notre sainte religion!

Ольга Сергеевна, въ свою очередь, поникла головой и даже умилилась.

— Ты не повѣришь, мой другъ, какъ я счастлива! сказала она:—я вижу въ тебѣ это благородство чувства, это je ne sais quoi! Mais sens donc comme mon coeur bondit et trépigne! Нѣтъ, ты не поймешь меня! ты не знаешь чувства матери! Mais c'est quelque chose d'inéffable, mon enfant, mon noble enfant adoré!

Этимъ торжество приѣма кончилось. За обѣдомъ, и мать и сынъ уже болтали, смѣялись и весело чокались бокалами, причемъ Ольга Сергеевна не безъ лукавства говорила Nicolas:

— А помнишь, душа моя, ты писалъ мнѣ объ одномъ городеъ Provins, который изобилуетъ жасминами и розами; признайся, откуда ты взялъ это свѣдѣніе?

— Мaman! я получилъ его въ театрѣ Берга! Parbleu! on enseigne très-bien a géographie dans ce pays là!

Первое время, мать и сынъ не могли насмотрѣться другъ на друга. Ольга Сергеевна какъ институтка бѣгала по тѣнистымъ аллеямъ, прыгала на pas de géant; Nicolas ловилъ ее и, поймавши, крѣпко-крѣпко цаловалъ.

— Мaman! расскажи, какъ вы познакомились съ папа?

— Папа былъ немного грубъ... но тогда это какъ-то нравилось, слегка заалѣвшіеся отвѣчаетъ Ольга Сергеевна.

— Еще бы! Sacré nom! vous autres femmes! c'est votre idéal d'être maltraitées! Ну-съ! какъ же ты съ нимъ познакомилась?

— Мы встрѣтились въ первый разъ на балѣ, и онъ танцовалъ со мной сначала кадрили. потомъ мазурку... Тогда лифы носили очень короткіе—c'était presque aussi ouvert qu'à présent—и онъ все смотрѣлъ... это было очень смѣшно!

— Еще бы не смотрѣть! est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un joli sein de femme! Ну-съ, дальше-съ.

— Потомъ, онъ сдѣлалъ предложеніе, а черезъ мѣсяцъ насъ обвинчали. Mais comme j'avais peur si tu savais!

— Еще бы! Кувиркомъ!

— Колька! негодный! развѣ ты знаешь?

— Гм...

— Вѣдь тебѣ еще только шестнадцать лѣтъ!

— Семнадцатый-съ... Я, маман, революцій не дѣлаю, заговоръ не составляю, въ тайныя общества не вступаю... laissez-moi au moins les femmes, sapristi! Затѣмъ, продолжайте.

— Et puis!.. c'était comme une épopée! c'était tout un chant d'amour.

— Да-съ, тутъ запоешь, какъ выражается мой другъ, Сенья Бирюковъ!

— Et puis... il est mort! Я была какъ безумная. Я звала его я не хотѣла вѣрить...

— Еще бы! сразу на сухоядѣніе!

— Ахъ, Nicolas, ты шутишь съ самымъ священнымъ чувствомъ! Говорю тебѣ, что я была совершенно какъ въ хаосѣ, и если бы у меня не остался мой „куколка“...

— „Куколка“ — это я-съ. Стало быть, вы мнѣ обязаны, такъ сказать, жизнью. Parbleu! хоть одно доброе дѣло на своемъ вѣку, сдѣлалъ! Но, затѣмъ, прошли цѣлыя двѣнадцать лѣтъ, маман... уже ли же вы?... Но это невѣроятно! si jeune, si fraîche, si pimpante, si jolie! Я сужу, наконецъ, по себѣ... Jamais on ne fera de moi un moine!

Ольга Сергеевна алѣетъ еще больше, и какъ-то стыдливо поникаетъ головой, но въ это же время изподлбья взглядываетъ на Nicolas, какъ будто говорить: какой же ты, однако, простой: нѣпрямѣнно хочешь mettre les points sur les il!

— Trêves de fausse honte! картавить между тѣмъ, Коля:— у насъ условлено разсказать другъ другу всѣ наши prouesses! Слѣдовательно, извольте сейчасъ же исповѣдываться передо мной, какъ передъ духовникомъ!

Ольга Сергеевна на мгновеніе заминается, но потомъ вдругъ бросается къ сыну и прячетъ у него на груди свое лицо.

— Nicolas! Я очень, очень виновата передъ тобой, мой другъ! шепчетъ она.

— Еще бы! такая хорошенькая! Mais sais-tu, petite mère, que même à présent tu es jolie à croquer... parole!

— Ah! tu viens de m'absoudre! mon généreux fils!

— Не только абсудирую, но и хвалю! И так...

— Ахъ, „онъ“ такъ любилъ меня, а я была такъ молода... Ты знаешь, Pierre былъ очень грубъ, и хотя въ то время это мнѣ нравилось... mais „lui!“ C'était tout un poème! Il avait de ces délicatesses! de ces attentions!

— Та-та-та! Вы, кажется, изволили пропустить цѣлую главу! а этотъ кавалеристъ, который сопровождалъ васъ за границу? Тотъ, который такъ пугалъ mon grand oncle Paul своими усами и своими jurons??

— C'était un butor!

— Passons. Но кто же былъ этотъ „онъ“, celui qui avait des délicatesses?

— Онъ писалъ сначала въ „Journal pour rire“, потомъ въ „Charivari“, потомъ въ „Figaro...“ Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ онъ смѣшно писалъ! И все такъ мило! И мило и смѣшно! И какъ онъ умѣлъ оскорблять! Et avec cela brave, maniant à merveille l'épée, le sabre et le pistolet! Всѣ журналисты его боялись, потому что онъ могъ всѣхъ ихъ убить!

— Et joli garçon?

— Beau... mais d'une beauté!.. Повторяю тебѣ, это была цѣлая поэма! Et avec ça, adorant le trône, la patrie et la sainte église catholique!

Ольга Сергеевна вздыхаетъ и какъ-то сосредоточенно мнеть въ своей руке вѣтку цвѣтущей сирени. Мысли ея витаютъ тамъ, на далекомъ западѣ, au coin du boulevard des Capucines, № 1, тамъ, гдѣ она однажды позабыла свой bonnet de nuit, гдѣ Anatole, который тогда писалъ въ „Figaro“, на ея глазахъ сочинялъ свои милѣйшія blagues (oh! comme il savait blaguer, celui-là) и откуда ее навсегда вырвалъ семейный деспотизмъ! Въ эту минуту она забываетъ и о сынѣ, и о его prouesses, да и хорошо дѣлаетъ, потому что вспомни она объ немъ, кто знаетъ, не возненавидѣла ли бы она его, какъ первую, хотя и невольную причину своего заточенія?

— Ну, а на счетъ Прудона какъ? пробуждаетъ ее голосъ Nicolas.

— N'en parlons pas!

Ольга Сергеевна говоритъ это уже съ отѣтникомъ гнѣва и начинаетъ быстро ходить взадъ и впередъ по кругу, обрамленному густыми липами.

— Вообще, будетъ обо всемъ этомъ! продолжаетъ она съ волненіемъ:—все это прошло, умерло и забыто! Que la volonté

de Dieu soit faite! А теперь, мой другъ, ты долженъ мнѣ разсказать о себѣ!

Ольга Сергеевна садится, Nicolas съ невозмутимой важною поворачивается на скамейкѣ, обнявши обѣими руками приподнятую колѣнку.

— Et bien, maman, говорить онъ:—nous aimons, nous follichonons, nous buvons sec!

Маман какъ-то сладко смѣется; въ ея головѣ мелькаетъ далекое воспоминаніе, въ которомъ когда-то слышались такіа же слова.

— Raconte moi, comment cela t'est venu? спрашиваетъ она.

— Mais... c'est simple comme bonjour! картавитъ Nicolas:—однажды, мы были въ циркѣ... передъ циркомъ мы много пили... et après la représentation... ma foi! le sacrifice était consommé!

Ольга Сергеевна, ожидавшая пикантныхъ подробностей и перипетій, смотритъ на него съ насмѣшливымъ удивленіемъ. Какъ будто она думаетъ про себя: странно! точъ въ точъ такое же животное, какъ покойный Петъка!

— И ты?.. спрашиваетъ она.

Но Nicolas подмѣчаетъ насмѣшливый тонъ этого вопроса и спѣшитъ поправиться.

— Maman! говоритъ онъ восторженно:—C'était, comme vous l'avez si bien dit, tout un poème!

Эта фраза словно пробуждаетъ Ольгу Сергеевну; она снова вскакиваетъ съ скамейки, и снова начинаетъ ходить взадъ и впередъ по кругу. Прошедшее воскресаетъ передъ ней съ какою-то подавляющею, непреодолимую силою; воспоминанія такъ и плывутъ, такъ и плывутъ. Она не ходитъ, а почти бѣгаетъ; губы ея улыбаются и потихоньку напѣваютъ какую-то пѣсенку.

— C'était tout un poème! мелькаетъ у ней въ головѣ.

Проходитъ нѣсколько дней; рассказы о прошедшихъ проуесses исчерпываются, но ихъ замѣняетъ сюжетъ столько же, если не больше, животрепещущій. Дѣло въ томъ, что Ольга Сергеевна еще за границей слышала, что въ Петербургѣ народились какіе-то нигилисты, родъ особеннаго сословія, котораго не коснулись краткіе начатки нравственности и религіи, и которое, вслѣдствіе того, ничѣмъ не занимается, ни науками, ни художествами, а только дѣлаетъ революціи. Когда же она, сверхъ того, узнала, что въ члены этого сословія преимуще-

ственно попадают молодые люди, то материнским опасениям ея не стало пределью. Она тотчас же собралась писать къ „куколки“, чтобъ предостеречь и вразумить его, и, конечно, исполнила бы свое намерение, еслибъ въ эту самую минуту къ ней не пришелъ Anatole съ какою-то, только-что измышленною имъ bonne petits blague. Эта blague была такъ мила, такъ остроумна и весела, что Ольга Сергеевна цѣлый день хохотала до слезъ и къ вечеру не только утратила ясное представление о нигилистахъ, но даже почему-то вообразила, что это просто вновь открытая угнетенная національность (les rolopaïs, les italiens... les nihilistes!), которая, въ этомъ качествѣ, имѣетъ право на собственную свою конституцію и на собственные свои законы. Хотя же впоследствии событія не одинъ разъ напомнили ей объ ужасныхъ дѣлахъ этихъ „ужасныхъ людей“, и она опять собиралась писать по этому поводу къ „куколки“, но Anatole съ своей стороны тоже не дремалъ и былъ такъ неистощимъ на blagues, что всѣ усилія думать о чемънибудь другомъ, кромѣ этихъ прелестныхъ blagues, остались тщетными. Такъ продолжалось все время до самаго переселенія въ Первали. Тутъ она окончательно припомнила все слышанное о нигилистахъ и рѣшилась немедленно испытать политическія убѣжденія „куколки“.

Завтракъ кончился; Nicolas только что разсказалъ свою послѣднюю prouesse, и, покачиваясь на стулѣ, мурлыкаетъ: „Mon père est à Paris“; Ольга Сергеевна ходитъ взадъ и впередъ по столовой, и нѣкоторое время не знаетъ, какъ приступить къ дѣлу.

— Надѣюсь, мой другъ, что ты не нигилистъ! наконецъ отрѣзываетъ она: — нигилисты — это тѣ самые, которые гражданскій бракъ выдумали!

— Maman! вы очень хорошо знаете, что я консерваторъ! обижается Nicolas.

— Je sais bien que vous êtes un noble enfant! но знай, Nicolas, что еслибъ когда-нибудь тебѣ зашла въ голову мысль о революціи... vous ne serez plus mon fils... vous m'entendez?..

— Maman! вы странная! вы лучшая изъ матерей, но вы не понимаете меня.

— Ah! les hommes sont bien méchants! они такъ искусно разставляютъ свои сѣти, что я не могу... нѣтъ, нѣтъ, не могу же дрожать за тебя. И потому, еслибъ когда-нибудь, по какому-нибудь случаю, тебя постигло искушение...

— Parbleu! je voudrais bien voir!

— Не шути этимъ, Nicolas! Люди вообще коварны, а нигилисты — это даже не люди... это... это злые духи, — et tu sais

d'après la bible ce que peut un esprit malfaisant. А потому, если они будутъ тебя искушать, вспомни обо мнѣ... вспомни, мой другъ!.. и помолись! La prière — c'est tout. Она дастъ тебѣ крылья и мигомъ прогонитъ весь этотъ sauchemar de moujik. Дай мнѣ слово, что ты исполнишь это!

— Матап! вы странная!

— Нѣтъ, дай мнѣ слово! успокой меня!

— Даю вамъ миллионъ триста тысячъ словъ, что каждый изъ этихъ злыхъ духовъ, при первомъ свиданіи, получить отъ меня такую taloche, что забудетъ въ другой разъ являться съ предложеніями! О! я эти революціи изъ нихъ выбью! Я ихъ подтану!

Nicolas надувается и вскакиваетъ; глаза его искрятся; лицо принимаетъ торжественное выраженіе. Онъ такимъ орломъ прохаживается по залѣ, какъ будто на него возложили священную обязанность разыскать корни и нити, и онъ, во исполненіе, напалъ на свѣжій и совершенно несомнѣнный слѣдъ.

— Матап! произносить онъ важно:—желаете ли вы, чтобы я открылъ передъ вами мою profession de foi?

— Mon fils!

— Alors écoutez bien ceci. Я консерваторъ; я человекъ порядка. Et en outre je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte religion orthodoxe—voici mon programme à moi. Что касается до нигилистовъ, то я думаю объ нихъ такъ: это люди самые пустые и даже—passez moi le mot—негодяи. Ils n'ont pas de fond, ces gens-là! ils tournent dans un cercle vicieux! Надѣюсь, что теперь вы меня понимаете?

— Какой ты, однакожь...

„Умный“, хотѣла сказать Ольга Сергеевна, но вдругъ остановилась. Она совсѣмъ не встати вспомнила, что даже ея покойный Пьеръ („le pauvre ami—онъ никогда ничего не зналъ, кромѣ тѣлесныхъ упражненій“) — и тотъ однажды вдругъ заговорилъ, когда зашла рѣчь о нигилистахъ. „И, право, говорилъ не очень глупо!“ рассказывала она потомъ объ этомъ диковинномъ случаѣ его товарищамъ-кавалеристамъ.

А Nicolas между тѣмъ надувается все больше и больше.

— Благодаря моему воспитанію, ораторствуетъ онъ: — благодаря вамъ, ma noble et sainte mère, la ligne de conduite que j'ai à suivre est toute tracée. Cette ligne — la voici: желай въ предѣлахъ возможнаго, безпрекословно исполняй приказанія начальства, будь готовъ, et ne te mêle pas de politique. Одинъ изъ нашихъ гувернеровъ сказалъ святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiète!! А въ переводѣ это значитъ: не

возносись, не пари въ облакахъ—и никто тебя не тронетъ. Но если ты желаешь парить — что-жь, милости просимъ! Только ужъ не прогнѣвайся, mon cher, если съ облаковъ ты упадешь гдѣ нибудь... *ou cela ne sent pas la rose!*

— *Mercil merci, mon fils!* страстно произноситъ Ольга Сергеевна.

Но Nicolas не слушаетъ, и постепенно разгораясь, нѣ сколько разъ сряду повторяетъ:

— *Oui, dans cet endroit-là cela ne sentira pas la rose... je le garantie!*

Мало по малу, раздражаясь собственной фантазіей, онъ вступаетъ въ тотъ фазисъ, когда человѣкомъ вдругъ овладѣваетъ какая-то нестерпимая потребность лгать. Онъ останавливается противъ мама, нѣсколько времени смотритъ на нее въ упоръ, какъ будто готовится къ чему-то необычайному.

— Вы знаете ли, мама, что это за ужасный народъ! восклицаетъ онъ;—они требуютъ миллионъ четыреста тысячъ головъ! *Je vous demande, si c'est pratique!*

Съ минуту и мать и сынъ оба молчатъ, подавленные.

— Они говорятъ, что наука вздоръ... *la science!* что искусство — напрасная потеря времени... *les arts!* что всякій сапожникъ въ сто разъ полезнѣ Пушкина... *Pouschkinn!*

Новая минута молчанія.

— Они отвергаютъ бракъ, *ils vivent comme des chiens avec leurs chiennes!* Они не признаютъ таинствъ, религіи, церкви... *notre sainte église orthodoxe!* Et vous me demandez, si je suis nihiliste!

Ольга Сергеевна не можетъ больше владѣть собой и бросается къ Nicolas.

— Nicolas! Я вижу! я все теперь вижу! *Tu es un noble et saint enfant!* но скажи, ты зналъ? ты зналъ кого-нибудь изъ этихъ страшныхъ людей? съ какимъ-то ужасомъ спрашиваетъ она.

— *Maman!* Я видѣлъ одного изъ нихъ на Невскомъ: *il était mal peigné, pas du tout lavé...* и отъ него пахло!

— *L'horreur!*

Политическая программа Nicolas не только успокоиваетъ Ольгу Сергеевну, но даже внушаетъ ей уваженіе къ сыну.

— До сихъ поръ я только любила тебя, говоритъ она:—теперь я тебя уважаю!

На что Nicolas со всѣмъ энтузіазмомъ пламенной души отвѣчаетъ:



— Oh! ma noble et sainte mère! mais sentez donc! sentez, comme mon cœur bondit et trépigne!

Вообще „куколка“ доволенъ собой выше всякой мѣры. Во-первыхъ, благодаря маман, онъ узнаётъ, что онъ консерваторъ (до сихъ поръ всѣ его политическія убѣжденія заключались въ томъ, чтобы не пропустить ни одного праздничнаго дня, не посѣтивши театра Берга), и что ему предстоитъ въ будущемъ какая-то роль; во-вторыхъ, слова Ольги Сергеевны объ уваженіи окончательно возносятъ его на недосигаемую высоту. Онъ цѣлые дни ходитъ въ забытіи, цѣлые дни строить планы за планами; и, наконецъ, дѣлается до того подозрительнымъ, что впадаетъ почти въ ясновидѣніе.

— Aujourd'hui j'ai rêvé! говорить онъ однажды. — Мнѣ снилось, что я сдѣлался невидимкой и присутствую при ихъ совѣщаніяхъ! Можете себѣ представить, маман, какія я при этомъ сдѣлалъ открытія!

Въ другой разъ, онъ обращаетъ вниманіе маман на вредное направленіе умовъ, замѣченное имъ между поселянами.

— Какъ хотите, маман, ораторствуетъ онъ: — а чувство уваженія къ священному принципу собственности такъ мало въ нихъ развито, что я почти прихожу въ отчаяніе. Вчера изъ парка выгнали крестьянскую корову; сегодня, на господскомъ овсѣ, застали цѣлое стадо гусей. Я думаю, что система штрафовъ была бы въ этомъ случаѣ очень-очень дѣйствительна!

Наконецъ, въ третій разъ, онъ объявляетъ, что видѣлъ на селѣ настоящаго нигилиста.

— Но кого же, мой другъ? изумленно спрашиваетъ Ольга Сергеевна.

— Tu sais... ce séminariste... сынъ нашего священника. Представъ себѣ, встрѣчается давеча со мной, и пренагло-нагло подаетъ мнѣ руку... canaille!

Открытіе это нѣсколько смущаетъ Ольгу Сергеевну. Она съ своей стороны ужъ замѣтила Аргентова (фамилія заподозрѣннаго семинариста), и ей даже показалось, что онъ не только не нигилистъ, но даже „благонамѣренный“. Именно, „благонамѣренный“; не „консерваторъ“ — „консерваторами“ могутъ быть только les gens comme il faut, а „благонамѣренный“, то-есть смирный, послушный, преданный. Аргентовъ былъ высокій и плотный молодой человекъ; голова у него была большая и квадратная; черты лица нѣсколько крупны, но не безъ привлекательности; вся фигура дышала силой и непочатостью. Все это Ольга Сергеевна замѣтила. Il est du peuple, c'est vrai, думала она про себя, mais quelquefois ces gens là ont du bon. И она до такой степени прониклась убѣжденіемъ, что Аргентовъ „бла-

гонамѣренный“, что однажды, выходя изъ церкви, даже просила отца Карпа когда-нибудь привести его.

— Послѣ, прибавила она:— теперь дайте мнѣ насмотрѣться на моего „куколку!“ Онъ у меня такой серьезный, непременно хочеть оставаться со мной одинъ! Вѣдь вы еще не скоро уѣзжаете отсюда, мсье Аргентовъ?

— Все зависитъ отъ мѣстовъ-съ, отвѣчалъ молодой человекъ:— какъ скоро откроется вакансія, тогда ужъ будетъ не до знакомствъ-съ, а надо будетъ думать о присканіи невѣсты-съ!

— Ну, будетъ время, еще познакомимся! сказала Ольга Сергеевна, садясь въ экипажъ, между тѣмъ какъ Аргентовъ удалялся во-свояси, напѣвая звучнымъ басомъ: „тѣлеснаго озлобленія терпѣти не могу“.

Съ тѣхъ поръ мысль объ Аргентовѣ посѣщала ее довольно настойчиво. Въ головѣ ея даже завязались по этому случаю цѣлые романы съ длинными зимними вечерами, съ таинственнымъ мерцаньемъ луннаго луча и съ этою страстною, курчавою головою, si pleine de sève et de vigueur! Она полулежитъ на диванѣ, глаза ея зажмурены, а его голосъ гремитъ и дрожитъ, и въ ушахъ ея безсвязно раздаются какія-то страстные, пламенные слова. Ей сладко мечтать подъ эти страстные звуки, она не сознаетъ даже содержанія ихъ, а только тихо-тихо поддается имъ, побѣжденная ихъ страстностью... И какъ онъ мило брюзжитъ, когда она, въ самомъ разгарѣ его діатрибы, вдругъ выйдя изъ забытья, „совсѣмъ совсѣмъ некстати“ обращается къ нему съ вопросомъ:

— А вы читали Оссіана, Аргентовъ?

— Не объ Оссіанѣ идетъ теперь рѣчь, кричитъ онъ на нее, вскакивая какъ ужаленный: — а о народныхъ страданіяхъ-съ! Поймете ли вы это когда-нибудь, барыня?

„Странное дѣло!“ думается ей: „сколько разъ я предлагала этотъ вопросъ... тамъ... à Paris... и всѣ „они“ отвѣчали мнѣ такимъ же образомъ! Всѣ, всѣ сердились“.

И вдругъ „куколка“ разрушаетъ весь этотъ гёве, объявляя, что Аргентовъ—нигилистъ! Un homme qui n'a pas de religion!! человекъ, который выдумалъ гражданскій бракъ!!

— Но не ошибаешься ли ты, мой другъ? говоритъ она какъ-то робко. — Мнѣ кажется... онъ благонамѣренный!

— Нѣтъ, нѣтъ, у меня это ужъ инстинктъ, и онъ меня никогда-никогда не обманывалъ! Всѣ эти fils de pore нарочно говорятъ глупыя слова, чтобъ скрыть, что они дѣлають революціи! А что у нихъ на умѣ одинъ революціи — c'est un fait avéré! И не меня они обманутъ своимъ смиреніемъ!

Однимъ словомъ, восторженность Nicolas растеть до того,

что онъ начинаетъ вскакивать по ночамъ, кричать, кого-то требовать къ отвѣту, что причиняетъ Ольгѣ Сергеевнѣ немало тревоги.

— Маман: восклицаетъ онъ однажды:—je sens que je mourrai, mais au moins je mourrai à mon poste! Touchez ma tête — elle est toute en feu!

— Но ты бы чѣмъ-нибудь разсѣялъ себя, испуганно говорить она: — посмотрѣлъ бы на наше хозяйство, позвалъ бы управляющаго!

— Oh, mamam! все это кажется мнѣ теперь такъ ничтожнымъ... si petit, si mesquin!

— Но подумай, мой другъ, у тебя будутъ дѣти; это твой долгъ, c'est ton devoir de leur transmettre intacts tes droits, tes biens, ton beau nom.

— Encore un devoir: quel fardeau! et quelle triste chose, que la vie, mamam!

Но Ольга Сергѣевна уже не слушаетъ и посылаетъ къ Nicolas управляющаго. Nicolas, съ свойственною ему стремительностью, излагаетъ предъ управляющимъ цѣлый рядъ проектовъ, отъ которыхъ тотъ только таращитъ глаза. Такъ, напримѣръ, онъ предлагаетъ устроить на селѣ кафе-ресторанъ, въ которомъ крестьяне могли бы имѣть чисто-приготовленный, дешевый и при томъ сытный обѣдъ (и Богу бы за меня молили! мелькаетъ при этомъ у него въ головѣ).

— Понимаешь? понимаешь? толкуетъ онъ:—я не того требую, чтобъ были у нихъ голландскія скатерти, а чтобъ было все чисто, мило, просто! — понимаешь?

Потомъ, не давши этой идеѣ дальнѣйшаго развитія, онъ переходитъ къ пчеловодству, и доказываетъ, что при современномъ состояніи науки („la science!“) можно заставить пчелъ дѣлать какой угодно медъ—липовый, розовый, резедовый и т. д.

— Понимаешь? понимаешь? я люблю липовый медъ, ты—резедовый... и мы оба... понимаешь?

Наконецъ, бросаетъ и эту матерію, грозитъ управляющему пальцемъ, и съ восклицаніемъ: „я васъ подтяну!“ убѣгаетъ къ маман.

— Маман! да тутъ у васъ какіе-то Каракозовы завелись! раздражается онъ.

Съ этихъ поръ, кличка „Каракозовъ“ остается за управляющимъ навсегда.

Наконецъ, Ольга Сергеевна вспоминаетъ, что въ сосѣдствѣ

съ ними живетъ молодой человѣкъ, Павелъ Денисычъ Мангушевъ, и предлагаетъ Nicolas познакомиться съ нимъ.

— Опять какой-нибудь Каракозовъ? острить Nicolas.

— Нѣтъ, мой другъ, это молодой человѣкъ—совсѣмъ-совсѣмъ однихъ мыслей съ тобою. Онъ консерваторъ; *il est connu comme tel*, хотя всего только два года тому назадъ вышелъ изъ своего заведенія. Вы понравитесь другъ другу.

— Гмъ... можно!

Павелъ Денисычъ Мангушевъ живетъ всего въ десяти верстахъ отъ Персиановыхъ, въ прекраснѣйшей усадьбѣ, ни въ чемъ не уступающей Перкалямъ. Въ ней все тѣнисто, прохладно, изобильно и привольно. Обширный каменный домъ, густой, старинный садъ, спускающійся терассой къ рѣкѣ, оранжереи, каменные службы, большой конный заводъ, и кругомъ—поля, поля и поля. Самъ Мангушевъ—совершенно исковерканный молодой человѣкъ, какого только возможно представить себѣ въ наше исковерканное всякими *bons* и *mauvais principes* время. Воспитаніе онъ получилъ то же самое, что и Nicolas, то-есть тѣ же „краткіе начатки“ нравственности и религіи и то же безсознательно сложившееся убѣжденіе, что человѣческая раса раздѣляется на *chevaliers* и *manans*. Хотя между ними шесть лѣтъ разницы, но мысли у Мангушева такія же дѣтскія, какъ у Nicolas и также подернуты легкимъ слоємъ разврата. Ни тотъ, ни другой не подозрѣваютъ, что оба они—шалопаи; ни тотъ, ни другой не видятъ ничего внѣ того круга, котораго содержаніе исчерпывается чищеніемъ ногтей, анализомъ покроя галстуковъ, пиджаковъ и брюкъ, оцѣнкою кокетокъ, рысачковъ и т. д. Единственная разница между ними заключалась въ томъ, что Nicolas готовилъ себя къ дипломатической карьерѣ, а Мангушевъ, *par principe*, всему на свѣтѣ предпочиталъ *la vie de château*. Въ послѣднее время, у насъ это уже не рѣдкость. Прежде, помѣщики поселялись въ деревняхъ, потому что тамъ дешевле и привольнѣе жить, потому что ни Катька, ни Машка, ни Палашка не смѣютъ ни въ чемъ отказать, потому что въ полѣ есть заяцъ, въ лѣсу—медвѣдь, ит. д. Теперь поселяются въ деревняхъ *par principe*, для того, чтобы сѣять какія-то сѣмена и поддерживать какія-то якобы права... Такимъ образомъ, если для Nicolas предстояло проводить въ жизни шалопаиство дипломатическое, то Мангушевъ уже два года сряду проводилъ шалопаиство *de la vie de château*.

— *Vous autres, gens de l'épée et de robe*, обыкновенно вы-  
ражался Мангушевъ:—вы должны администировать, заботиться  
о казнѣ, защищать государство отъ внѣшнихъ враговъ... *que*  
*sais-je!* *Nous autres, chatelains, nous devons rester à notre poste!*

Мы должны наблюдать, чтобъ здѣсь, на мѣстахъ взошли эти сѣмена... Однимъ словомъ, чтобъ эти краугольные камни... vous comprenez?

Выраженіе „краугольные камни“ онъ какъ-то особенно подчеркивалъ и всегда останавливался на немъ. Онъ покручивалъ свои усики, пристально поглядывалъ на своего собесѣдника, и умолкалъ, вполне увѣренный, что все, что надлежало сказать, уже высказано. Въ сущности же, „краугольные камни“, о которыхъ здѣсь упоминалось, состояли въ томъ, что Мангушевъ по утрамъ чистилъ себѣ ногти и прижѣмывалъ галстуки, потомъ — бѣдиль по сосѣдямъ, или принималъ таковыхъ у себя, и наконецъ, на ночь, зѣвая выслушивалъ рапорты своихъ: *chef de l'administration* и *chef de harras*.

— Я, *messieurs*, не знаю, что такое скука! выражался онъ, рассказывая объ употребленіи своего дня: — моя жизнь — это жизнь труда, заботъ и распоряженій. *Nous autres, simples travailleurs de la civilisation, nous devons à nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms* (Ольга Сергеевна отъ него заразилась этой фразой; когда рекомендовала „куколей“ заняться хозяйствомъ). Поэтому, наше мѣсто — на нашемъ посту. Вы господа военные и господа дипломаты, — вы защищайте отечество и ведите переговоры. А nous — *le rôle modeste des civilisateurs*. Мы сѣмъ, и способствуемъ прозябанію посѣяннаго. Я съ утра уже принимаю рапорты, дѣлаю распоряженія, осматриваю постройки, *mes batisses*, хожу на работы... И такимъ образомъ проходитъ цѣлый, трудовой день! У меня даже свой судъ... Я здѣсь верховный судья! Всѣ эти люди, которымъ нечего ѣсть — всѣ они приходятъ ко мнѣ и у меня просятъ работы. Я могу дать, могу и отказать, — стало быть, я правъ, говоря, что судъ принадлежитъ мнѣ. У меня нѣтъ ни одного безнравственнаго человѣка въ услуженіи... *parceque la morale, mon cher — c'est mon cheval de bataille*. Я каждому приходящему ко мнѣ наниматься говорю: хорошо, но ты долженъ быть почтителенъ! И они почтительны. Всѣ эти краугольные камни... вы меня понимаете?

Дошедши до „краугольныхъ камней“, Мангушевъ опять умолкалъ, считая свою миссію совершенно исполненною.

Nicolas и Мангушевъ сразу поняли другъ друга, хотя послѣдній принялъ перваго съ отгѣнкомъ нѣкотораго покровительства.

— *Soyez le bienvenu!* сказалъ онъ ему: — *le descendant des Persianoffs* всегда будетъ желаннымъ гостемъ въ домѣ Мангушевыхъ. Мы, сельскіе дворяне, конечно, не можемъ доставить вамъ тѣхъ высокихъ наслажденій, къ которымъ привыкли люди

столицъ, но и у насъ найдется для Персіанова и чарка добраго стараго вина, и хорошій кусокъ дымящагося ростбифа. *Entrez, je vous prie.*

Мангушевъ высказалъ это такъ серьезно, что Nicolas сразу почувствовалъ безпредѣльное благоговѣніе къ нему. Онъ былъ такъ щегольски и въ то же время такъ просто одѣтъ, что Nicolas въ своемъ мундирчикѣ почувствовалъ себя какъ-то неловко (онъ въ первый разъ упрекнулъ себя, зачѣмъ надѣлъ мундиръ и не послушался маман, которая совѣтывала надѣть легкій пальевый костюмъ). Въ его воображеніи всталъ совсѣмъ не тотъ золотушный, вертлавый и исковерканный Мангушевъ, который дѣйствительно ломался передъ его глазами, а подлинный представитель той *vie de château*, о которой онъ вычиталъ когда-то *dans ces bons petits romans*, воспитывавшихъ его юность. Цѣлая картина быстро пронеслась въ его воображеніи. Молодой лордъ, разсѣвающій сѣмена консерватизма, религіи и нравственности; семейный очагъ; длинные зимніе вечера въ старомъ, величественномъ замкѣ; подъемные мосты; поля, занесенныя снѣгомъ; охота на кабановъ и сернъ; тритракъ съ сельскимъ кюрё; бесѣда за ужиномъ съ обильными возліаніями; общія молитвы съ преданными сѣдкими слугами, и затѣмъ крѣпкій, здоровый и безмятежный сонъ до утра... Однимъ словомъ, онъ совершенно позабылъ, что находится въ Глуповской губерніи, гдѣ нѣтъ ни шато, ни кюрё, играющихъ въ тритракъ, ни кабановъ, ни консерватизма, ни религіи, ни нравственности, а есть только высь да ширь, да безконѣчно праздные и безпредѣльно болтающіе Мангушевы.

— *Et la santé de madame?* освѣдомился между тѣмъ Мангушевъ.

— *Merci. Maman se porte très bien.*

— *Oh! votre mère est une noble et sainte femme!*

Молодые люди вошли въ кабинетъ, и услыли на какой-то чрезвычайно мягкой и удобной мебели.

— *Et maintenant, causons. Charles! vite un déjeuner, et une bouteille de notre meilleur!* обратился Мангушевъ къ расторопному малому, почтительно ожидавшему приказаній:—мсье Персіановъ! вы какое вино предпочитаете?

Nicolas вспыхнулъ, потому что до сихъ поръ онъ самъ еще не давалъ себѣ отчета относительно вина. Онъ неизмѣнно думилъ шампанское, полагая, что дорогая его цѣна вполне достаточна, чтобъ оправдать это предпочтеніе.

— *Mais... le champagne!* смущенно пролепеталъ онъ, все больше и больше краснѣя.

— *Pardon! мы будемъ пить шампанское en son temps et*  
господа ташкентцы.

lieu—надѣюсь, что вы у меня обѣдаете?—а теперь... Charles! vous nous apporterez de ce petit Bordeaux... „Retour des Indes“... C'est tout ce qu'il nous faut pour le moment... n'est-ce pas, mon cher monsieur de Persianoff?

Nicolas промывчалъ въ знакъ согласія.

— У меня въ услуженіи все французы, продолжалъ Мангушевъ, когда Шарль удалился:—и вамъ рекомендую то же сдѣлать. П n'y a rien comme un français, pour servir. Наши русскіе болѣе къ полевымъ работамъ склонность чувствуютъ. Ils sont sales. Но за то, въ полѣ за сохой... c'est un charme!

Затѣмъ уже начинается собственно causerie.

— Ну-съ, что новаго въ Петербургѣ?

— Mais... nous follichonons, nous aimons, nous buvons sec!

— Oh, cette bonne, brave jeunesse! Мы, сельскіе дворяне, любимъ вами изъ нашего далека, и шлемъ вамъ отсюда наши скромныя пожеланія. Вамъ трудно въ настоящую минуту, messieurs, и мы понимаемъ это очень хорошо; но повѣрьте, что и наша задача тоже нелегка!

Мангушевъ останавливается, какъ будто собирается съ мыслями.

— У насъ нѣтъ поддержки! наконецъ говорить онъ и опять умоляетъ.

Nicolas дѣлаетъ видъ, что умѣетъ, такъ сказать, читать между строкъ.

— On est trop bon là-bas! продолжаетъ Мангушевъ:—нѣтъ спора, намѣренія прекрасны, но нѣтъ этой пылкости, этого натиска, чтобы разомъ покончить съ гидрокю! А мы... что же мы можемъ сдѣлать съ нашими маленькими, разрозненными силами? Мы можемъ только помогать по мѣрѣ нашихъ слабыхъ силъ... и сожалѣть!

— N'est-ce pas? mais n'est-ce pas? радуется Nicolas — je le dis mille fois par jour, qu'on est trop bon pour cette canaille-là!

— Et vous avez raison. Я день и ночь борюсь съ этимъ зломъ... je ne fais que cela... И что жъ! Я долженъ сознаться, что до сихъ поръ всѣ мои усилія были совершенно напрасны. Они проникаютъ всюду! и въ наши школы, и въ наши молодыя земскія учрежденія.

— Я увѣренъ, что еще на дняхъ видѣлъ здѣсь одного нигилиста, восклицаетъ Nicolas:—и еслибъ не маман...

— Ah! nos dames! ce sont des anges de bonté et de douceur! Но надо сознаться, что онѣ намъ много портятъ въ нашей святой миссіи!

— Но я былъ неумолимъ, лжетъ Nicolas:—я прямо сказалъ

папан, что не желаю, чтобъ въ нашемъ селѣ процвѣтали Каракозовы! И его ужъ нѣтъ!

— И хорошо сдѣлали. *Votre mère est une sainte*, но потому-то именно она и не можетъ судить этихъ людей, какъ они того заслуживаютъ! Но дасть Богъ, классическое образование превозможетъ, и тогда... Недѣюсь, *monsieur de Persianoff*, что вы за классическое образование?

Nicolas надувается, какъ бы нѣчто соображая.

— Классицизмъ — этимъ все сказано, продолжаетъ между тѣмъ Мангушевъ: — это *utile dulce*, *l'utile et le doux* нашего доброго стараго Горація. Скажу вамъ откровенно; *m-r de Persianoff*, я никогда — никогда не скучаю. Какъ только я замѣчаю, что мнѣ грустно, я сейчасъ же беру моего старика Гомера, и забываю все... Съ этой точки зрѣнія, иногда у меня даже нѣтъ силъ ненавидѣть этихъ нигилистовъ: я просто сожалѣю объ нихъ. У нихъ нѣтъ этого наслажденія, которымъ пользуемся, напимѣръ, мы съ вами; *ils ne comprennent pas la poésie du coeur!*

Nicolas глядитъ на Мангушева во всѣ глаза и все больше проникается благоговѣніемъ къ нему. А вмѣстѣ съ благоговѣніемъ, онъ проникается и потребностью лгать, лгать во что бы ни стало, лгать, не оставляя за собой ни прикрытія, ни возможности для отступленія

— Я самъ... я очень люблю Гомера, но, признаюсь, впрочемъ, предпочитаю ему *Virgile*. „*Les Buccoliques*“ — *tout est là!* Этимъ все сказано! картавитъ онъ, самодовольно поварачиваясь въ креслѣ и покручивая зачатокъ уса.

— *Vraiment?* вы любитель? Очень радъ! очень радъ! потому что въ такомъ случаѣ мы навѣрное сойдемся!

— Я еще въ младшемъ курсѣ прочиталъ всего Корнелія Непота... *Fichtre, quel style!*

— Oh, quant au style — c'est *Eutrope* qu'il faut lire! Эта деликатность, эта тонкость, эта законченность... и, наконецъ, эта возвышенность... Надо прочесть самому, чтобъ убѣдиться, что это такое!

Бесѣдуя такимъ образомъ, новые друзья доврались, наконецъ, до того, что вытаращили глаза и стали въ тупикъ. „*Et Esore donc!*“ началъ было Nicolas, но остановился, потому что рѣшительно позабылъ, кто такой былъ Езопъ, и-къ какой онъ принадлежалъ націи.

— Ну-съ, теперь мы позавтракаемъ! А послѣ завтрака я вамъ покажу мой *harras*. Заранѣе предупреждаю, что ежели вы любитель то увидите нѣчто весьма замѣчательное.

За завтракомъ, Мангушевъ пытался было продолжать „серьез-



ный" разговоръ, и сталъ развивать свои идеи на счетъ „правъ“ вообще и въ особенности на счетъ тѣхъ изъ нихъ, которыя онъ называлъ „священными“; но когда дошла очередь до знаменитаго „Retour des Indes“, серьезность измѣнила характеръ и сосредоточилась исключительно на достоинствѣ вина. Мангушевъ велъ себя въ этомъ случаѣ какъ совершеннѣйшій знатокъ, съ отличіемъ прошедшій весь курсъ наукъ у Дюссо, Бореля и Донона. Онъ слѣдилъ глазами за движеніями Шарля, разливавшего вино въ стаканы, вертѣлъ свой стаканъ въ обѣихъ рукахъ, какъ бы слегка согрѣвая его, пилъ благородный напитокъ небольшими глотками и т. п. Nicolas, съ своей стороны, старался ни въ чемъ не отставать отъ своего друга: нюхалъ, смаковалъ губами, поднималъ стаканъ къ свѣту и проч.

— Mais savez vous, que c'est parfait! on sent le goût du raisin à un tel point, que c'est inconcevable! наконецъ, произнести онъ восторженно.

— N'est-ce pas? не менѣе восторженно отозвался Мангушевъ:—ah! attendez! à dîner je vais vous regaler d'un certain vin, dont vous me direz des nouvelles!

Затѣмъ разговоръ пошелъ ужъ рѣкой.

— Я только разъ въ жизни пилъ подобное вино, повѣствоваль Мангушевъ!—c'était à Bordeaux, chez un nommé comte de Rubempré—un comte de l'Empire, s'il vous plait—га! это было вино! И хоть я не очень-то долюбиваю этихъ comtes de l'Empire, но это вино! Ah! ce vin!

Мангушевъ развелъ руками, какъ бы давая понять, что дальше объяснять бесполезно. Nicolas сидѣлъ противъ него и завидовалъ.

— Я долженъ вамъ сказать, что судьба вообще баловала меня на этотъ счетъ. Въ другой разъ, это было въ Италіи... въ Сорренто, въ Споленто—je ne sais plus lequel!.. Приходимъ мы въ какую-то остерію. Ну, просто, въ грязную остерію, въ родѣ нашей харчевни... vous pouvez vous imaginer ce que c'est! Жарко, устали, хочется пить. Разумѣется, сейчасъ: una fiasca dal vino! — „Si, signor“ и т. д. И что-жъ бы вы думали! Мнѣ, именно мнѣ, подають бутылку d'un certain lacryma christi... ah! mais c'était quelque chose! Представьте себѣ, что это была одна бутылка, хранившаяся у хозяина въ погребѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ! Et puis, c'était fini. Ни прежде, ни послѣ я подобнаго вина не пивалъ!

Nicolas завидуетъ еще больше, но въ то же время чувствуетъ, что и ему слѣдуетъ вставить свое слово въ разговоръ.

— On dit que ce sont les oranges qui sont excellents en Italie? картавить онъ съ важностью.

— Oh! quant aux oranges, il faut aller les manger à Messine. Это все равно, что груши, которые можно есть только на севере Франции. Вездѣ, это—груши; тамъ—это божество!

— Et Naples! frutti del mare! восклицаетъ Nicolas.

— Я ѣлъ ихъ съ утра до вечера, и никогда не могъ довольно насытиться. C'est tout dire. Mais vous n'avez pas l'idée de ce qu'on trouve à l'étranger en fait de vins et de comestibles! On y devient glouton sans y penser—parole d'honneur! Перигоръ, Бордо, Марсель — все это усѣяно! Турбо, тонъ, paté de foie gras—с'est à n'y pas croire! Et puis, les huttres, и эта безподобная, ни съ чѣмъ несравнимая bouille-abesse!

— Et les femmes donc!

— A qui le dites vous! Ah, il y avait une certaine donna Ineza... Впослѣдствіи, она была въ Петербургѣ у одного адвоката... les gueux! ils nous arrachent nos meilleurs morceaux! Но я... и встрѣтился съ нею въ Севильѣ. Представьте себѣ теплую южную ночь... надъ нами темное синее небо... кругомъ все благоухаетъ... и тамъ вдали, comme dit Pouschkinne:

Вѣжить, шумить  
Гвадалквивиръ...

Мы идемъ, вливаемъ въ себя этотъ волшебный воздухъ и чувствуемъ—mais à la lettre чувствуемъ!—какъ вся кровь приливаетъ къ сердцу! И вдругъ... ОНА! въ легкой мантильѣ... на головѣ черный кружевной калюшонъ, и изъ подъ него... два черныхъ, какъ уголь, глаза!.. Oh! mais si vous allez un jour à Seville, vous m'en direz des nouvelles!

У Nicolas захватываетъ дыханіе. Потребность лгать саднитъ ему грудь, катится по всѣмъ его жиламъ и, наконецъ, захлестываетъ все его существо.

— Je vous dirai, qu'une fois il m'est arrivé à Pétersbourg... начинается онъ, но Мангушевъ съ своей стороны такъ ужъ разогнался, что не хочетъ дать ему кончить.

— О! наши сѣверныя женщины! c'est pauvre, c'est méquin, cela n'a pas de sève! Надобно видѣть ихъ тамъ! Тамъ — это зной, это адъ, это что-то такое, что мы, люди сѣвера, даже понять не можемъ, не испытавши лично тамъ, на мѣстѣ! Но зато, разъ на мѣстѣ, мы одни только и можемъ оцѣнить южную женщину! Знаете ли вы, что только южная женщина умѣетъ цѣловать какъ слѣдуетъ?

Nicolas окончательно багровѣетъ.

— Вы не вѣрите?—и между тѣмъ, нѣтъ ничего святѣ этой истины. Она не цѣлуетъ — она пьетъ... elle boit! вотъ поцѣлуй

южной женщины! Я помню, это было однажды въ Венеции, la bella Venezia... Мы плыли въ гондолѣ... вдоль береговъ дворцы... въ окнахъ огни... вдали звучать баркароллы... надъ нами ночь... mais de ces nuits, qu'on ne trouve qu'en Italie! И вдругъ она меня поцѣловала... oh! mais ce baiser! c'était quelque chose d'inéffable! c'était tout un poème! Увы! это былъ послѣдній ея поцѣлуй!

Мангушевъ потупился. Nicolas впился въ него глазами.

— Elle est morte le lendemain. Она, женщина юга, не могла выдержать всей полноты этого блаженства. Она выпила залпомъ всю чашу — и умерла! Вы можете себѣ представить моеположеніе! J'ai été comme fou... Parole d'honneur!

— Nicolas хочетъ сказать un compliment de condoléance, но благодаря „Retour des Indes“, слова какъ то путаются у него на языкѣ.

— Certainement... si la personne est jolie... c'est bien désagréable! бормочетъ онъ.

— Parbleu! si la personne est jolie! allez y et vous m'en direz des nouvelles! восклицаетъ Мангушевъ, и такъ какъ завтракъ конченъ, и лгать больше нечего, то предлагаетъ своему новому другу отправиться вмѣстѣ на конный заводъ.

— Vous verrez mon goûtaime! говоритъ онъ: — тамъ я отдыхаю, и чувствую себя джентльменомъ!

Начинается выводка; у Мангушева въ рукахъ бичъ, которыми онъ изрѣдка пощелкиваетъ въ воздухъ. Жеребцы и кобылы выводятся одни за другими, одни другихъ красивѣе и породистѣе. Но Мангушевъ уже не довольствуется тѣмъ, что его „производители“ дѣйствительно безподобны, и начинаетъ лгать. Всѣ они взяли ему по нѣскольку призовъ, опередили „Чародѣя“, „Бычка“ и т. д.

— Вотъ, говоритъ онъ: — этотъ самый „Зябликъ“ (c'est le doyen du haras) двадцать два приза — parole!

— Quel producteur! восторженно восклицаетъ Nicolas.

За „Зябликомъ“ слѣдуетъ кобыла „Эмансипація“, за „Эмансипаціей“ — жеребецъ „Консерваторъ“ и проч. У Nicolas искрятся глаза и захватываетъ духъ, тѣмъ болѣе, что Мангушевъ каждую выводку непременно сопровождаетъ исторіей, которая неизмѣнно начинается словами: „представьте себѣ, съ этою лошадью какой случай у меня былъ“. „Куколка“ выражаетъ свой восторгъ ужъ не восклицаніями, а взвизгиваніемъ и захлебываньемъ. Мало того: онъ чувствуетъ себя жалкимъ и ничтожнымъ, сравнивая этихъ благородныхъ животныхъ съ скромными „Васьками“ и „Горностаями“, украшающими конюшню села Церкалей.

„Et dire que cet homme a tout cela!“, думает онъ, поглядывая съ завистью на торжествующаго Мангушева.

За обѣдомъ „куколка“ словно въ чадѣ. Онъ слабо пьетъ и почти совсѣмъ не притрогивается къ кушаньямъ.

— Этотъ „Зябликъ“ не выходитъ у меня изъ головы. А „Консерваторъ!“ А эта „Ласточка...“ *quelles hanches!* взвизгиваетъ онъ поминутно.

Мангушевъ видитъ восторженность пламеннаго молодаго челоука, и удостовѣряется, что въ немъ будетъ прокъ. На этомъ основаніи, онъ предлагаетъ Nicolas выпить на ты, и беретъ съ него слово видѣться какъ можно чаще. Новые восторги, новыя восклицанія, новое лганье, сопровождаемое заклинаніями.

— Слушай! когда, ты поѣдешь въ Парижъ, говорить Мангушевъ: — ты меня предупреди. Я тебѣ дамъ письмо къ нѣкоторой Florence — *et vous m'en direz des nouvelles, mon cher monsieur!*

Отъ Florence разговоръ переходитъ къ Emilie, отъ Emilie — къ Ernestine, и такъ какъ продолженіе его слѣдуетъ бутылка за бутылкой, то лганье кончается только за полночь.

А въ Перкаляхъ еще не спятъ. Ольга Сергеевна стоитъ на террасѣ, вглядывается въ темноту ночи, и ждетъ своего „куколку“ („*Oh! les sentiments d'une mère!*“ говоритъ она себѣ мысленно).

— Maman! quel homme! quel homme! восклицаетъ Nicolas, выскакивая изъ коляски и бросаясь въ объятія матери.

Каникулы кончились; Nicolas возвращается въ „заведеніе“. Онъ скучаетъ, потому что чадъ только что пережитыхъ воспоминаній еще туманить его голову. Да и всѣ вообще воспитанники глядятъ какъ-то вяло. Они рука объ руку лѣниво бродятъ по заламъ заведенія, передаютъ другъ другу вынесенныя впечатлѣнія, и не то иронически, не то съ нетерпѣніемъ относятся къ ожидающей ихъ завтра наукѣ.

— Ты что нибудь знаешь изъ „свинства“ (подъ этимъ именемъ между воспитанниками слыветъ одна изъ „наукъ“)?

— Ты прочиталъ „Черты“?

— Messieurs! на завтра „Чучело“ задалъ сочиненіе на тему: „сравнить романтизмъ „Бѣдной Лизы“ Карамзина съ романтизмомъ „Марьиной Роши“ Жуковскаго“ — каковъ Чучело!

Въ такомъ родѣ идетъ перекрестный разговоръ, относящійся до наукъ. Въ залахъ и классахъ непріятно, голо и даже какъ будто холодно; лампы горятъ, по обыкновенію, свѣтло, но ка-

жется, что въ этомъ свѣтѣ чего-то недостаетъ, что онъ какой-то казенный; хочется спать, и между тѣмъ, рано. Раздается звонокъ, призывающій къ ужину, но воспитанники не глядятъ ни на крутоны съ чечевичей, ни на „суконные“ пироги. Менѣе благовоспитанные (плебеи) съ негодованіемъ отодвигаютъ отъ себя „cette mangeaille de pourceau“ и грозятся сдѣлать „исторію“; болѣе благовоспитанные (аристократы) ограничиваются тѣмъ, что не прикасаются къ кушанью и презрительно пожимаютъ плечами, слушая нетерпѣливыя возгласы плебеевъ. Увы! въ „заведеніи“ уже есть „свои“ аристократы и „свои“ плебеи, и эта демаркаціонная черта не исчезнетъ въ стѣнахъ его, но отзовется и дальше, когда и тѣ, и другіе выступятъ на широкую арену жизни. И тѣ, и другіе выйдутъ на нее съ убѣжденіемъ, что человѣческая раса раздѣляется на *chevaliers* и *matapans*, но одни выйдутъ съ правомъ поддерживать это убѣжденіе путемъ практики—другіе лишь съ правомъ облизываться на него и поддерживать его только въ теоріи. Первые будутъ стараться не замѣчать послѣднихъ, будутъ называть ихъ „amis cochons“; вторые будутъ ненавидѣть первыхъ, будутъ сглатывать завистью къ нимъ, и за всѣмъ тѣмъ ползутъ въ грязь, чтобъ попасться имъ на глаза и заслужить ихъ улыбку!

— Simon! съ какимъ я познакомился консерваторомъ! общается „куколка“ другу своему, Сенѣ Накатникову: — *quel homme!*

— Шутъ!

Этотъ Сеня отличается тѣмъ, что настоящаго разговора вести не можетъ, и выражаетъ свои мысли, по возможности, короткими словами. Только въ минуты сильнаго душевнаго потрясенія, онъ позволяетъ себѣ проговориться какою-нибудь пословицей въ родѣ: „на томъ стоимъ-съ!“ или „бей сороку и ворону!“. Тѣмъ не менѣе, между товарищами онъ слышетъ тишину истиннаго *chevalier*.

— Самъ ты шутъ! Слушай! Мы видѣлись съ нимъ чуть не каждый день, и, наконецъ, такъ сошлись въ убѣжденіяхъ, что поклялись другъ другу составить общество „избавителей“.

— J'en suis!

— Ты понимаешь, что это никакъ не будетъ „тайное“ общество... напротивъ того, совѣмъ-совѣмъ явное! Il s'agit des nihilistes, vois tu!

— Topez-là, monseigneur!

— Какимъ онъ угощалъ меня виномъ... „Retour des Indes“... га! это было вино!

— Jus divin! du raisin! мурлыкаетъ Сеня. — На минералкахъ я познакомился съ Joyeux!

— Ты глупъ, Сеня. Надобно было съ Альфонсинкой познакомиться, а ты все къ мужчинамъ лѣзешь!

— A bas! ça viendra!

— А еще я у него пилъ другое вино... Представь себѣ, эту бутылку подарилъ его дѣдушкѣ Потемкинъ... Tu sais, l'homme du destin!

Сеня, вмѣсто отвѣта, облизываетъ свои усики.

— Она лежала сто лѣтъ въ какомъ-то углу, въ подвалѣ.. и я первый, первый открылъ это чудо! Однажды, мы сидимъ вдвоемъ и пьемъ... oh! nous avons joliment trinqué ce soir-là! И вдругъ я ему говорю: Мангушевъ! я увѣренъ, что у тебя въ подвалѣ хранится какое-нибудь чудо! Натурально, онъ тотчасъ же далъ мнѣ pleins-pouvoirs (oh! c'est un vrai chevalier, celui-là), и не прошло минуты, какъ ужъ она была въ моихъ рукахъ!

— Выпили?

— Еще бы! Потомъ, онъ рассказывалъ мнѣ свое путешествие заграницей. Oh! maintenant, je suis au courant de tout! Я знаю, гдѣ найти лучшее вино, лучший обѣдъ, устрицы, однимъ словомъ, все! Ensuite, il m'a donné des détails sur une certaine signora italienne... oh! quels détails!

— Sapristi!

— Представь себѣ, онѣ, эти южныя женщины, не цѣлуютъ, а пьютъ!

— A bas!

— А въ довершеніе всего, онъ далъ мнѣ письмо къ здѣшней Бертѣ... en attendent le moment, où je pourrai aller en Italie. Но ты понимаешь, какъ это съ его стороны мило!

— Былъ?

— Еще бы! Сейчасъ съ машины заѣхалъ къ Огюсту pour me faire décorer, и оттуда прямо къ ней. Mais quel adorable créature! Все слѣдующее воскресенье я съ нею. C'est convenu.

Въ этомъ родѣ разговоръ ведется за полночь. На другое утро, Nicolas встаетъ съ головою болью и употребляетъ тщетныя усилія, чтобъ сравнить романтизмъ „Бѣдной Лизы“ съ романтизмомъ „Марьиной Рощи“. Онъ подбѣгаетъ къ Сенѣ и спрашиваетъ его:

— Ты сравнилъ?

Сеня молча показываетъ листъ бумаги, на которомъ размашистымъ почеркомъ изображено:

„Романтизмъ „Бѣдной Лизы“ на столько же выше романтизма „Марьиной Рощи“, на сколько сѣдая и мудрая старость выше рѣзвой и неопытной юности. Но должно сказать, что оба

автора находились долгое время при дворѣ, и пользовались милостями монарховъ“.

С. Бирюковъ.

— Шуть!

Такъ проходить недѣля „наукъ“. Въ воскресенье, Nicolas бѣжитъ къ Бергѣ, и тамъ отдыхаетъ отъ всей абракадабры, которую принято называть ученьемъ.

— Vous n'avez pas l'idée, ma chère, comme ils nous bourrent de sciences, ces bourreaux!

— Les barbares!

Дни проходятъ за днями; воспитаніе идетъ своимъ чередомъ между будничными „науками“ и праздничною Бертой. Но вотъ истекаютъ и послѣдніе два года, и зданіе окончательно увѣнчивается. За два мѣсяца до выпуска, Nicolas находится, какъ въ чадѣ. Онъ освѣдомляется о лучшемъ портномъ, лучшемъ bottier, лучшемъ confectionneur de linge и допускаетъ по этимъ предметамъ une analyse détaillée et raisonnée. Наконецъ, останавливается на Жоржѣ, Лепретрѣ и Léon. По воскресеньямъ, онъ разрывается между ними, тогда какъ маман, пріѣхавшая нарочно по этому случаю изъ Перкалей, покупаетъ экипажи, мебель, устраиваетъ квартиру — un vrai nid d'oiseau!

— Mais regarde donc, comme ça sera joli! говоритъ она ему, водя по комнатамъ ихъ будущаго жилища: — tu seras là comme dans un petit nid!

— Maman! vous êtes la meilleure des mères. Jamais! non, jamais je ne saurai...

Nicolas закусываетъ губу и умолкаетъ, потому что наплывъ чувствъ мѣшаетъ ему говорить. Какъ бы послѣ нѣкотораго колебанія, онъ бросается къ маман и крѣпко-крѣпко обнимаетъ ее. Ma tante, свидѣтельница этой сцены, приходитъ въ умиленіе.

— Nicolas! tu es un noble enfant! говоритъ она, со слезами на глазахъ.

— Ma tante, c'est à vous que je dois ce que je suis! восклицаетъ Nicolas, и отъ маман съ тою же стремительностью бросается къ ma tante и также обнимаетъ ее.

Наступаютъ экзамены, на которыхъ „куколка“ отвѣчаетъ довольно разсѣяннo. Но начальство знаетъ причину этой разсѣянности и снисходитъ къ ней. Сверхъ того, оно знаетъ, что всѣ эти благородные молодые люди, la fleur de notre jeunesse, завтра же начнутъ свое служеніе обществу, и никогда не измѣ-

нать ни долгу, ни именамъ, которыя они носятъ. Слѣдовательно, если они и не вполнѣ твердо знаютъ, въ которомъ году произошло паденіе западной Римской имперіи, то это еще не большая бѣда.

Наконецъ, бьетъ и минута освобожденія. Nicolas выходитъ изъ стѣнъ заведенія, восторженно простираетъ впередъ правую руку, и, какъ бы обращаясь къ невидимому врагу, торжественно произносить:

— А теперь, messieurs... поборемся!



## ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРАЯ.

Просимъ читателя послѣдовать за нами въ одно изъ закрытыхъ заведеній конца тридцатыхъ годовъ, въ которыхъ воспитывались дѣти дворянъ преимущественно небогатаго состоянія. Тамъ воспитывается „палачъ“, герой настоящаго разсказа.

„Палачъ“ ужь шестой годъ выживаетъ въ „заведеніи“; четыре года провелъ онъ въ первомъ классѣ, и теперь доживаетъ второй годъ во второмъ. Настоящая его фамилія Хмыловъ, но товарищи называютъ его „палачемъ“, и эта кличка, повидимому, утвердилась за нимъ навсегда.

Хмыловъ принадлежитъ къ числу тѣхъ легендарныхъ юношей, о которыхъ въ школахъ складываются разсказы самаго чудеснаго свойства. Такъ, напримѣръ, разсказывали, будто бы онъ, узнавъ однажды, что начальство рѣшилось исключить его за лѣность изъ заведенія, подавалъ въ губернское правленіе просьбу объ опредѣленіи его въ палачи, „куда угодно, по усмотрѣнію вышняго начальства“. Еще говорили, будто на душѣ его лежить сто одно убійство, и что мать его—та самая Танька, ростокинская разбойница, которая впослѣдствіи сдѣлалась героиней романа того же имени. Одинъ ученикъ даже увѣрялъ, что видѣлъ у „палача“ разрывъ-траву и какую-то „мертвую воду“, съ помощью которой онъ будто бы могъ весь классъ сначала повергнуть въ сонъ, а потомъ всѣхъ до чиста обобрать. И какъ ни фантастичны были эти разсказы, но „палачъ“ отчасти оправдывалъ ихъ своимъ хищнымъ видомъ и какою-то таинственною отчужденностью, съ которою онъ держался въ кругу товарищей, и которая, быть можетъ, зависѣла не столько отъ него

самого, сколько отъ случайно сложившихся, при поступленіи его въ заведеніе, обстоятельствъ.

„Палачу“ было невступно осмынадцать лѣтъ; роста онъ былъ не громаднаго, но внушительнаго, сухощавъ, но сложенъ крѣпко и мускулистъ; брилъ бороду и обладалъ необычайною физическою силою. Среди прочей милюзги товарищей онъ казался Голаеомъ. Въ минуты добраго расположенія духа, онъ сажалъ на каждую руку по ученику, а третьяго ученика помѣщалъ у себя верхомъ на плечахъ, и съ такою ношей дѣлалъ два-три конца бѣгомъ по огромной рекреационной залѣ. Но подобныя добрыя минуты были рѣдкими проблесками въ его школьной жизни; вообще же „палачъ“ былъ угрюмъ и наводилъ своей силой панической страхъ на товарищей. Особенность наружнаго вида породила взаимную отчужденность; отчужденность, въ свою очередь, привела къ озлобленію съ одной стороны и къ непрерывнымъ приставаньямъ—съ другой. „Палачъ“ любилъ бить, и притомъ билъ почти всегда безъ причины, то-есть подстерегалъ перваго попавшагося мальчугана, и съ наслажденіемъ тусилъ его, допуская при этомъ пытку и калѣченье.

Но въ то же время онъ былъ трусъ, и въ особенности боялся начальства, о которомъ, повидимому, съ дѣтства составилъ себѣ понятіе, какъ о чемъ-то неотразимомъ. Товарищи знали это, и ненавидя „палача“, устраивали, отъ времени до времени, на него облавы и травли, съ такимъ расчетомъ, чтобы въ рѣшительную минуту можно было прибѣгнуть къ защитѣ начальства. Въ корридорѣ, въ рекреационной залѣ, въ саду, всегда невдалекѣ отъ дремлющаго надзирателя, мелюзга собиралась толпой, и съ крикомъ: „палачъ! палачъ!“ приближалась къ нему. Заслышавъ этотъ крикъ, „палачъ“ вздрагивалъ и бѣжалъ впередъ, сложивъ руки крестомъ на груди, выгнувъ шею и стараясь увлечь толпу подальше. Но на встрѣчу ему бѣжала другая толпа такой же мелюзги и съ тѣмъ же крикомъ: „палачъ! палачъ!“ Тогда онъ останавливался, съ проворствомъ копыи оборачивался назадъ и выхватывалъ изъ толпы перваго попавшагося подъ руку мальчугана. Начиналась расправа; весь дрожа и тяжело поводя ноздрами, „палачъ“ вывертывалъ своему пациенту руку, и шипя, произносилъ:

— Забью!

И Богъ знаетъ, чѣмъ могли бы оканчиваться эти пароксизмы бѣшенства, еслибъ обезумѣвшаго отъ ужаса мальчугана не выручалъ надзиратель.

— A genoux, Khmiloff! à genoux, tête remplie d'immondices! гремѣлъ голосъ надзирателя, и „палачъ“ съ какою-то горькой

усмѣшкой отрывался отъ своей жертвы, и угрюмо, но непреклонно, становился на колѣни.

Невѣжественность „палача“ была изумительная; лѣность — выше всего, что можно представить себѣ въ этомъ родѣ. И ко всему этому, какое-то неизрѣченное презрѣніе къ чему бы то ни было, что упоминало объ ученіи, о книгѣ. Вообразить себѣ этого атлета-юношу, съ его запасомъ рѣшимости и свирѣпости, встрѣчающагося гдѣ-нибудь въ глухомъ переулкѣ одинъ на одинъ съ „наукою“, значило заранѣе опредѣлить участь послѣдней. Навѣрное, онъ обратитъ въ пепелъ бумажныя фабрики, взорветъ на воздухъ университеты и гимназіи, и подвергнетъ человѣческую мысль разстрѣлію. Онъ самъ удивлялся, какимъ образомъ онъ могъ научиться грамотѣ. „Сама пришла“, говорилъ онъ, тщетно пытаясь разрѣшить этотъ вопросъ сколько-нибудь удовлетворительнымъ образомъ. И дѣйствительно, правильнѣе этого рѣшенія нельзя было придумать. Никто не видалъ, чтобы онъ что-нибудь училъ или читалъ, и вся дѣятельность его, въ смыслѣ образованія ума и сердца, ограничивалась перепискою переводовъ и сочиненій на заданную тему, съ черняковъ, которые обыкновенно писались для него другими. Узнавши, что учитель словесности задалъ, напримѣръ, переложеніе въ прозу басни „Дубъ и Трость“, онъ, незадолго до класса, подходилъ къ кому-нибудь изъ товарищей, клалъ передъ нимъ чистый листъ бумаги, на которомъ, въ видѣ зоголовка, собственной его рукой было написано: „Дубъ и Трость“, переложеніе въ прозѣ, которое „такой-то“ обязанъ составить для Максима Хмылова“ и спокойно при этомъ произносилъ.

— Черезъ полчаса!

И черезъ полчаса, его дѣйствительно уже видѣли сидящимъ на задней скамейкѣ и переписывающимъ готовое переложеніе. Вся фигура его какъ-то неестественно при этомъ натуживалась и сканивалась въ одну сторону: языкъ высовывался изъ угла рта, и крупныя капли пота выступали на лбу.

Родись этотъ юноша нѣсколько позже, то-есть въ то время, когда вредъ, отъ наукъ происходящій, былъ приведенъ русскими романистами и публицистами въ достаточную ясность, ему не было бы дѣла. Но, къ несчастію для него, онъ началъ учебное поприще въ то наивное время, когда „наука“ (быть можетъ, по новости ея) казалась еще чѣмъ-то цѣннымъ, когда никто не понималъ ясно, что значить это слово, но всякій былъ убѣжденъ, что „науки юношей питаютъ“, и что человѣку, незнающему ариеметики, грозитъ въ жизни какая-то бѣда. Поэтому, не менѣе товарищей, не любили „палача“ и учителя, и надзиратели. У каждаго изъ нихъ, Хмыловъ имѣлъ свое проз-

вице. Французъ-учитель называлъ его „animal“ и „tête remplie de foin“; учитель нѣмецъ обращался къ нему не иначе, какъ „о du, ungeschickter, unnützer Khmiloff“; латинскій учитель именовалъ его „canis rabiosus“ и „pecus campī“. Съ какимъ-то злорадствомъ заставляли они его позировать, на потѣху цѣлому классу. Входить, напримѣръ, на кафедру monsieur Menuet, маленькій поджарый французикъ, скорѣе похожій на извозчика, нежели на учителя, и первымъ долгомъ считаетъ немедленно пополучить Хмылова.

— Eh bien, animal de Khmiloff, lisons! § 44. Imparfait de l'Indicatif!

Хмыловъ читаетъ:

„Лорске жетѣ петить, ме четръ етѣ контантъ дѣ моа“.

— Etre content de toi, crétin! de toi, qui es le bourreau de tes maîtres! Animal, va!

— Господинъ Менуеть! не извольте ругаться!

— Ah! tu raisonne encore! Voyons, archi-imbécile, continuons: § 49. Imparfait et passé défini!

Хмыловъ читаетъ:

„Пьеръ леграндъ деженѣ а сенкъ еръ дю матенъ, иль динѣ а миди е не супе па“... Е иль бувѣ, вставляеть онъ неожиданно.

— Où as tu lu cela! reponds, triple animal! où as tu lu, que Pierre-le-Grand, ce monarque des monarques, buvait?

— Се листоаръ, господинъ Менуеть.

— „Се листоаръ“? передразниваетъ monsieur Minuet: — et si par extraordinaire l'on te donnait la verge aujourd'hui, au lieu de samedi, ça serait une autre histoire, triste idiot, va! Eh bien, voyons! cite moi les exemples du § 52! Que prenez vous le matin“?

„Палачъ“ оживляется; онъ почти не смотритъ въ книгу и довольно правильно рапортуеть:

„Же пранъ юнъ тассъ де тѣ у де кафе авекъ дю пенъ блянъ; ле суаръ же манжъ юнъ траншъ де во у де бефъ у де мутонъ“!

— Comme il y va! il sent bien qu'il s'agit de manger, l'animal! Mais achève, donc, achève, imbécile infect et vénimeux! Dis: „je vous remercie, madame, j'ai tant mangé que je n'ai plus faim“!

— Же фенъ.

— Ah, tu as faim, vieux tonneau fêlé, impossible à emplir! tu as faim, hyppopothâme plein d'âge! Va donc te mettre à genoux, execrable ganâche. Nous verrons si de cette manière là tu parviendras à te rassasier!

„Палачъ“ не торопясь встаетъ съ мѣста, проходитъ мимо скамей, при общемъ смѣхѣ товарищей, и становится на колѣни, ворча сквозь зубы:

— Вы всегда меня, господинъ Менуэтъ, притѣсняете!

Даже законучитель-батюшка, и тотъ считалъ своимъ долгомъ слегка поковырять въ Хмыловѣ, или, какъ онъ выражался, „измѣрить глубины сего океана праздности“. А потому, обладая особливимъ даромъ прозорливства, онъ всегда огорошивалъ „палача“ слѣдующимъ вопросомъ:

— А ну-те, кто изъ васъ здѣсь дубиной прозывается? Вставай, дубъ молодой, сказывай, что есть адъ?

Хмыловъ вставалъ и безъ запинки отчеканивалъ:

— Карцеръ есть слово греческое, и означаетъ мѣсто темное, преисполненное клопами, у дверей коего дремлетъ сторожъ Мазилка!

— Такъ, молодой дубъ, такъ. Спасибо, хоть самъ себя резолюцію прочиталъ...

Иди-жь, душа, во адъ и буди вѣчно плѣнна...

сирѣчь, изволь идти въ карцеръ...

И „палачъ“, ни мало не прекословя, складывалъ тетрадки, дабы благополучно прослѣдовать въ карцеръ.

Только однажды, когда учитель нѣмецъ, по обыкновенію, обратился къ нему:

— Also doch, unnützer palatsch Khmiloff...

„Палачъ“ вдругъ пустилъ ему въ упоръ:

— Колбаса!

Но и тутъ сейчасъ же струсилъ, и безусловно сдался въ плѣнъ надзирателю, заточившему его на недѣлю въ карцеръ.

Даже дядьки—и тѣ терпѣть не могли „палача“, такъ что, когда онъ, послѣ обѣда или ужина, приходилъ въ буфетную, чтобы поживиться остатками отъ общей трапезы, то они всегда гнали его отъ себя, говоря: „Видно, мало награбилъ у учениковъ? къ дядькамъ грабить пришелъ!“

Родомъ „палачъ“ былъ изъ Орловской губерніи, и не безъ гордости говаривалъ: „Мы, орловцы — проломленные головы“, или: „Орелъ да Кромы — первые воры!“. Отецъ его считался въ числѣ лицъ, „почтенныхъ довѣріемъ господъ дворянъ“, то есть служилъ исправникомъ и, вслѣдствіе непреодолимой горячности своего нрава, почти никогда не выходилъ изъ-подъ суда. Но даже и для этого закаленного въ суровой школѣ уголовной палаты человѣка, Максимка представлялъ что-то феноменальное. Поэтому, когда онъ привезъ „палача“ въ заведеніе, то слѣдующимъ образомъ отрекомендовалъ его инспектору классовъ:

— Откровенно вамъ доложу, Василий Ипатычъ, это такой негодяй... такой негодяй... ну, знаете, такой негодяй, какихъ днемъ съ огнемъ поискать! Бился я съ нимъ, хотѣлъ отдать въ пудретное заведеніе, да по дворянству стыдно! Дворянинъ-съ. А потому, ежели желаете оказать ему благодѣяніе — дерите! Спорить и прекословить не буду. Мало одной шкуры, спустите двѣ. А въ удостовѣреніе, представляю при семъ въ презентъ сто рублей.

— Я учиться не стану! воля ваша! угрюмо проговорилъ „палачъ“, стоявшій тутъ же въ сторонкѣ, и вслушавшійся въ рекомендацію отца.

— Слышали-съ? Извоили слышать, какое это золото! Дерите-съ! сдѣлайте милость, дерите-съ! убѣждалъ отецъ инспектора, и затѣмъ, обращаясь къ сыну, присовокупилъ: — а тебѣ, балбесъ, повторяю: если ты сто лѣтъ въ первомъ классѣ просидишь — я и тогда не возьму тебя изъ заведенія! Сто лѣтъ буду за тебя деньги платить, а домой — ни-ни! Такъ тутъ и околѣвай!

Хмыловъ былъ принятъ, и быть можетъ, благодаря сторублевой рекомендаціи и ежегоднымъ присылкамъ живностью и домашними припасами, не былъ изгоняемъ изъ заведенія (въ то время еще не существовало правила, въ силу котораго больше двухъ лѣтъ въ одномъ и томъ же классѣ оставаться нельзя). Но съ тѣхъ поръ, какъ „палачъ“ поступилъ въ заведеніе, никто изъ родныхъ никогда не посѣтилъ его, такъ что онъ казался совсѣмъ забытымъ. Денегъ ему тоже никогда не присылали, а такъ какъ казенная пища была совершенно недостаточна для питанія его мощнаго организма, то онъ всегда былъ голоденъ.

Чтобы наполнить желудокъ, онъ прибѣгалъ или къ обложению товарищей произвольными даями, или къ грабежу. Система даней заключалась въ томъ, что онъ заказывалъ тремъ-четыремъ ученикамъ (обыкновенно выбирая самыхъ робкихъ): кому полбулки, кому буттербродъ съ мясомъ.

— Слыхалъ я, говорилъ онъ: — что буттерброды дѣлаются такимъ образомъ: взявъ два куска хлѣба, положить ихъ одинъ на другой, а посрединѣ помѣстить кусокъ жареной говядины...

Или:

— Другіе за булку даютъ два листа бумаги, а я беру только полбулки, и не даю ничего...

И былъ увѣренъ, что у него будетъ столько полбулокъ и буттербродовъ, сколько онъ пожелаетъ.

Система грабежа заключалась въ томъ, что въ пріемные дни, когда воспитанниковъ посѣщали родные, „палачъ“ становился господа ташкентцы.

у дверей приёмной комнаты и съ волненіемъ прислушивался и приглядывался въ замочную скважину. По формѣ передаваемыхъ пакетовъ, онъ угадывалъ объ ихъ содержаніи, и затѣмъ, какъ хищный звѣрь въ клѣткѣ, начиналъ безпокойно метаться по корридору, ведущему изъ приёмной въ классъ. Ученики знали этотъ обычай, и безъ прекословія вынимали кто пирогъ, кто яблоко, кто горсть орѣховъ, и отдавали „палачу“. Въ эти минуты, онъ былъ почти ласковъ. Онъ обиралъ дани въ громадный бумажный тюрикъ, и по окончаніи грабежа, отправлялся въ классъ на заднюю скамейку, гдѣ онъ имѣлъ постоянное пребываніе, и которая поэтому называлась „палачевскою“. Тамъ онъ раскладывалъ награбленное добро, рассортировывалъ его, и затѣмъ начиналъ истреблять.

— Господа! „Палачъ“ жреть! раздавалось по классу.

Это былъ самый ненавистный для него крикъ, потому что, вслѣдъ за тѣмъ, мальчишки, какъ бѣсенята, вскарабкивались на скамейки, подбѣгали къ „палачевской“, бросали въ „палача“ пескомъ и книгами, и вообще старались всячески портить „палачевъ кормъ“. „Палачъ“ огрызался и рычалъ, но не рѣшался оставить мѣсто, потому что по опыту зналъ, что если онъ хоть на минуту погонится за кѣмъ-нибудь изъ своихъ мучителей, то кормъ его будетъ мгновенно расхищенъ. Поэтому, онъ старался какъ можно скорѣе уничтожить награбленное, и когда процесъ истребленія приходилъ къ концу, отяжелѣвалъ. Въ такихъ случаяхъ, онъ бокомъ садился на лавкѣ, и посоловѣлыми глазами смотрѣлъ въ упоръ на разсѣявшуюся мелюзгу, улыбаясь, барабани пальцами по конторкѣ, и какъ бы говоря: а ну-те, не угодно ли будетъ пристать ко мнѣ теперь!

По субботамъ, „палача“ сѣкли. Въ заведеніи, гдѣ онъ воспитывался, существовало насчетъ этого очень своеобразное обыкновеніе. Каждую субботу, послѣ всенощной, учениковъ строили въ два ряда по бокамъ рекреационной залы, и затѣмъ, по воцареніи гробовой тишины, инспекторъ классовъ громкимъ и яснымъ голосомъ вызывалъ на середину тѣхъ, которые получили, въ теченіе недѣли, извѣстное число нулей.

— Господинъ Хмыловъ! обыкновенно начиналъ инспекторъ.

Хмыловъ выходилъ и изподлбья высматривалъ, какой урядникъ будетъ съчъ, Кочуринъ или Купцовъ, такъ какъ Кочуринъ сѣкъ больно, а Купцовъ—нестерпимо. Сообразно съ этимъ, онъ возвышалъ или понижалъ температуру своего духа, и затѣмъ, молча перекрестясь, дожился на скамейку.

— Шестнадцать! командовалъ инспекторъ.

— Василій Ипатычъ: не приказывайте держать! уже лежа обращался къ нему Хмыловъ.

— Дядьки! оставить господина Хмылова лежать свободно!

— Ж-ж-ж-и-и! раздавалось въ воздухѣ.

Хмыловъ лежалъ вольно и не испускалъ ни единого стога. Иногда онъ закусывалъ губу и съ ожесточеніемъ царапалъ себѣ грудь, чтобы нейтрализовать одну боль посредствомъ другой. Когда отсчитывали послѣдній, шестидесятый ударъ, онъ проворно соскакивалъ со скамейки, и, какъ ни въ чемъ не бывало, принимался натаскивать на себя нижнее платье.

Между учениками ходила легенда, будто „Танька, ростовинская разбойница“, еще въ дѣтствѣ выкупала „палача“ въ какомъ-то болотѣ, въ мертвой водѣ, и съ тѣхъ поръ палачево тѣло сдѣлалось твердо, какъ чугуны.

Но въ одну изъ субботъ совершилось нѣчто совсѣмъ непредвидѣнное. Инспекторъ классовъ, сдѣлавъ обычный парадъ, вдругъ, сверхъ всякаго чаянія, объявилъ:

— Въ теченіе цѣлой недѣли, господинъ Хмыловъ получилъ только одинъ нуль, и потому сѣченъ сегодня не будетъ. Во вниманіе къ столь очевидному знаку милосердія Божія, всѣмъ лѣнтямъ, съ разрѣшенія господина директора, объявляется на сей разъ прощеніе! Господа! будьте признательны господину Хмылову.

„Палачъ“ вдругъ сдѣлался героемъ дня. Его окружили и поздравляли со всѣхъ сторонъ, но онъ казался скорѣе сконфуженнымъ, нежели обрадованнымъ. Удивленно озирался онъ по сторонамъ и очевидно недоумѣвалъ, серьезно ли его поздравляютъ или нѣтъ. И сомнѣнія его были далеко небезъосновательны, потому что поздравленія съ каждой минутой дѣлались шумнѣе и шумнѣе, и наконецъ, превратились въ явное приставанье.

— Палачъ! палачъ! раздавалось со всѣхъ сторонъ.

И черезъ минуту, Хмыловъ, съ налитыми кровью глазами, уже бѣжалъ безъ памяти по корридору, преслѣдуемый криками безпощадной мелюзги.

У „палача“ былъ только одинъ другъ — „Агашка“.

Судя по кличкѣ, можно бы предположить въ этомъ юношѣ что нибудь женственное, но въ дѣйствительности было совершенно противное. „Агашка“ былъ рослый дѣтина, столь же сильный, какъ „палачъ“, и въ то же время безусловно безобразный. Круглое, плоское и скуластое лицо его, снабженное маленькими глазками, широкимъ ртомъ, и мясистымъ носомъ, съ раздувающимися ноздрями и почти безъ переносицы, было до такой степени оригинально, что сразу вызвало потребность окрестить обладателя этихъ сокровищъ какимъ нибудь прозвищемъ. И вотъ, когда онъ въ первый разъ вошелъ новичкомъ въ классъ, одинъ изъ учениковъ, взглянувъ на него, крикнулъ:



„Господа! Агашка пришла!“ И должно быть, прозвище попалось мѣтко, потому что съ тѣхъ поръ новичекъ такъ и пошелъ гулять съ нимъ по заведенію.

Настоящая фамилія „Агашки“ была Голопятовъ, а родомъ онъ былъ изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ той же Орловской губерніи, откуда происходилъ и „палачъ“. Это былъ первымъ поводомъ для сближенія между ними.

Однажды, по окончаніи классовъ, встрѣтившись съ Голопятовымъ въ корридорѣ, „палачъ“ первый подошелъ къ нему.

— Вы откуда? спросилъ онъ его.

— Орловской губерніи Мценскаго уѣзда.

— Значить, Амченина къ намъ на дворъ... такъ?

— Пожалуй.

— Ну, а я Кромской. Орелъ да Кромы—первые воры. Будемъ знакомы.

Вторымъ поводомъ къ дружбѣ была физическая сила, которою несомнѣнно обладалъ „Агашка“. До поступленія его, „палачъ“ чувствовалъ себя одинокимъ; теперь онъ получилъ возможность тягаться, бороться и вообще производить всяческіе эксперименты силы. Какъ только звонокъ возвѣщалъ релаксацію, оба спѣшили въ залъ и вступали въ единоборство. „Агашка“ былъ простъ, и потому бился чисто, такъ сказать, первобытно; „палачъ“ былъ лукавъ, и потому увертывался, извивался, пользовался слабыми сторонами противника и прибѣгалъ къ подножкамъ. Поэтому, первый былъ почти всегда побѣждаемъ, но второй все-таки понималъ, что неровенъ случай, и „Агашка“ можетъ искалѣчить его. Уставши бороться, они ходили взадъ и впередъ по корридору, разговаривая о силѣ, приводя примѣры силы и предаваясь самому фантастическому лганию по поводу силы.

— У меня дядя телегу за колесо на всемъ скаку останавливаетъ! хвастался „Агашка“.

— А у меня былъ прадѣдушка, такъ тотъ однажды у черкаскаго быка рогъ изъ лба вывернулъ! отзывался „палачъ“.—Да онъ и фальшивую монету дѣлалъ! прибавлялъ онъ совсѣмъ неожиданно.

Когда и этотъ разговоръ истощался, они молча сравнивали свои кулаки: и тотъ и другой выставить кулакъ, и мѣряются.

— Только у меня, братъ, костистѣе, молвить „палачъ“:—мой кулакъ настоящій... сухой!

— Ну, братъ, и моимъ можно душу изъ оглоблей вышибить! возразить „Агашка“.

И опять начнутъ молча ходить, покуда опять придетъ охота мѣрить кулаки.

Иногда разговоръ разнообразился.

— Ты какъ полагаешь, Хмыловъ? спросилъ Агашка: — кто шибче деретъ, Кочуринъ или Купцовъ?

— Кочуринъ шибче, Купцовъ больнѣй. У Кочурина рука вольная, и сердце играетъ; у Купцова рука словно какъ не своя, да и деретъ онъ словно какъ не самъ. Кочуринъ до тридцати ударовъ рубцы только владеть, а Купцовъ съ перваго удара кожу просѣкаетъ. Купцова я боюсь.

— Да, это такъ. Купцовъ—это, я тебѣ скажу...

— Нѣтъ, прошлаго года, какъ-то разъ оба урядника больны или въ отлучкѣ были, такъ меня, вмѣсто нихъ, ламповщикъ дралъ... вотъ я тебѣ скажу дралъ!

— Больно?

— Шкуру спустил! Довольно тебѣ сказать, что даже я обезумѣлъ! Какъ только это шестьдесятъ сосчитали, такъ я, самъ ужъ не помню какъ, при всѣхъ и при инспекторѣ, сейчасъ ему въ зубы!

Молчаніе.

— Гм... Нѣтъ, вотъ на площади, должно быть, дерутъ! задумчиво молвить „Агашка“.

Опять молчаніе.

— Слыхалъ я, что средство есть, опять молвить „Агашка“.

— Это масломъ натираться? Пробовалъ я.

— Лучше?

— Оно, конечно... какъ не лучше! Скользитъ! Да только инспекторъ-шельма сейчасъ же рассмотрѣлъ—такъ и сыгралъ я въ ничью. Нѣтъ, да это что! хорошо бы вотъ въ юнкера поступить!

— Да, дранья-то бы не было!

— Въ юнкерахъ-то? Что ты! опомнись! да тамъ такъ дерутъ... такъ дерутъ! А ужъ какъ бы начальство осталось довольно! То-есть, скажи только: жги! рви!.. ну, то-есть, такъ бы...

Повременамъ, друзья подходили къ уряднику Кочурину, который черезъ день дежурилъ въ корридорѣ.

— А что, Кочуринъ, твоя, что ли, очередь драть въ слѣдующую субботу? интересовался „палачъ“.

— Моя.

— То-то; ты, братъ, не очень!

— Распишу—ничего!

— Нѣтъ, братъ, я тебѣ говорю, ты не очень! потому, братъ, я и самъ... я, братъ, и въ зубы...

По воскресеньямъ, друзья чувствовали какую-то особливую, бѣшеную скуку. Оба были забыты родственниками, оба нигуда не выходили изъ стѣнъ заведенія. Наборовшись досыта, пере-

сказавши другъ другу всевозможные анекдоты о силѣ, они начинали придумывать, какъ бы уразнообразить день.

— Косушку надо, рѣшалъ „палачъ“.

— Можно бы и полштофъ, только деньги какъ? Слимонить нынче трудно: начали, подлецы, заирать.

— Вотъ я намѣднись грамматику Цумпта нашель, — развѣ ее въ мытье снести?..

— Ладно. Валяй, Хмыловъ, къ Кольчугину! А коли еще Евтропія на придачу захватишь—два двугривенныхъ... это какъ-калать!

„Палачъ“ перелѣзаетъ черезъ ограду сада, и въ одной курткѣ, безъ шапки, бѣжитъ вонъ изъ заведенія. Черезъ часъ, друзья уже пріютились гдѣ-нибудь въ темномъ углу, распииваютъ сивуху и заѣдаютъ ее колбасой.

— Ты больше ѣшь, Голопятовъ, уговариваетъ „палачъ“: — потому, ежели теперича пить да не ѣсть—бѣда!

— Да, это такъ, при винѣ безъ ѣды нельзя, отвѣчаетъ „Агашка“! — у меня тоже дядя былъ, такъ тотъ ничего не ѣлъ, только развѣ маленькій кусочекъ хлѣба съ солью, а все пилъ, все пилъ; такъ повѣришь ли, подъ конецъ онъ словно ртутью налитой сдѣлался! Руки дрожать, голова мотается... страсть!

Черезъ два часа, оба спятъ какъ убитые, растянувшись на лавкѣ.

Однажды въ годъ, передъ каникулами, за „палачемъ“ пріѣхалъ разсылный изъ земскаго суда, въ кибиткѣ, запряженной парю тощихъ обывательскихъ лошадей. Ученики чутьемъ угадывали этотъ пріѣздъ, и черезъ минуту разсылнаго уже со всѣхъ сторонъ обступала мелюзга.

— За палачемъ пріѣхалъ?

— Танька, ростокинская разбойница, жива?

— Въ какомъ лѣсу вы нынче на промыселъ выходите?

Разсылный таращилъ глаза, не понимая сыплющихся на него вопросовъ.

— За кѣмъ ты пріѣхалъ? переспрашивалъ его кто-нибудь вновь.

— За барченкомъ, за Максимомъ Петровичемъ.

— Ну, онъ самый — палачъ и есть. А отецъ у него тоже палачъ? И мать—палачиха?

Такого рода сцены повергали Хмылова въ неописанное волненіе. Онъ за нѣсколько нѣдель начиналъ готовиться къ нимъ, и старался устроить какъ-нибудь такъ, чтобы выскользнуть изъ заведенія незамѣченнымъ. Но это никогда ему не удавалось, благодаря неповоротливости разсылнаго и прозорливости уче-

никовъ. Сконфуженный, выходилъ онъ въ швейцарскую, и бросая направо и налево тревожные взоры, спѣшилъ какъ можно скорѣе юркнуть на улицу.

— Палачъ! кричали ему вслѣдъ.

Кибитка, покачиваясь и подскакивая по мостовой, трускомъ удаляется отъ стѣнъ заведенія, и, наконецъ, совсѣмъ выѣзжаетъ изъ Москвы. Очутившись за городомъ, Хмыловъ поспѣшно снимаетъ съ себя куртку, съ наслажденіемъ вдыхаетъ зараженный воздухъ заставы, и жадно вглядывается въ безконечно вьющуюся впереди ленту большой дороги.

— Ишь ты, дорога-то! говорить онъ.

— Да... большая! отзывается съ облучка разсылный: — а позволю, Максимъ Петровичъ, узнать, за что они тебя палачемъ обзываютъ?

— Такъ... подлещы... не знаютъ сами... жрать хочу... денегъ нѣтъ... грабить долженъ! безсвязно бормочетъ „палачъ“, и въ голосъ его слышится несвойственное ему дрожаніе.

„Палачъ“ отворачивается и глядитъ въ сторону. Въ эту минуту его ненавистное прозвище жжетъ его.

— Какой я палачъ, Сергеичъ! наконецъ произносить онъ: — я волкъ—вотъ что!

— Ужъ будто и волкъ?

— Да, волкъ. Голодень... всегда... вотъ какъ волкъ... ну, и травятъ!

Сергеичъ задумчиво покачиваетъ головой.

— А ты бы, сударь, не все грабежемъ, говорить онъ: — а иногда и лаской. Вотъ папеньку-то за грабежъ нонѣ подъ судъ отдали?

— Врешь?

— Всѣхъ отдали подъ сидъ: и папеньку, и дяденьку Софрона Матвѣича. Софронъ-то Матвѣичъ, сказываютъ, такихъ дѣловъ надѣлалъ. что и каторги-то ему, слышь мало.

— Вре-ешь?

Лицо Хмылова оживляется и свѣтлѣетъ. Выраженіе этого лица какъ будто говоритъ: ай-да молодцы... Хмыловскіе!

— Вѣрно говорю, продолжаетъ Сергеичъ. — Теперича изъ губерніи цѣлый кагалъ пріѣхалъ Софрона-то Матвѣича судить. Такъ онъ передъ ними, передъ чиновниками-то, словно въонъ на скородѣ—такъ и пляшетъ!

— Врешь!—не станетъ дядя подличать! На каторгу, такъ на каторгу—развѣ на каторгѣ не тѣ же люди живутъ! Вотъ я хоть сейчасъ... что же!

„Палачъ“ задумывается; въ воображеніи его рисуется „ни-

жегородка“, этапная тюрьма, конвой, угрюмые лица арестантов, и среди ихъ онъ, звенящій кандалами и наручниками...

— Ну, что, а Маришка какъ? спрашиваетъ онъ, выходя изъ задумчивости.

— Маришку бросить надо — вотъ что. Она нынче и легла и встала — все съ Оедькой поваромъ!

— Ишь подлая!.. А Микешка-фалетуръ?

— Микешкѣ баринъ намедни съ казалъ, что только ему и озоровать, что до первого набора!

— Вре-ешь?

Черезъ шесть часовъ, обывательскія лошаденки кой-какъ дотаскиваютъ путешественниковъ до Подольска, гдѣ назначенъ первый растахъ. Сергеевъ суетится около кибитки, вытаскивая изъ подъ сѣна кулекъ съ залежавшеюся домашней провизіей. „Палачъ“ усматриваетъ, между тѣмъ, висящій на гвоздѣхъ у облучка Сергеева кيسетъ съ махоркой, и потихоньку высыпаетъ изъ него трубки на двѣ табаку.

— Что-жъ ты не спросишь, здоровы ли папенька съ маменькой? укоризненно говоритъ ему Сергеевъ на постояломъ дворѣ, гдѣ Хмыловъ успѣлъ ужъ расположиться подъ образами, и съ жадностью оплетаетъ жареную курицу.

— А ну ихъ! денегъ не даютъ!

Черезъ четверть часа, онъ стоитъ подъ навѣсомъ постоялаго двора, и цѣлится камнемъ въ курицу, копающуюся въ навозѣ.

Курица испускаетъ неистовое кудахтанье, и отчаянно хлопая крыльями, убѣгаетъ.

Въ прежнія времена, небогатые помѣщики, при выборѣ усадебной оѣдлости, руководствовались слѣдующими соображеніями: во-первыхъ, чтобы церковь стояла передъ глазами, а во-вторыхъ, чтобы мужикъ всегда подъ руками былъ. Отгородить помѣщикъ попросторнѣе мѣстечко въ ряду съ крестьянскими избами (большей частью въ низинкѣ, чтобъ зимой теплѣе было), и складеть тамъ домъ не домъ, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, что зимой заноситъ снѣгомъ, а лѣтомъ чуть-чуть виднѣется изъ-за тына. Потомъ, спереди разведетъ палисадникъ, въ которомъ не то что гулять, а повернуться негдѣ, а сзади и по бокамъ настроятъ людскихъ, да застольныхъ, да амбарушекъ, да клѣтушекъ — и пойдетъ этотъ нескладный сбродъ строеній чернѣть и ветшать подъ влияніемъ времени и непогодъ, да наполняться грязью, навозомъ

воюю. Ни сада, ни воды, ни даже просто дали передъ глазами. Только и вида, что церковь, сиротливо стоящая посреди площади, да направо и налево, рядъ покосившихся крестьянскихъ избъ, раздѣляемыхъ улицей, на которой отъ навоза и грязи проѣзда нѣтъ. За то, баринъ знаетъ, что въ какой избѣ дѣлается, что говорится, какой мужикъ по болѣзни не выходитъ на барщину, какой только отлыниваетъ, у кого отелилась корова, что принесла и т. д.

Такого именно сорта была усадьба Петра Матвѣича Хмылова, стоявшая на самой серединѣ небольшого села Вавилова. Тутъ все было пригнано къ общему типу помѣщичьихъ усадебъ средней руки: и почернѣвшій одноэтажный домъ съ подслѣповатыми окнами и ветхою крышей, и классическій палисадникъ, и великое множество клѣтушекъ, въ которыхъ десятками лѣтъ скоплялся и сберегался никому ненужный хламъ. Внутри дома,—дрожащія половицы, стѣны, оклеенныя побѣленной газетной бумагой, мебель, на которой жутко сидѣть, и великое изобиліе бутылей съ настойками и наливками, разставленныхъ по окнамъ. Въ домѣ—отсутствіе воды, тѣни, всего, на чемъ могъ бы отдохнуть глазъ. Куда ни взглянешь—вездѣ навозъ и грязь. Даже прудъ, выкопанный въ сторонѣ на площади,—и тотъ покрытъ плѣсенью и пухомъ домашней птицы, а по берегамъ до безобразія изрытъ и загаженъ.

Въ усадьбѣ Петра Матвѣича живутъ три поколѣнія. Онъ самъ съ женою Ариной Тимофеевной, два сына подростка (независимо отъ „палача“, съ которыми мы ужъ познакомились) и старшій дѣдушка Матвѣй Никанорычъ. Братецъ Софронъ Матвѣичъ владѣетъ собственной усадьбой, стоящей на той же площади, въ нѣсколькихъ десяткахъ саженой отъ главной усадьбы.

Дѣдушкѣ за восемьдесятъ лѣтъ; онъ совсѣмъ выжилъ изъ ума и помнить одно слово: рви! Лѣтъ двадцать назадъ (въ концѣ двадцатыхъ годовъ), онъ сотворилъ какую-то совершенно неслыханную штуку, за которую быть бы ему на каторгѣ, еслибъ добрые люди не надумали его сказаться умершимъ. Вздумано-сдѣлано; добыли форменное свидѣтельство, что такого-то числа и года боларинъ Матвѣй Никаноровъ Хмыловъ волею божіею помре, представили документъ въ уголовную палату—и живетъ съ тѣхъ поръ старикъ, въ видѣ контробанды, на усадьбѣ у старшаго сына Петра Матвѣича.

Дѣдушка, несмотря на преклонныя лѣта, старикъ бодрый и блаженной. Взамѣнъ потухшаго ума, въ немъ развилась назойливость, проказливость, которая никому не даетъ покоя. Съ утра до вечера, онъ неутомимо шнырять изъ комнаты въ комнату, тутъ отдереть отъ стѣны кусокъ обоевъ, тамъ — обмазать ме-

бель грязью или жованнымъ хлѣбомъ. И все время неумол-  
ваемо бормочеть и свистить. „Согрѣшили мы!“ говорить, глядя  
на него Арина Тимофеевна, и съ какою-то безнадежностью  
ждать, что вотъ-вотъ онъ или домъ подожжетъ, или битаго  
стекла въ наливку насыплеть, или дѣвѣ Маршѣ глаза пес-  
комъ засорить. Но домашніе не рѣшаются поступать съ нимъ  
круто, потому что подозрѣваютъ, что у него есть значительный  
кушъ, который онъ припряталъ въ то время, когда рѣшился  
сказаться умершимъ. Куда онъ спряталъ свое имущество—это-  
го, несмотря на всѣ старанія, никто доисаться не можетъ, но  
загадочность нѣкоторыхъ поступковъ полупомѣшаннаго старика  
даетъ полный поводъ предполагать, что дѣйствительно старикъ  
что-то скрываетъ. Повременамъ, онъ исчезаетъ куда-то, словно  
сквозь землю проваливается, и всегда неожиданно, сюрпризомъ.  
Едва успѣютъ хватиться старика, а онъ ужъ опять тутъ какъ  
тутъ, откуда-то возвращается и знай себѣ бормочеть да по-  
свистываетъ. Все это, разумѣется, интриговало и даже мучило  
домашнихъ, и Петръ Матвѣичъ, который даже въ пьяномъ  
видѣ не переставалъ быть почтительнымъ сыномъ, не разъ при-  
ступалъ къ отцу съ объясненіями по этому предмету.

— Откройтесь! говорилъ онъ: — откройтесь, добрый другъ  
папенька! снимите съ души вашей тяжкій грѣхъ!

Но старикъ безсмысленно смотрѣлъ на него и бормоталъ:

— Рви... самъ... самъ... самъ рви!

Пробовалъ заводить рѣчь объ этой матеріи и Софронъ Мат-  
вѣичъ: этотъ старался подѣйствовать на воображеніе старика  
не столько почтительностью, сколько угрозою.

— Папенька! говорилъ онъ: — вѣдь ежели теперича допро-  
сить васъ какъ слѣдуетъ — вѣдь вы скажете-съ! какъ святъ  
Богъ скажете-съ!

Но на это увѣщаніе, старикъ даже не произносилъ своего  
любимаго сына „рви“, а только слегка вздрагивалъ и измѣ-  
нялся въ лицѣ. Быть можетъ, онъ смутно догадывался, что  
Софронъ Матвѣичъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, кото-  
рые, разъ рѣшивъ въ умѣ своемъ предпріятіе, ни надъ чѣмъ  
не задумаются, чтобъ достигнуть его осуществленія.

Наконецъ, прибѣгали и къ третьему способу: заставляли дѣ-  
тей слѣдить за старикомъ. И дѣйствительно, младшему сыну,  
Ванѣ, чуть-чуть не удалось напасть на слѣдъ. Однажды, онъ  
подсмотрѣлъ, какъ дѣдушка вышелъ изъ дома, какъ онъ пере-  
шелъ черезъ дворъ, и потомъ, согнувшись и подобравши полы  
халата, сталъ куда-то прокрадываться позади скотныхъ избъ.  
Но покуда маленькій шпіонъ раздумывалъ, не лечь ли ему на  
брюхо, чтобъ ловчѣе подползти къ старику, послѣдній точно

чутьемъ догадался, что за нимъ слѣдятъ. Онъ внезапно выпрыгнулъ во весь ростъ, какъ ни въ чемъ не бывало повернулъ назадъ, и, поровнявшись съ внукомъ, поднялъ его за плечи на воздухъ...

Съ тѣхъ поръ, дѣдушку оставили въ покоѣ и, съ какимъ-то тупымъ недоумѣніемъ ожидали, что вотъ-вотъ или умретъ старикъ, или переимѣнитъ форму ассигнацій — и тогда пиши пропало. Софронъ Матвѣичъ съ особенной настойчивостью указывалъ брату на эти случайности.

— Покаетесь, братецъ, да поздно будетъ! говорилъ онъ своимъ хнычущимъ, вередчивымъ голосомъ, звукъ котораго былъ до такой степени мучителенъ, что Арина Тимофеевна, несмотря на двадцать пять лѣтъ жизни въ семействѣ Хмыловыхъ, не могла его слышать безъ того, чтобъ въ ней не упало сердце.

Петръ Матвѣичъ, вмѣсто отвѣта, какъ-то алчно вздрагивалъ и дико вращалъ глазами.

— Я самъ родителя моего чту, продолжалъ между тѣмъ Софронъ Матвѣичъ: — и каждый день, утромъ и вечеромъ, возношу сердце объ ихъ долголѣтіи. Однако, и за всѣмъ тѣмъ, съ своей стороны мнѣніемъ полагалъ бы, что ежели теперича, безъ ущерба для ихъ здравія, на время ихъ въ чуланъ запереть, или, напримѣръ, въ пищѣ сокращеніе допустить...

Петръ Матвѣичъ, не дослушавъ до конца, вскакивалъ какъ ужаленный, и съ простертыми дланями устремлялся впередъ, самъ не зная куда.

— Куда ты? куда? на убійство собрался? кричала ему вслѣдъ Арина Тимофеевна; — ишь тебя „зуда“-то раззудилъ! И глаза, какъ у быка, кровью налились!

Но старикъ и самъ предупреждалъ возможность „убійства“. Почувявъ, что объ немъ идетъ рѣчь, онъ скрывался въ чуланъ, или на сѣноваль, или въ другое неприступное мѣсто, и оставался тамъ до тѣхъ поръ, пока наступившая въ домѣ тишина не удостовѣряла, что Софронъ Матвѣичъ ушелъ во свояси, а Петръ Матвѣичъ, окончательно ошалѣлый отъ водки, заснулъ гдѣ-нибудь богатырскимъ сномъ.

Такъ шли дни за днями, и старикъ продолжалъ жить, оставаясь загадкой для цѣлаго семейства. Никто не могъ сказать навѣрное, въ умѣ ли онъ, или не въ разумѣ, а также при чемъ онъ состоитъ: при настоящемъ ли капиталѣ, заключающемся въ ассигнаціяхъ, или при кучѣ старой газетной бумаги, которую онъ, быть можетъ, и самъ принималъ за кучу ассигнацій.

Петра Матвѣича многіе разумѣли злымъ человекомъ, но го-



вори по правдѣ, онъ былъ ни добръ, ни золь, а только черезъ мѣру лихъ. Разсудка онъ не имѣлъ, но, несмотря на свои слѣпкомъ пятьдесятъ лѣтъ, обладалъ замѣчательно горячимъ темпераментомъ, которымъ и руководствовался во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Это была, такъ сказать, талантливая скотина, готовая бѣжать, летѣть въ огонь, въ воду, въ преисподнюю, бить, сокрушать, вездѣ, всегда, во всякое время, на всякомъ мѣстѣ. Только на небо влѣзть онъ не могъ, да и то потому, что читая каждый день „иже еси на небеси“, полагалъ, что тамъ живетъ какое-то особенное, ужъ совсѣмъ высшее начальство, контролировать которое ему, исправнику, не по чину. Мѣстные помѣщики знали эту всегдашнюю готовность Хмылова, и говоря объ немъ, выражались такъ: у насъ исправникъ лихой! онъ подтянетъ! И онъ дѣйствительно съ такою любовью предавался подтягиванію, что даже постоянного мѣстожительства нигдѣ, кромѣ тарантаса, указать не могъ. Подобно буйному вихрю, рыскалъ онъ день и ночь по угламъ и закоулкамъ уѣзда, издавѣка грозясь нагайкою и собственноручно творя судъ и праву. Онъ налеталъ какъ орелъ изъ-за сизыхъ тучъ, и сѣлъ. Затѣмъ, летѣлъ дальше, опять сѣлъ, и опять летѣлъ дальше. Чтѣ такое сѣченіе? Какое ощущение вызываетъ оно въ истязуемомъ субъектѣ? Эти вопросы никогда не являлись его уму, потому что и самое сѣченіе было, въ его глазахъ, только обрядомъ, входящимъ въ кругъ его обязанностей, какъ исправника. Онъ зналъ, что въ однихъ случаяхъ нужно надѣть мундиръ, въ другихъ — сѣчь, и согласно съ этимъ располагалъ своими поступками. „Запору!“ „въ гробъ заколочу!“ „въ бараній рогъ согну!“ — таковъ былъ обычный способъ его собесѣдованія, и онъ произносилъ эти слова безъ сознательной злобы, хотя голосъ его гремѣлъ какъ труба, глаза таращились, и у рта показывалась пѣна. Онъ не понималъ, чтобъ исправникъ могъ говорить, не обрывая, не простирая рукъ и не сквернословя. Въ сквернословіи видѣлъ онъ почти обязательную формальность, соблюденіе которой влекло за собой для него названія: „молодецъ“ и „лихой“, несоблюденіе — названія: „ямля“, „тряпка“ и „баба“.

— Ужъ это, батюшка, должность такая, объяснилъ онъ: — новѣсь-ка я на стѣну вотъ этотъ инструментъ (онъ указывалъ на нагайку) — голову на отсѣченіе отдаю, что черезъ два дня весь уѣздъ вверхъ ногами пойдетъ!

И дѣйствительно, никогда, даже дома, не выпускалъ нагайки изъ рукъ.

Взятку онъ любилъ, но никогда не подбирался къ ней, какъ тать въ нощи, не сочинялъ предварительныхъ проектовъ на

счесть ея обрѣтенія, не каверзничать, а брать съ маху. И притомъ брать исключительно съ имущихъ, а не имущихъ только съкъ. Сѣченіе представляло, въ его глазахъ, прерогативу; взятка была лишь уступкой мамонѣ, дѣлаемой нерѣдко даже въ ущербъ прерогативѣ. Поэтому, онъ и взятку старался облечь въ форму грабежа. Нужно денегъ—летитъ на гуртовщика, потомъ летитъ на лѣсопромышленника, потомъ на содержателя крупчатной мельницы, и всегда беретъ безъ дѣла, безъ повода, здорово живешь. Нѣтъ нужды въ деньгахъ—оставляетъ толстосумовъ въ покоѣ, а неимущихъ продолжаетъ сѣчь. Иногда онъ выказывалъ даже замѣчательное безкорыстіе, и дѣлалъ въ назначенныхъ къ полученію кушакъ значительныя и ничѣмъ не мотивируемыя сбавки. Но это допускалось лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда пациенты льстили его самолюбію, то-есть говорили ему въ глаза, что онъ лихой, что онъ въ одномъ своемъ кулакѣ держитъ цѣлый уѣздъ, и что не будь его—имъ пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту слабую струну исправника и пользовались ею.

— А я, сударь, былъ намеренъ въ Латышовѣ, говорить, напимѣрь, промышленникъ, на котораго наложена сторублевая дань:—ну и подивился-таки!

— А что?

— Шолоковые стали съ тѣхъ поръ, какъ ручки-то вашей отвѣдали!

— То-то; васъ не подтяни, вы всѣ разбойниками будете!

— Чтò говорить! по нашемъ братѣ палка плачетъ — это вѣрно!

— Ну, чортъ съ тобой, давай пятидесятную... живо!

Благодаря этому обстоятельству, у него никогда не было лишнихъ денегъ, да и тѣ, которыя были, онъ любилъ пропить, прогулять и вообще разсорить болѣе или менѣе непродизводительнымъ образомъ.

— Я, говорилъ онъ:—не то, что другіе; я съ народа беру, да въ народъ же и пуцаю.

Водку онъ пилъ не запоемъ, но во всякое время и столь же много, какъ бы запоемъ. Поэтому, хотя онъ никогда не бывалъ окончательно и безобразно пьянъ, но постоянно находился въ туманѣ и никогда отчетливо не понималъ, куда тычетъ руками. Тамъ, гдѣ онъ „раскидывалъ свой шатеръ“, происходило одно изъ двухъ: либо сѣченье, либо гульба. Поэтому, господа дворяне выражались, что онъ проживаетъ свои доходы какъ благородный человѣкъ, а толстосумы даже называли его душевнымъ человѣкомъ.

— У насъ исправникъ — душа человѣкъ! говорили они:—

онъ съ тебя возьметъ, да онъ же и за столъ рядомъ съ собою посадить!

Передъ начальствомъ Петръ Матвѣичъ трепеталъ. Но не просто трепеталъ, а любилъ трепетать, трепетать не только за страхъ, но и за совѣсть. Онъ страстно любилъ встрѣчать, провожать, устремляться, застывать на мѣстѣ, рапортовать, а потому всякій проѣздъ начальства, хотя бы и не совсѣмъ того вѣдомства, къ которому онъ принадлежалъ, былъ для него торжествомъ. Прознавъ о предстоящемъ „прослѣдованіи“ черезъ его уѣздъ, онъ загодя приходилъ въ волненіе, заготавливалъ квари-тиры, сѣялъ направо и налево мужицкіе зубы, и даже прекращалъ на время употребленіе водки, такъ что самое лицо дѣлалось у него блѣлое. Подстергши начальство, подъ дождемъ и морозомъ, на границѣ уѣзда, онъ вытягивался въ струну, замиралъ и рапортовалъ; потомъ кидался въ телѣгу и какъ бѣшеный скакалъ впередъ, оглашая воздухъ гиканьемъ.

— Мы, батюшка, передъ начальствомъ—все одно, что борзья-съ, говорилъ онъ:—прикажутъ: разорви!—и разорвемъ-съ!

И точно, слушая, какъ онъ говорилъ это, видя, какъ онъ вращалъ при этомъ глазами, и какъ лицо его становилось изъ красного фіолетовымъ и даже синеватымъ, невозможно было усомниться ни на минуту. Разорветъ.

Начальство знало это и хвалило Хмылова.

— Хмыловъ, выражалось оно:—это лихой! этотъ подтянетъ!

Даже крестьянскіе мальчики, и тѣ, наслушавшись расточаемыхъ со всѣхъ сторонъ Хмылову похвальныхъ аттестацій, говорили:

— Вотъ погоди! уже проѣдетъ исправникъ—онъ те подтянетъ!

Дома Петръ Матвѣичъ бывалъ только наѣздами, на сутки, на двое, не больше. Налетитъ, перевернетъ все и всѣхъ вверхъ дномъ — и опять исчезнетъ недѣли на двѣ. Онъ самъ охотно сознавался, что ничего не смыслить въ деревенскомъ хозяйствѣ, и ставить это себѣ не въ порокъ, а въ достоинство.

— Какой я деревенскій хозяинъ! выражался онъ: — я хозяинъ уѣзда — вотъ я кто!

Поэтому, какъ бразды хозяйственного управленія, такъ и воспитаніе дѣтей онъ вполне предоставилъ женѣ, требуя только, чтобы въ случаяхъ тѣлесной расправы съ дѣтьми, она не сама распоряжалась, а доводила о томъ до его свѣдѣнія.

— Вы, бабы, говорилъ онъ: — не сѣчете, а только мажете. А ихъ, разбойниковъ, надо такимъ манеромъ допросить, чтобъ они всю жизнь памятовали.

И такъ-какъ дѣти дѣйствительно росли разбойниками, то

каждый налетъ Петра Матвѣича въ деревню неизмѣнно сопровождался экзекуціей. „Въ гробъ ракалій заколочу!“ „Запорю мерзавцевъ!“—вотъ единственныя проявленія родственныхъ отношеній, которыя были обычными въ этой семьѣ. Но опять-таки и здѣсь на первомъ планѣ стояла не сознательная жестокость, а обрядъ. Петръ Матвѣичъ помнилъ, что онъ и самъ росъ разбойникомъ, что его самого и запарывали, и въ гробъ заколачивали, и что все это однакожь не помѣшало ему сдѣлаться „молодцомъ“. А слѣдовательно и дѣтямъ тѣ же пути не заказаны. Растутъ, растутъ разбойниками, а потомъ, глядишь, и сдѣлаются вдругъ „молодцами“.

Къ отцу Петръ Матвѣичъ относился довольно равнодушно. Хотя предположеніе о тайнственномъ капиталѣ и волновало его, но волновало лишь потому, что этимъ капиталомъ всѣ домашніе мозолили ему глаза. Но старикъ былъ къ нему почти ласковъ, и, повидимому, даже искалъ у него защиты противъ ехидства Софрона Матвѣича. Въ присутствіи старшаго сына, дѣдушка прекращалъ свои проказы, переставалъ бормотать, свистать и наполнять домъ гамомъ. По временамъ, онъ даже останавливался передъ Петромъ Матвѣичемъ, и съ какою-то непривычною ему задушевностью въ голосъ произносилъ:

— Рви!

— Помилуйте, папенька, я свои обязанности очень знаю! возражалъ на это Петръ Матвѣичъ.

Но старикъ оставался непреклоненъ и повторялъ:

— Рви! рви! рви!

Петръ Матвѣичъ на минуту задумывался, потомъ внезапно приказывалъ запрягать тарантасъ и летѣлъ на встрѣчу гурту.

Въ эти дни исправникъ былъ неумолимъ и грабилъ все, что положено, не поддаваясь ни резонамъ, ни лести.

Анна Тимофеевна была женщина смиренная, но отличалась тѣмъ, что даже въ домашнемъ обиходѣ никогда не могла съ точностію опредѣлить, чего ей хочется. Можетъ быть, поѣсть, можетъ быть, испить, а можетъ быть, и просто по двору побродить. Случилось это съ нею съ тѣхъ поръ, какъ Петръ Матвѣичъ (молодые еще они тогда были) однажды ударилъ ее подъ пьяную руку по темени.

— Какъ ударилъ онъ это меня по темю, рассказывала она всегдашней своей собесѣдницѣ, попадѣ: — такъ съ тѣхъ поръ и нѣтъ у меня понятія. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего хочется—не разберу.

Уже съ молодости она была рохлей, а съ годами свойство это возросло съ ней до геркулесовыхъ столбовъ. День-деньской она слоняется то по дому, то по двору, то по деревнѣ, тамъ

подбереть, тутъ погрозить, и все какъ-то безъ толку, словно въ просоньѣ. Идетъ невѣдомо куда, и такъ безнадежно смотритъ, какъ будто говоритъ: да уйдите вы, распостылые, съ моихъ глазъ долой! Потомъ на минуту встрепетъ и примется „настоящимъ манеромъ“ хозяйничать. Старосту назоветъ кровопивцемъ, повара — воромъ, дѣвку Маришку — паскудою. Совершивши этотъ подвигъ, опять притихнетъ, сядетъ у овна, разстегнетъ у блузы воротъ и высматриваетъ, не прошмыгнетъ ли черезъ дворъ Маришка-поганка на кухню къ подлецу Оедкѣ.

— И то бѣжить! бѣжить! вдругъ восклицаетъ она, стремительно вскакивая съ мѣста и съ какимъ-то жаднымъ любопытствомъ приглядываясь, какъ Маришка съ быстротою ящерицы скользитъ по двору, скользитъ, скользитъ, и наконецъ, проскальзываетъ въ отворенную дверь кухни.

Или вдругъ встревожится, отчего дѣтей долго не видать, а они ужъ тутъ какъ тутъ. Одного ведутъ за ухо, потому что у пѣтуха крыло камнемъ перешибъ; другой самъ бѣжить съ расквашеннымъ носомъ.

— Смерти на васъ нѣтъ! крикомъ крикнетъ Арина Тимофеевна, и тотчасъ же распорядится: одному дать щелчекъ въ лобъ, другому вихоръ надереть.

Такого рода хозяйственные и воспитательныя распоряженія исчерпывали собой весь день. Затѣмъ, вечера Арина Тимофеевна проводила въ обществѣ попади и жаловалась ей на судьбу.

— Нѣтъ моей жизни каторжнѣе, говорила она: — всѣмъ-то я припаси! всѣмъ-то я приготовай! И курочку-то подай! и супу-то свари! все я! все я!

Попадья покачивала головой и бросала кругомъ суровые взгляды, какъ бы выражая ими неодобреніе домашнимъ, причиняющимъ столько тревоги Аринѣ Тимофеевнѣ.

— Сколько старикъ одинъ слопаеть, такъ это Богъ только видитъ! Богъ только видитъ! продолжала хозяйка, ударяя себя кулакомъ въ грудь: — словно у него не брюхо, а прорва! Такъ и кладетъ! такъ и кладетъ! Набѣгается это день-деньской по угламъ-то, да пуще, да пуще!

— Слыжала я, сударыня, на счетъ крестовъ, которые каждому человѣку при рожденіи назначаются... вставляла свое слово попадья. Но Арина Тимофеевна не слушала ее и продолжала:

— И все-то мнѣ тошно! все-то мнѣ постыло! Вотъ хоть бы Маришка-поганка. Такъ хвостомъ и вертитъ, такъ и вертитъ! Каково мнѣ это видѣть-то!

Жалобы лились как рѣка, до тѣхъ поръ, пока самъ собою не истощался несложный репертуаръ ихъ. Тогда Арина Тимоѣевна прощальсѣ съ попадѣей, удалялась въ спальню и приносила Маришкѣ окончательную жалобу.

— Измучилась я съ вами, словно день-то были ворочала. Теперь бы вотъ Богу помолиться—анъ у меня и словъ никакихъ на языкѣ нѣтъ. А завтра опять вставай! опять на мужу мученскую выходи!

Еслибъ у Арины Тимоѣевны спросили, любить ли она мужа, она навѣрное отвѣтила бы: какъ не любить! вѣдь онъ мужъ! Еслибъ спросили, любить ли она дѣтей, она отвѣтила бы: какъ не любить! вѣдь они дѣти!

— Щемить мое сердце по нимъ! говорила она:—такъ-то щемить! такъ-то ноетъ!

Но въ чемъ именно проявлялось это материнское щемление сердца—этого конечно, не могъ бы опредѣлить мудрейшій изъ мудрецовъ. Иной разъ, щемить сердце отъ того, что севрюжинки солененькой захотѣлось; иной разъ отъ того, что кваску хорошо бы испить; иной разъ отъ того, что вдругъ обѣ дѣтяхъ дума въ голову западетъ.

— Это у тебя все отъ праздности, да отъ жиру! молвить ей въ упоръ Петръ Матвѣичъ, когда она черезчуръ разохается.

— Какъ же, съ жиру! дѣти-то чай мои! огрызнется она. Потомъ на минуту смолкнетъ и опять начнетъ у ней сердце щемить.

— Вотъ, скажете:—хорошо,—кабы у насъ домъ полная чаша былъ!

— Это еще что?

— Да такъ... все, чего ни потребуй, все бы сейчасъ... яичка бы захотѣлось—яичко бы на столъ! Говядинки... супцу... все бы сейчасъ, въ секунду!

— Вотъ дуру-то Богъ послалъ!

— По твоему, я дура, а по моему, ты дуракъ. Чѣмъ ругаться-то, лучше бы отъа допросилъ, куда онъ миллионъ свой спряталъ?

Среди фантазій, беспорядочно бродившихъ въ головѣ Арины Тимоѣевны, мысль о томъ, что у дѣдушки есть какой-то кушъ, который онъ неизвѣстно куда запряталъ, въ особенности угнетала ее. Она носилась съ этой мыслью съ утра до вечера, ложилась съ нею спать и, наконецъ, даже бредила ею во снѣ. Начавъ съ одной тысячи, воображеніе постепенно увеличивало и увеличивало вождѣнную сумму, и наконецъ, остановилось на миллионномъ размѣрѣ. Дальше, Арина Тимоѣевна не умѣла считать.

— А ты вѣрно знаешь, что миллионъ? спрашиваетъ ее Петръ Матвѣичъ.

— Какъ же не вѣрно! Сколько лѣтъ жилъ! сколько грабилъ!

— Ахъ, дура, дура!

— Ты уменъ! Другіе на такихъ мѣстахъ поди какіе капиталы наживаютъ, а онъ, блаженный, все другивенничками да пяталтынничками, да и тѣ деревенскимъ дѣвкамъ просорить!

Разговоры эти обыкновенно кончались тѣмъ, что Петръ Матвѣичъ высказивалъ изъ-за стола и приказывалъ закладывать тарантасъ.

Что могло сдѣлаться изъ дѣтей въ подобномъ семействѣ—это понятно само собой. Уже въ силу утвердившейся семейной номенклатуры, это были „пащенки“, „выродки“, „балбесы“—и ничего больше. Росли они поспартански, то-есть кувыркались по двору, лазили по деревьямъ, разоряли птичьи гнѣзда, дразнили козла, наускивали собакъ на конку и по временамъ даже воровали. Съ малыхъ лѣтъ, ихъ головы задумывались надъ тѣмъ, что хорошо бы въ кучера или въ разсылные идти, да имѣть въ рукахъ нагайку ременную и хлестать ею направо и налево, „вотъ какъ паценька хлещетъ“.

— Какого имъ дьявола воспитанія! говорила Арина Тимоеевна:—и такъ, балбесы, похода жуютъ!

— Я ихъ воспитаю... а-р-р-р-аппникомъ! прибавлялъ съ своей стороны Петръ Матвѣичъ.

На десятомъ году, старшаго сына, Максимку (онъ же и „палачъ“), посадили за грамоту. Призвали сельскаго попа, дали мальчугану въ руки указку и положили передъ нимъ азбуку съ громадѣйшими азами.

— Ты его, отецъ Василій, дери! рекомендовалъ при этомъ Петръ Матвѣичъ:—вѣдь онъ у насъ идолъ!

И дѣйствительно, Максимка оправдывалъ это прозвище. Изподлобья смотрѣлъ онъ на классный столъ, словно упирающийся быкъ, котораго ведутъ подъ оухо.

— Ишь вѣдь какъ смотреть! чуетъ, пащенокъ, чѣмъ пахнетъ! Я тебя... воспитаю!

И началась для Максимки та ежедневная мука, которая называется грамотою.

— Азъ-буки-вѣди, бря, вря, дря, жря, мрачно твердилъ онъ по цѣлымъ часамъ, ковыряя въ носу и безцѣльно озираясь по сторонамъ.

— Ты въ книгу-то носъ уткни! по сторонамъ-то не глазѣй! внушалъ отецъ Василій.

Максимка съ какимъ-то безконечно-скорбнымъ выраженіемъ

въ лицѣ устремлялъ глаза въ книгу, какъ будто говорилъ: вотъ вещь, постылѣе которой нѣтъ ничего на свѣтѣ!

— Я, отецъ Василій, въ кучера хочу! вдругъ произносилъ онъ.

— Вотъ вырастешь—можетъ, и въ пастухи опредѣлять!

— А по мнѣ, хотъ въ пастухи! у меня тогда большой-большой кнутъ будетъ!

— Ладно. Это когда-то еще будетъ. А теперь тверди: лря, мря, пря... ну, что еще въ носу нашель!

— Лря, мря, пря, угрюмо повторялъ Максимка: — а ежели я буду пастухомъ, зачѣмъ же мнѣ грамота?

— И пастуху нужна грамота. Грамотный-то и кнутомъ съ пониманіемъ хлещетъ.

— Врете вы все. Вонъ Антипка, у него болона на лбу, а какъ онъ кнутомъ щелкаетъ! Его всѣ коровы знаютъ.

Повременамъ, въ „ученье“ вмѣшивалась Арина Тимоѳеевна.

— Каковъ у насъ идолъ-то? спрашивала она, зайдя въ классную комнату.

— Башка! отвѣтствовалъ обыкновенно отецъ Василій, глядя Максимку по головѣ.

— Ну, и слава-те Господи! Можетъ, хотъ одинъ съ разумомъ выйдетъ!

Въ два года, Максимка выучился читать и писать, грамматику до глагола и первыя четыре правила ариметики. Это такъ ободрило Арину Тимоѳеевну, что она начала даже заявлять желанія нѣсколько прихотливыя.

— Ты бы его, батюшка, языку-то тому выучилъ! говорила она отцу Василью.

— Какому же, сударыня, языку?

— А вотъ тому-то, что не говорить-то! ну, вотъ, что мертвый-то!

— Латинскому? что-жь... никакъ я его еще помню?

Но Петръ Матвѣичъ прямо назвалъ эти затѣи преувеличенными, и объявилъ, что везетъ Максимку въ „заведеніе“. Будущій „палачъ“, услышавъ объ этомъ рѣшеніи, даже повеселѣлъ.

— Да ты никакъ, балбесъ, обрадовался? укоризненно замѣтила ему Арина Тимоѳеевна.

— Что-жь дома-то! дома тиранять и тамъ будутъ тиранить! такъ лучше ужъ тамъ! Я въ кучера убѣгу.

Максимка былъ сданъ въ „заведеніе“ и забытъ. Черезъ четыре года, очередь „ученья“ стояла ужъ за Ѳедькой-разбойникомъ, а тамъ гляди поспѣвалъ и Ванька-воряга.



— Всѣхъ-то всему научи! всѣмъ-то всего припаси! жаловалась Арина Тимошеевна.

Такова была картина, которую представляло семейство Хмыловыхъ. Но чтобы сдѣлать ее вполне ясною, необходимо сказать хоть нѣсколько словъ о другомъ представителѣ этой фамилии, о братцѣ Софронѣ Матвѣичѣ.

Софронъ Матвѣичъ былъ младшій братъ и представлялъ совершенную противоположность Петру Матвѣичу. Если въ основаніи всѣхъ поступковъ послѣдняго лежала необузданность темперамента, то въ характерѣ перваго преобладающей чертой являлась сознательная жестокость и какое-то неизреченное ехидство. Петръ Матвѣичъ буянилъ, дрался и шелъ на проломъ; Софронъ Матвѣичъ каверзничалъ, извивался и зудилъ. Петръ Матвѣичъ имѣлъ голосъ рѣзкій, неуступавшій протоіаковскому, и способный разбудить самую сонную окрестность; Софронъ Матвѣичъ говорилъ тихо, вкрадчиво, словно хныкалъ. Когда Петръ Матвѣичъ говорилъ: „папенька! какъ почтительный сынъ убѣждаю васъ“... то исходъ его рѣчи былъ неизвѣстенъ: можетъ быть, разорветъ папеньку на части, а можетъ быть, плюнетъ и отойдетъ; когда же Софронъ Матвѣичъ начиналъ: „позвольте мнѣ, добрый другъ, папенька“... то исходъ этой рѣчи былъ извѣстенъ заранее, ибо всякому было понятно, что „зуда когда-нибудь непременно вызудитъ старика“. По внѣшнему виду, Петръ Матвѣичъ былъ высокъ, коренастъ и постоянно грозилъ испытать на себѣ дѣйствіе паралича; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ походилъ фигурой на отца, то-есть былъ мужчина средняго роста, юркій, сухой и несомнѣнно живучій, ходилъ неслышными шагами, крадучись, и нѣсколько пригибалъ голову, какъ будто уклонялся отъ угрожающаго ему откуда-то удара. Петръ Матвѣичъ относился къ церкви легкомысленно и рѣдко бывалъ у службы; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ былъ въ церкви усерденъ, молился всегда на колѣняхъ и притомъ со слезами. Въ довершеніе всего, Петръ Матвѣичъ имѣлъ должность видную и блестящую, а иногда даже позволялъ себѣ мечтать о возможномъ преуспѣяніи на поприщѣ администраціи; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ занималъ не блестящее, но солидное мѣсто уѣзднаго стряпчачаго, и никогда ни о какомъ преуспѣяніи не мечталъ.

Несмотря на тихій, приниженный видъ, всѣ боялись Софрона Матвѣича. При взглядѣ на его задумчивое и какъ-то сомнительно-улыбающееся лицо, всякому сейчасъ же невольно приходило на мысль: вотъ человѣкъ, который навѣрное обдумываетъ какое нибудь злодѣйство. Съ просителями Софронъ Мат-

вѣвичъ былъ вѣжливы необыкновенно, даже мужикамъ говорилъ не иначе, какъ „голубчикъ“ и „дружокъ“.

— У тебя, дружокъ, дѣльце въ судѣ? спрашивалъ онъ такимъ голосомъ, что у просителя непременно сердце ёкнуло въ груди.

И затѣмъ, заручившись „дѣльцемъ“, онъ начиналъ играть съ нимъ. То дополняетъ, то запросы дѣлаетъ, то просто скажетъ: а ну, не трогай, маленько поокруглится!

— Тебѣ чего, миленькій? объ дѣльцѣ небось справиться пришелъ? Идетъ оно у насъ, дружокъ, живымъ манеромъ бѣжитъ! Подмазочки бы вотъ надо!

И получивши подмазочку, кланялся, жалъ просителю руку, и чувствительнѣйше благодарилъ.

Вообще, онъ облюбовывалъ и смаковалъ просителя, какъ артистъ, и потому не сразу обдиралъ его, а любилъ постепенно выудить у него жизнь. Если читатель видалъ когда-нибудь, какъ ручная лисица поступаетъ съ подстрѣленной вороной, предназначенной ей на обѣдъ, то онъ можетъ имѣть приблизительно понятие о томъ, что происходило между Софрономъ Матвѣичемъ и просителемъ. Лисица не набрасывается на свою жертву, не рветъ ее на куски, а долгое время полегоньку то тамъ, то тутъ покусываетъ. Куснетъ—и отскочить въ сторону, даже задумается, словно забудетъ. Потомъ опять изогнется и со всѣхъ ногъ кинется къ воронѣ, но, не тронувъ ее, отпрянетъ назадъ. Даже ворона смотритъ на эти маневры съ изумленіемъ, какъ будто говорить: Христосъ съ тобой! вѣдь я было испугалась! Потомъ, опять скачетъ, и опять, и опять—до тѣхъ поръ, пока не выудитъ у вороны жизнь. Тогда потихоньку оциплеть и съѣсть. Точно такъ поступалъ и Софронъ Матвѣичъ: онъ разорялъ полегоньку, со вздохами, съ пережками, но разорялъ до тла, до тѣхъ поръ, пока послѣдній грошъ не выудитъ. Тогда ужъ съѣсть окончательно.

Въ усадьбу Софронъ Матвѣичъ наѣзжалъ рѣдко. Человѣкъ онъ былъ холостой и хозяйствомъ не занимался. Но всякій разъ, какъ придетъ въ Вавиловку, непременно кому-нибудь что-нибудь да прокусить.

— Ты, Палаша, никакъ опять съ прибылью? обращался онъ къ судомойкѣ Палашѣ, которая по своему дѣвичеству, каждый годъ носила ребятъ:—ахъ, дружокъ, какъ это грѣшно! знаешь, какъ Богъ-то за это наказываетъ? что блудницамъ въ аду-то приуготовано? Ахъ, другъ мой! другъ мой! Ну, нечего дѣлать, посадите ее, миленькіе, въ холодную, да кушать-то, кушать то, дружки, не давайте!

Скажетъ, и сотворить при этомъ крестное знаменіе.

Старикъ дѣдушка при одномъ упоминовеніи о Софронѣ Матвѣичѣ дрожалъ и измѣнялся въ лицѣ. Арина Тимоѣевна тоже ненавидѣла его, и увѣряла, что Максимка весь въ него уродился.

— Тѣломъ-то въ отца, а правомъ въ Софронку. Софронка меня въ тѣ поры испугалъ, какъ я тяжела была, ну и выпелъ Максимка въ него.

Даже Петръ Матвѣичъ крестился и вздрагивалъ, когда Софронъ Матвѣичъ, по обыкновенію своему, неслышно подкрадывался къ нему.

Одинъ „наладъ“ любилъ дядю и говорилъ про него:

— Вотъ дядя—это человѣкъ! Этого не сробѣеть, даромъ что съ виду тихенькимъ кажется!

„Палача“ ждутъ дома безъ нетерпѣнія; едва ли даже не позабыли, что за нимъ послано.

Да и не до него теперь. Весь домъ въ уныніи; Арина Тимоѣевна ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ потерянная, и вздыхаетъ; разбойники-дѣти благоправно сидятъ по мѣстамъ; дворовые суетятся; на дворѣ то впрягаютъ, то распрягаютъ лошадей; мужики нагружаютъ у барскаго крыльца подводы. Одинъ дѣдушка свѣжъ и бодръ, и пуще прежняго щелкаетъ, свиститъ и горлавитъ какую-то нескладницу. Самъ Петръ Матвѣичъ каждую ночь прѣзжаетъ въ Вавилово вмѣстѣ съ Софрономъ Матвѣичемъ. Прѣхавши, оба брата о чемъ-то шуткаются, потомъ дѣлаютъ распоряженія, вслѣдствіе которыхъ на другой день опять нагружаются подводы, а къ утру обоихъ и слѣдъ простылъ.

Разсылный говорилъ правду: въ городъ одновременно наѣхали двѣ комисіи, изъ которыхъ одна занималась изслѣдованіемъ дѣйствій исправника, а другая выворачивала на изнанку уѣздный судъ. И такъ какъ члены комисіи нуждались въ пищѣ и питіи, то вавиловскіе запасы видимо истощались. И вдругъ, въ такую критическую минуту, когда дома каждая ложка супа, такъ сказать, на счету, найзжаетъ откуда-то совсѣмъ забытый сынъ.

— Вотъ ужъ правду-то говорятъ: гость не во-время хуже татарина! встрѣчаетъ Арина Тимоѣевна „палача“.

— Вы, маменька, только ротъ разинете, такъ ужъ и сморозите! отвѣчаетъ „палачъ“, цѣлуя у матери руки.

— Безчувственный ты балбесъ! слышалъ ли, по крайности что съ отцомъ-то дѣлается?

— Какъ не слышать! объ немъ по всей дорогѣ, отъ самой Москвы въ рога трубать!

„Палачъ“ отворачивается отъ матери и идетъ въ залу. Но тамъ, дѣдушка, подравшись на цыпочкахъ къ двери, уже сторожить внука, и въ одно мгновеніе ока мажетъ его по губамъ какою-то дрянью.

— Убью! пускаетъ „палачъ“ въ догонку старику, который, учинивъ проказу и подобравъ халатъ, бѣжитъ во всѣ лопатки въ другіе комнаты.

— А папеньку-то судить будутъ! докладываетъ „палачу“ Оедька-разбойникъ.

— И дяденьку тоже! присовокупляетъ Ванька-ворига.

— Цыцъ, бѣсенята... жрать хочу! живо! командуетъ „палачъ“, и, въ ожиданіи ѣды, направляетъ стопы въ дѣвичью.

Тамъ стоитъ дѣвка Маришка, нагнувшись къ сундуку, наполненному полотнами, и отбираетъ изъ нихъ тѣ, которыя потоньше.

— Маришка! жрать... смерть моя! говоритъ онъ, придавая своему голосу почти мягкій отгѣнокъ.

— Не до васъ теперь, баринъ! видите, дѣло дѣлаю! отвѣчаетъ Маришка, и еще ниже нагибается къ сундуку, чтобы не встрѣтиться взорами съ „палачемъ“.

— Ты, подлая, съ Оедькой связалась?

— Еще съ кѣмъ?

— Тебѣ говорить: съ Оедькой! Да ты не верти хвостомъ, а гляди на меня!

— Не образъ!

— Говорятъ, гляди!

Маришка, все еще нагнувшись къ сундуку, неохотно поворачивается къ нему голову, и взглянувши, восклицаетъ:

— Ахъ, да какіе вы, баринъ, большіе!

— То-то большой! ты смѣй только!

— Что смѣть-то! сами-то, чай, давнымъ давно меня на какую-нибудь кузнечиху \*) смѣняли!

— Ну тамъ, на кого бы ни смѣнялъ! То я, а то ты! Тебѣ и по закону такъ слѣдуетъ. Да брось ты полотна-то, гляди на меня!

Маришка выпрямляется и сконфуженно становится передъ нимъ.

— Чтò тутъ у васъ дѣлается? взбѣсился, что ли, даже поѣсть не допросишься?

— Ахъ, баринъ, столько у насъ здѣсь напастей! столько

\*) Магази́нная дѣвушка съ Кузнечкаго моста, въ Москвѣ. Въ сороковыхъ годахъ, дѣвицы эти не отличались особенной строгостью поведенія.

напастей! Цѣлая арава маеньку-то судить наѣхала, и всѣ-то жрутъ, всѣ-то пьютъ! кажется, что только добра маенька нажили—все туда въ эту прорву пойдетъ!

— А ты... съ Оедькой?

„Палачъ“ рычитъ, но рычить не опасно. Маришка понимаетъ это.

— Вы, баринъ, всегда... говорить она:—и что только вамъ этотъ Оедька попережъ всталъ—дивовина!

— Верти хвостомъ-то! Отецъ золь?

— И не подступайся! Намеднись Нижешку чуть-чуть подъ красную шапку не отдали.

„Палачъ“ крутитъ зачатокъ уса и сурово произноситъ:

— Ну, и чортъ съ нимъ! я самъ въ солдаты уйду!

Въ эту минуту, Арина Тимофеевна какъ буря влетаетъ въ дѣвичью и разстраиваетъ интересный tête-à-tête

— Выросъ, батюшка! извить она:—ума не вынесъ, а не хуже стоялаго жеребца ржетъ! Смотри, какъ бы Оедька-подлецъ не приревновалъ!

— Да и у васъ, маменька, ума немного! огрызается „палачъ“:—вотъ покормить небось не догадаетесь!

— Надоѣло! вдругъ прибавляетъ онъ, зѣвая и потягиваясь, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ онъ Богъ вѣсть сколько времени толчется въ этомъ домѣ, и все ему безмѣрно въ немъ опостылѣло.

Въ залѣ, на столѣ, „палача“ ждутъ холодные обѣдки.

— Ишь вѣдь! куска живого нѣтъ! озлобленно произноситъ онъ, жадно обгладывая кость:—Оедька! нельзя ли, братецъ, цопнуть! спроворь!

Оедька устремляется со всѣхъ ногъ въ пространство, минуты черезъ три онъ возвращается назадъ, бережно неся что-то подъ полой халата.

— Гдѣ Богъ послалъ? спрашиваетъ „палачъ“, принимая изъ рувъ брата пузырекъ съ водкой.

— У Михея кучера изъ полштофа вылилъ.

— Ну, это, братъ, не порядки. Кучерь—онъ человѣкъ дорожный, ему безъ водки нельзя. Ты бы по окнамъ у родительницы пошарилъ.

— Смотрить... нельзя!

— Смотрить! а ты такъ воруй, чтобъ смотрѣла, да не видала. А на будущее время, чтобъ не были вы безъ дѣла, вотъ вамъ урокъ: каждый день мнѣ чтобы косушка была.

Насытившись и въ пропорцію выпивши, „палачъ“ отправляется на конный дворъ, и встрѣчается тамъ съ фореиторомъ Нижешкою.

— Здорово, Никешка! кричитъ онъ ему.

Никешка вытягивается во фронтъ и на солдатскій манеръ произноситъ:

— Здравія желаю, ваше благородіе-е-е!

— Въ солдаты?

— Точно такъ, ваше благородіе-е-е!

— И я въ солдаты уйду! надоѣло!

— Это точно, ваше благородіе... прискучило!

— Хорошо, Никешка, въ солдатахъ! Всталъ утромъ... лошадей вычистилъ... ранецъ... Щи, каша... ходи! вытягивайся! Ну, да вѣдь солдатъ работы не боится!

— Зачѣмъ, ваше благородіе, работы бѣзаться! Я теперича такъ себѣ сердце настроилъ, что заставъ меня сейчасъ цѣлому полку аммуницію вычистить — такъ вотъ сейчасъ и—и!

— Солдатъ человѣкъ привышный! Солдатъ, ежели начальство прикажетъ: жги! рви — онъ и сожжетъ и разорветъ, все какъ слѣдуетъ! Потому, онъ человѣкъ подначальный!

„Палачъ“ входитъ въ конюшню и осматриваетъ стойла.

— Трезорка живъ?

— Точно такъ, ваше благородіе!

— И Полканка живъ?

— Живъ, ваше благородіе!

— Какъ бы, братецъ, ихъ на кошку науськать!

На зовъ Никешки, держа хвостъ по вѣтру, какъ бѣшеные прискакиваютъ два пса. „Палачъ“ и Никешка становятся въ углу коннаго двора и замираютъ въ ожиданіи; псы, раскрывъ пасти, нетерпѣливо стоятъ около нихъ, вертятъ хвостами и потихоньку взвизгиваютъ. Наконецъ, на заборѣ появляется кошка. Озираясь, крадется она по верхней перекладинѣ, поползетъ и остановится; потомъ почешетъ задней лапой за ухомъ, зѣвнетъ, оглянется, нѣтъ ли кого, и опять поползетъ. Наконецъ, не видя ни откуда опасности, соскакиваетъ на землю внутрь двора.

— Ату! ату его! вдругъ какъ безумные подхватываютъ „палачъ“ и Никешка.

Псы летятъ; кошка сначала заминается, но черезъ мгновеніе тоже летитъ задеря хвостъ къ забору, цѣпляется когтами за столбъ, съ быстротою молніи всплываетъ наверхъ, и какъ окаменѣлая становится тамъ, ошетинившись и выгнувши спину. Псы стоятъ у подошвы забора, и не сводя съ кошки глазъ, виляютъ хвостами и жалобно взвизгиваютъ.

— Стигъ съвали, подлецы! гремитъ „палачъ“: — Никешка! учить ихъ!

Начинается ученіе; собаки дерутъ за уши, бьютъ чѣмъ попало; воздухъ наполняется тѣмъ особеннымъ собачьимъ визгомъ,

которому въ цѣломъ мірѣ звуковъ нѣтъ ничего подобнаго. На шумъ прибѣгаютъ братишки и старшій дѣдушка. Послѣдній стоитъ въ воротахъ, подобравъ полы халата, и самъ, въ какомъ-то ребяческомъ экстазѣ, визжитъ и лаеетъ.

— Ты чего прибѣжалъ? обращается „палачъ“ къ старику:— старые годы вспомнилъ?

— Онъ такъ-то людей въ стары годы собаками травилъ! вставляетъ свое слово Никешка.

— Рви! огрызается дѣдушка, и видимо сконфуженный удаляется во свояси, при общемъ грохотѣ веселящихся.

— Маришку-то, ваше благородіе, оставить надо! докладываетъ Никешка, когда гвалтъ унялся.

„Палачъ“ злобно фыркаетъ.

— Она теперича у Ѳедьки-повара и легла и встала! А я вамъ, ваше благородіе, другую ягоду припасъ!.. такая-то ягода! вотъ такъ ужъ ягода!

— Потрафлай, Никешка, потрафлай!

День кончился; „палачъ“ окончательно вступилъ въ свою домашнюю колею, то-есть побывалъ и на конномъ, и на скотномъ, и на огородѣ. Въ десять часовъ вечера онъ ужинаетъ вмѣстѣ со всѣмъ семействомъ, и на всѣ вопросы матери угрюмо отмалчивается.

— Да отвѣчай, идолъ, произвели ли тебя въ классы-то? чуть ли не въ десятый разъ спрашиваетъ его Арина Тимоеевна.

— Завтра отцу все скажу, отвѣчаетъ „палачъ“, выходя изъ-за стола, и, ни съ кѣмъ не простясь, удаляется въ боковушку, гдѣ ему постлали постель.

Около полуночи, онъ слышитъ въ просонкахъ звонъ колокольцевъ, стукъ подъѣзжающаго экипажа, хлопанье воротъ и дверей и, наконецъ, шаги отца въ передней.

— Балбесъ пріѣхалъ? раздается голосъ Петра Матвѣича.

— Ну, пошла пыльня въ ходъ! мысленно произноситъ „палачъ“, переворачиваясь на другой бокъ.

Отцу, однакожь, не до Максимки. На другой день, часовъ въ шесть утра, онъ уже собрался въ городъ и только мимоходомъ успѣлъ взглянуть на сына.

— Ну что, олухъ Царя небеснаго, экзамена не выдержалъ? поздоровался онъ съ нимъ.

— Не выдержалъ-съ.

— Повѣсить тебя мало, ракалія!

— Я, паленька, въ юнкера желаю-съ.

— Сказалъ: сгною подлеца въ заведеніи! и сгною!

— Воля ваша-съ.

Присутствовавшій при этомъ Софронъ Матвѣичъ тоже считалъ долгомъ вступить въ разговоръ.

— Что-жъ ты, душенька, у папеньки-то ручки не цѣлуешь! а-а-ахъ, милый другъ! у родителя-то! да ты знаешь-ли, миленькій, какъ родителей-то утѣшать надобно!

→ Я, дяденька, въ военную службу желаю-съ!

— И что это у васъ, други милые, за болѣзнь такая: все въ военную да въ военную! все бы вамъ убивать! все бы убивать! А знаешь ли ты, голубчикъ, что штатскій-то слово иногда пустить, такъ словомъ-то этимъ убьетъ вѣрнѣе, чѣмъ изъ ружья! Вотъ она, гражданская-то часть, какова!

— Что съ нимъ, съ оболтусомъ, разговаривать! прерываетъ Петръ Матвѣичъ медоточивую рѣчь брата:—вотъ ужъ свалимъ съ рукъ губернскую саранчу—я съ тобой раздѣляюсь!

Дни идутъ за днями во всемъ ихъ суровомъ однообразіи, закаляя характеръ „палача“. Онъ совсѣмъ не видитъ отца, и, пользуясь этимъ обстоятельствомъ, даетъ полный просторъ своимъ вкусамъ и наклонностямъ. Съ раннаго утра, онъ уже на конюшнѣ, травитъ собаками кошку или козла, хлопаетъ арапникомъ, разсѣкаетъ кнутомъ лубя, куритъ махорку, сплевываетъ въ сторону и повременимъ устраиваетъ, съ цѣлью грабежа, экспедиціи на погребъ, въ кладовую и даже на крестьянскіе огороды.

— Скучно. у васъ, Никешка! говорить онъ своему наперснику.

— Супротивъ Москвы какъ же можно!

— Я, братъ, въ Москвѣ такіа штуки удиралъ, такіа удиралъ! съ Голопятовымъ черезъ заборъ въ питейный бѣгали. Голопятова знаешь?

— Нѣтъ, такихъ не слышали.

— Амченина-то Голопятова не знаешь? Вѣдь онъ тутъ, поблизости, въ Амченскѣ живетъ!

— Слышали, что баринъ хорошій, лжетъ Никешка.

— Ужъ такой, братъ, это человѣкъ! Мы съ нимъ однажды Кубарихинъ домъ вдвоемъ разнесли!

— Ишь ты! да ужъ гдѣ намъ супротивъ Москвы!

— У васъ даже питейнаго нѣтъ. Я со скуки хочу научиться табакъ нюхать.

— И отъ табаку тоже большого способа нѣтъ. Тошнить отъ него спервоначалу. А мы, баринъ, вотъ что: давайте въ церковь ходить, да на крылосѣ пѣть.

— Чудесно. Вотъ это, братъ, отлично ты вздумалъ!



„Палачу“ такъ скучно, что онъ съ жаромъ хватается за поданную Никешкой идею, и немедленно приводитъ ее въ исполненіе. Онъ вербуетъ въ пѣвчіе младшихъ братьевъ, дворовыхъ и деревенскихъ мальчишекъ, собираетъ ихъ на задворкахъ и производитъ спѣвки.

— Экъ Голопятова нѣтъ! вотъ бы рывкнулъ жалуется онъ.

Мало по малу, виѣсто лая и визга собакъ, воздухъ оглашается стихирами и прокимнами. Дѣй недѣли къ ряду продолжается это новое столпотвореніе, и „палачъ“ до того предается своей забавѣ, что дѣлается почти неузнаваемъ. Только встанетъ утромъ—уже бѣжитъ на спѣвку; пообѣдаетъ, напьется чаю на скорую руку—и опять на спѣвку. Онъ похудѣлъ, сдѣлался богомоленъ и богобоязненъ, а мальчишекъ совсѣмъ смучилъ. По временамъ, онъ даже помышляетъ, не пойти ли ему въ монахи.

— Жрутъ эти монахи... страсть! рѣшаетъ онъ, и тотчасъ сообщаетъ о своемъ рѣшеніи Никешкѣ.

— Что-жь, въ монахи такъ въ монахи! я къ вамъ служкой пойду! отвѣчаетъ Никешка.

— Заживемъ мы съ тобой... лихо!

Однако, и эта затѣя недолго гнѣздится въ умѣ его, потому что Арина Тимоеевна, узнавъ стороной объ его планахъ, считаетъ долгомъ объяснить ему, что монахамъ не дадутъ мяса.

— Чтѣ лопать-то будешь? спрашиваетъ она его.

„Палачъ“ смущается, ибо совершенно опредѣленно сознаетъ, что безъ мяса ему жить невозможно.

— Знаешь ли ты, балбесъ, какъ настоящіе-то угодники живутъ? Одну просвирку на цѣлую недѣлю запасетъ, голубчикъ, да и кушаетъ! А въ Свѣтло-Христово воскресенье яичко-то облупить, поцалуетъ, да и опять на блюдо положить! А вѣдь тебѣ, елуху, мясища надобно!

— Врете вы все! не можете человѣкъ безъ мяса жить!

— Еще какъ живетъ-то! живетъ да еще работаетъ! Ты спроси вотъ у мужика, когда онъ мясо-то видитъ! И какъ только Богъ его поддерживаетъ! все-то онъ безъ мяса! Нй у него говадинки! нй у него курочки! Ничего.

Арина Тимоеевна впадаетъ въ чувствительность. Она готова разглагольствовать на эту тему хоть цѣлый день, готова даже погоревать и поплакать, но „палачъ“ сразу осаждаетъ ее.

— Ну, распустили нюни! восклицаетъ онъ, и, не дожидаясь дальнѣйшихъ разглагольствованій, уходитъ изъ дома.

Какъ ни огорчительно открытіе, сдѣланное Ариной Тимоеевной, но оно западаетъ въ душу „палача“ и производитъ переломъ въ его образѣ мыслей.

— Ну ихъ, къ шу! говорить онъ Никешѣ: — мать говорить, что монахамъ мяса не даютъ!

— Что-жь, можно и оставить!

Идея о монашествѣ предается забвенію, спѣвки прекращаются, и на мѣсто ихъ лай и визгъ собакъ опять вступаютъ въ права свои.

Среди этого содома, Арина Тимоѣевна ходитъ какъ потерянная и безъ перемежки вздыхаетъ.

„И отчего онъ такой кровопивецъ?“ думается ей: „нѣтъ, чтобы книжку почитать или въ уголку тихонько посидѣть, какъ другіе дѣти! Все бы ему разорвать да перервать, да разбить да проломить!“

Бродитъ Арина Тимоѣевна по комнатамъ и все думаетъ, все думаетъ. А на дворѣ гвалтъ, гиканье, свистъ; ревъ.

— Лаской, что ли, съ нимъ какъ-нибудь! наконецъ додумывается она и немедленно рѣшается воспользоваться этою мыслью.

— Хоть бы ты, Макся, поговорилъ съ матерью-то! обращается она къ сыну.

— Объ чемъ мнѣ съ вами говорить!

— Ну все же, хоть бы утѣшилъ!

— Горе, что ли, у васъ?

— Какъ не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! нѣтъ моему горю скончанья! вотъ хоть бы объ васъ, объ дѣточкахъ... ну, щемить у меня сердце, щемить да и вся недолга!

— Ну, и пушай щемить!

— Или вотъ теперича кровопивцы изъ губерніи налетѣли! что они пропили! что проѣли! Что было добра нажито — все повытаскали!

— И опять это дѣло не мое.

— Какъ же не твое, Макся... Ты хоть бы пожалѣлъ, мой другъ!

— Меня, маменька, не разжалобите!

Арина Тимоѣевна на минуту умолкаетъ, видимо обиженная равнодушіемъ сына.

— И что это за народъ такой нынче растеть... безчувственный! наконецъ произноситъ она, поглядывая въ окошко.

— Вы, маменька, про чувства не говорите со мною. Я даже когда меня дерутъ, — и то стараюсь не чувствовать. У насъ урядникъ Купцовъ, прямо скажу, шкуру съ живого спускаетъ, такъ еслибы тутъ еще чувствовать...

„Палачъ“ постепенно одушевляется; онъ ощущаетъ твердую почву подъ ногами.

— Одинъ разъ, говоритъ онъ: — я товарища искалѣчилъ,

такъ меня самъ инспекторъ билъ. Бьетъ-это смаху, словно у него бревно подъ руками, бьетъ, да тоже вотъ какъ вы при-товариваетъ: безчувственный! Такъ я ему прямо такъ-таки въ лицо и сказалъ: Ежели, говорю, Василий Ипатычъ, такъ бьетъ, да еще чувствовать...

„Палачъ“ отъ волненія задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхиваетъ, ноздри раздуваются и самъ онъ отъ времени до времени вздрагиваетъ.

— Меня вотъ товарищи словно волка травятъ, продолжаютъ онъ: — соберутся всей ватагой, да и травятъ. Такъ еслибъ я чувствовалъ, что бы я долженъ былъ съ ними сдѣлать?

Онъ смотритъ на мать въ упоръ; глаза его сверкаютъ такимъ дикимъ блескомъ, что Арина Тимоѣевна, не понимая ни одного слова изъ всего, что говорилъ сынъ, пугается.

— Да ты обалдѣлъ, что-ли, какъ на мать-то смотришь! начинаетъ она, но „палачъ“ уже ничего не слышитъ.

— Теперича, къ примѣру, я хочу въ юнкера поступить, гремитъ онъ: — такъ ежели начальство мнѣ скажетъ: Хмыловъ! разорви! — какъ по вашему? я и въ то время долженъ какія-нибудь чувства имѣть? Извините-съ!

„Палачъ“ быстро поворачивается, и черезъ минуту сугубый гвалтъ возвѣщаетъ о благополучномъ прибытіи его на конный дворъ.

Арина Тимоѣевна опять задумывается, или, лучше сказать, въ голову ея опять начинаютъ заглядывать какіе-то обрывки мыслей, которые она тщетно старается съютить. То вдругъ заглянетъ слово „убьетъ!“, то вдругъ мелькнетъ: „это онъ съ матерью-то! съ матерью-то такъ разговариваетъ!“ Наконецъ, она вскакиваетъ съ мѣста и разражается.

— Желала бы я! восклицаетъ она иронически: — ну, вотъ хоть бы глазкомъ посмотрѣла бы, что изъ этого уроды выйдетъ!

Но вотъ и губернская саранча уѣхала во-свои-си; Петръ Матвѣичъ свободенъ и прѣзжаетъ въ Вавилонку отдохнуть.

— Теперь я съ тобой, мерзавецъ, раздѣляюсь! говоритъ онъ сыну, располагаясь въ креслѣ съ такимъ спокойнымъ видомъ, какъ будто собрался пріятно провести время.

— Вся ваша воля-съ.

— Сказывай, ракала, будешь ли ты учиться?

— Я, папенька, въ полкъ желаю-съ.

— Будешь ли учиться?

— Я, папенька, ежели вы меня въ полкъ не отдадите, убѣгу-съ!

— К-к-кан-наллы!

Петръ Матвѣичъ вытягивается во весь ростъ, простираетъ руки, и до такой степени таращитъ глаза, что кажется, вотъ-вотъ они выскочутъ. „Палачъ“ закусываетъ губу и ждетъ.

— Нагаекъ! кричитъ Петръ Матвѣичъ задвленнымъ голосомъ.

Экзекуція начинается; ударъ сыплется за ударомъ. Петръ Матвѣичъ блѣденъ; въ глазахъ его блуждаетъ огонь, горло пересохло, губы горятъ.

— Убью! въ гробъ заколочу! уже не кричитъ, а шипитъ онъ тѣмъ же задвленнымъ голосомъ.

„Палачъ“ словно замеръ; ни стона, ни звука.

— Убить, что ли, сына-то хочешь! вдругъ раздается испуганный голосъ Арины Тимофеевны.

Она блѣдна и дрожитъ. Какъ кошка, вѣпляется она въ полы мужнина сюртука и силится его оттащить.

— Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьетъ... ахъ, убьетъ!

Петра Матвѣича съ трудомъ оттаскиваютъ. Онъ шатается словно пьяный, и смотритъ на всѣхъ потухшими глазами, какъ будто не сознаетъ, гдѣ онъ, и что тутъ случилось. „Палачъ“ страдаетъ, но видно перемогаетъ себя. Онъ встряхиваетъ волосами, на губахъ его блуждаетъ вызывающая и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненная инстинктивнаго страха улыбка. Но нервы его, очевидно, не могутъ выдерживать долѣе. Не проходитъ минуты, какъ лицо его начинаетъ искажаться, и, наконецъ, какое-то ужасное рычаніе вылетаетъ изъ его груди, рычаніе, сопровождаемое цѣлымъ ливнемъ слезъ.

— Плачь, батюшка, плачь! увѣщеваетъ его Арина Тимофеевна:—плачь! легче будетъ!

Но онъ ничего не слышитъ и стремглавъ убѣгаетъ изъ комнаты.

Сцена сѣченія произвела на весь домъ подавляющее дѣйствіе. Всѣ какъ будто опомнились, и въ то же время были до того поражены, что боялись словомъ или даже неосторожнымъ движеніемъ напомнить о происшедшемъ. Прислуга ходитъ на цыпочкахъ, словно чувствуетъ за собою вину; Арина Тимофеевна потихоньку плачетъ, но, заслышавъ шаги мужа, поспѣшно утираетъ слезы и старается казаться веселою; дѣдушка мелькаетъ тамъ и сямъ, но безшумно и испуганно, какъ будто тоже понимаетъ, что теперь не то время, чтобы озоровать; младшія

дѣти сидятъ смирно и рассматриваютъ книжку съ картинками. Въ самомъ Петрѣ Матвѣичѣ замѣтна перемена: онъ похудѣлъ, осунулся, мало ѣсть и совсѣмъ не пьетъ. „Палачъ“ примѣчаетъ это общее уныніе, и всячески старается эксплуатировать его въ свою пользу. Онъ цѣлые дни гдѣ-то скрывается; приходитъ домой только обѣдать, молча ѣсть, выбирая самые лучшіе куски, послѣ обѣда цѣлуется у родителей ручки, и тотчасъ же опять уходитъ вплоть до ужина.

— Здоровъ? какъ-то не удержался однажды спросить его Петръ Матвѣичъ.

— Слава Богу-съ; гной теперича въ ранахъ показался-съ, отвѣтилъ „палачъ“, но съ такою азвительною почтительностью, что Петръ Матвѣичъ весь вспыхнулъ и чуть было опять не потребовалъ нагаекъ.

На самомъ же дѣлѣ, „палачъ“ уже почти позабылъ объ экзекуціи, и проводить время на обычной аренѣ своихъ подвиговъ, то-есть на конномъ дворѣ. Но онъ сдѣлался какъ-то солиднѣе въ своихъ поступкахъ, не бурлитъ, не хлопаетъ арапникомъ, не дразнить козла, а или заваливается спать на сѣноваль, или бесѣдуетъ съ кучерами. Станетъ гдѣ нибудь въ углу, курить махорку, сплевываетъ и ведетъ разумную рѣчь о коренникахъ, объ иноходцахъ, о томъ, какія должны быть у „настоящей“ лошади копыта, какой задъ и т. д.

— У „настоящей“ лошади задъ долженъ быть широкій... какъ печка! потому у „ей“ вся сила въ задѣ! утвердительно говорить „палачъ“.

— Нѣтъ, вотъ я у одного троечника коренника зналъ, такъ у того былъ задъ... страсть! рассказываетъ кучеръ Михай: — это подъ гору по полтора-ста пудовъ спустить — ни почему!

— По „саме“? вопрошаетъ „палачъ“, поддѣлываясь подъ тонъ своей аудиторіи.

— По саме и по простой дорогѣ—какъ хощь! И сколько разъ у него эту лошадь торговали, тысячи давали...

— Не продалъ?

— Ни въ жисть. Дай ты мнѣ сто пудовъ золота, говоритъ—умру, а лошади не отдамъ!

— И что за жисть, ваше благородіе, этимъ извозщикамъ—умирать не надо! вступается Никешка.

— На что лучше! восклицаетъ Михай: —ѣда одна что стоитъ! Ща подадутъ—не продуетъ! Иному барину въ праздникъ такихъ не ѣсть!

„Палачъ“ задумывается и полегоньку поеасываетъ трубочку. Воображеніе его играетъ; онъ видитъ передъ собой большую

дорогу, коренника, переступающего съ ноги на ногу и упирающегося широким задомъ въ громадный возъ; офицеровъ, скачущихъ мимо: постоянный дворъ, и на столъ щи, подернутыя толстымъ слоемъ растопившагося свиного сала...

— Папушникъ съ медомъ ѣсть будете? слышится ему словно въ просонкахъ.

— Вы бы вотъ что, ваше благородіе, прерываетъ его мечты Никешка:—поклонились бы вы папенькѣ-то: наградите, молю, папенька, меня тройкой лошадей... А я бы вамъ, ваше благородіе, въ работникахъ послужилъ!

— Что-жь, Никешка—парень ловкій! Онъ это дѣло управить! подтверждаетъ Михай.

— А ужъ какую бы мы тройку подобрали—на удивленіе! продолжаетъ Никешка:—ну, просто, то-есть, и въ гору и подъ гору—какъ хопъ!

— А ты это видѣлъ? осаживаетъ его „палачъ“, снимая куртку и показывая спину, усѣянную подживающими рубцами:—такъ вотъ ты пойдѣ да и поклонишься папенькѣ-то, а онъ тебѣ еще вдвое засыплеть!

Или:

— Кучеръ, коли ежели онъ настоящій ѣздокъ, непременно долженъ особенное такое „слово“ знать! повѣтствуетъ Михай.

— Да, безъ этого нельзя! подтверждаетъ и „палачъ“.

— Теперича ежели ты въ грязи завязъ, или въ гору сталъ—только скажи это самое „слово“—хопъ изъ какой хопъ трущобы тебя лошадь вывезетъ! а не скажешь „слова“—хоть до завтрева бейся, на вершокъ не подвинешься!

И т. д., и т. д.

Однимъ словомъ, палачъ благодуетъ, и, зная, что отцу до поры времени совѣстно смотрѣть ему въ глаза, пользуется своимъ положеніемъ самой широкой рукой.

Иногда, наскучивши анекдотами о коренникахъ, о томъ, какъ однажды Никешка на ровномъ мѣстѣ пять часовъ бился „хочъ ты что хопъ“, о томъ, какъ одинъ ящикъ въ одну пряжку сто верстъ сдѣлалъ и только на половинѣ дороги лошадей попоилъ,—палачъ отправляется къ дядинкѣ Софрону Матвѣичу, который тоже отдыхалъ въ Вавилонкѣ послѣ ревизорскаго погрома, и слушаетъ рассказы этого новаго Одиссея.

— Я, дядинька, въ полеъ уйду! обыкновенно начинается „палачъ“.

— И что ты это заладилъ одно: въ полеъ да въ полеъ! На войну хочешь? такъ на войнѣ-то, братъ, бабушка еще на двое сказала: либо ты убьешь, либо тебя убьютъ!

господа ташкентцы.

И затѣмъ начинался безконечный рядъ разсказовъ о преимуществѣхъ гражданской службы.

— Гражданская-то служба развѣ не тоже страшеніе? повѣствуетъ дяденька:—только всего и разницы, что по военной части двое стражуются, а по гражданской части одинъ стражается, а другой претерпѣваетъ страшеніе. И сколько я этихъ гражданскихъ страшеній въ своей жизни выигралъ, такъ ежели бы все счастье, кажется и фельдмаршаломъ-то меня сдѣлать мало!

„Палачъ“ оглядываетъ мизерную, словно обѣдненную фигуру дяденьки, и улыбается.

— А ты не гляди, миленькій, что я ростомъ не вышелъ; я, душа моя, такія дѣла дѣлывалъ, что другому даже въ генеральскихъ чинахъ во снѣ не приснится.

Дяденька выпрямляется во весь ростъ, и тыкая себя перстомъ въ грудь, продолжаетъ:

— Я только говорить о себѣ не люблю, а многимъ, даже очень многимъ въ жизни своей такія права предоставилъ, что ежели они послѣ того рукъ на себя не наложили, такъ именно только по христіанству, какъ христіанскій законъ вообще запрещаетъ роптать! Насѣкина, напримѣръ, Павла Ивановича знаешь?

— Это пьяненькаго-то?

— Это теперь онъ пьяненькій, а прежде былъ онъ у насъ предводителемъ, тузъ козырный былъ! Гордый человекъ былъ, тиранилъ, жегъ, сѣкъ. Дворянинъ ли, мужикъ ли — всѣ, говорить, передо мной равны! Вотъ онъ каковъ, „пьяненькій“-то, въ старые годы былъ! А кто гордыню-то эту изъ него извлекъ? Я, Софронъ Матвѣевъ Хмыловъ, ее извлекъ! Походилъ около него, распланировалъ все какъ слѣдуетъ, потомъ далъ страшеніе—и извлекъ!

— Да я, дяденька, помилуйте..

— Погоди, мой другъ, дай сказать! Или возьмемъ теперь хотя Палагинское дѣло. Убили рабы своего господина, имѣніемъ его воспользовались — одними деньгами, душа моя, сто тысячъ было!—бѣжали, пойманы, уличены! По твоему, какъ надлежитъ въ этомъ случаѣ поступить? Отдуть душегубовъ кнутомъ, сослать куда Макаръ телятъ не гонялъ—и дѣло съ концомъ? — Ну, нѣтъ, не будетъ ли этакъ-то очень ужъ просто! Съ имѣніемъ-то, скажи ты мнѣ, какъ поступить? Да опять же и гдѣ это имѣніе взять? Поэтому эти самые душегубы во всемъ прочемъ чистосердечно повинились, а на счетъ имѣнія такую аллегорію, такую аллегорію поютъ, что и Боже ты мой! Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать, придется стра-

женіе вамъ дать. И какъ бы ты полагалъ? — не успѣлъ я это страженіе до половины довести, какъ они ужъ все до полушки отдали!

— Да вѣдь я, дядинька, не объ васъ. Вы, извѣстно...

— Нѣтъ, да ты слушай, что потомъ будетъ! Отдавши это все до полушки, сидятъ они въ острогѣ годъ, сидятъ другой — и вдругъ возгордились! Мы-ста! да вы-ста! изъ насъ говорятъ, жилы вытянули, а резону намъ не даютъ! И даже очень громко этакъ-то побалтываютъ. Что-жь, дѣлать, нечего, пришлось и въ другой разъ страженіе дать... только ужъ послѣ этого другого-то страженія...

Софронъ Матвѣичъ внезапно останавливается и вмѣсто продолженія прерваннаго разговора присовокупляетъ:

— Такъ вотъ они каковы гражданскія-то страженія! Коли ежели да съ умѣніемъ, да съ снарочкой, — большую можно пользу для себя получить!

„Палачъ“ смотритъ на дядю съ благоговѣніемъ, почти съ алчностью. Глаза его такъ и бѣгаютъ.

— Я десять губернаторовъ претерпѣлъ! продолжаетъ Софронъ Матвѣичъ хныкающимъ голосомъ: — я пятнадцати ревизорамъ очки вставилъ! И всякой-то на меня съ наскоку наѣзжалъ! — я дескать этого разбойника Хмылова въ бараній рогъ согну! Анъ дашь ему страженіе, онъ и притихъ! Статскій совѣтникъ Ноздревъ у насъ былъ, такъ тотъ какъ пріѣхалъ въ городъ, такъ и рычитъ: подайте мнѣ его! разорву! Каково мнѣ это слушать-то? каково? Однако я выслушалъ, доложилъ, опять выслушалъ, опять доложилъ — и сталъ онъ у меня послѣ того полковникъ... Даже поноску носить выучился, и такъ-это привыкъ, что въ глаза, бывало, мнѣ смотритъ, когда же молъ ты скажешь: пиль!

— Да вѣдь то вы, дядинька! вы, дядинька, умный!

— Не то, чтобы слишкомъ уменъ, а человѣческое сердце, душа моя, знаю. Другой смотритъ на человѣка, и ничего въ немъ не видитъ, а я проникаю. Я даже когда не нужно — и тогда проникаю. Идешь это по улицѣ, видишь человѣка, и все думаешь: а кто знаетъ, можетъ быть этому человѣку современемъ придется страженіе дать!

Но какъ ни привлекательны рисуемыя дядей картины гражданскихъ сраженій, „палачъ“ не поддается соблазну. Онъ понимаетъ, что ему тутъ дѣлать нечего. Въ немъ, если хотите, имѣется достаточный запасъ той одервенѣлой жестокости, которая на самыя большія мученія позволяетъ смотрѣть хладнокровно, но нѣтъ ни настойчивости, ни остроты ума, ни прозор-



ливости. Ни къ какимъ комбинаціямъ онъ неспособенъ, и потому даже въ шашки порядкомъ не могъ научиться играть.

— Нѣтъ, дядинька, говоритъ онъ: — я ужъ въ полкъ!

— Что-жь, въ полкъ, такъ въ полкъ! Коли нѣтъ призванія, такъ и соваться нечего. А вѣдь и я, душа моя, не сразу тоже въ чувство пришелъ. Съ мужика съ простого началъ, а потомъ, постепенно, и губернаторовъ постигъ. Бывало паленька приведетъ мужика-то и скажетъ: „Софронъ, учись!“ Ну, и начнешь его узнавать. Ходишь около него, всякій суставчикъ попытаешь, все ищешь, гдѣ у него струна-то играетъ. Нашелъ струну—и ликуй, потому тутъ онъ ужъ и самъ передъ тобой, словно клубокъ развертываться начнетъ. Ты только дергай, дергай его за нитеу-то, а онъ, что больше дергаешь, то ходчѣй да ходчѣй все развертывается. И такой вдругъ понятный сдѣлается, что даже вчуужъ удивительно, какъ это сразу ты его не постигъ!

И живетъ такимъ родомъ „палачъ“ подъ сѣнью родительскаго крова, живетъ изо дня въ день, и не видитъ исхода своему страстному желанію оставить науку и поступить въ полкъ. Эта мысль преслѣдуетъ его день и ночь. Ни рассказы дяди ни бесѣды на конномъ дворѣ не могутъ заставить ее позабыть. Вотъ и каникулы подходятъ къ концу, а онъ все при томъ же, при чемъ былъ и въ началѣ своего пріѣзда въ деревню.

Порой онъ рѣшается бѣжать, но куда? съ чѣмъ? При всей неразвитости, онъ понимаетъ непрактичность этой мысли, и потому не безъ удовольствія ожидаетъ момента, когда его опять повезутъ въ Москву и опять очутится онъ въ стѣнахъ „заведенія“. Тамъ онъ, по крайней мѣрѣ, увидится съ „Агашкой“, а это свиданіе возбуждаетъ въ немъ какія-то смутныя надежды. Что будетъ? — онъ самъ еще не можетъ опредѣлить, но что нѣчто, навѣрное, будетъ — въ этомъ онъ не сомнѣвается.

— Голопатовъ выручить! говоритъ онъ себѣ, и съ этою сладкою мыслью засыпаетъ въ послѣдній разъ подъ кровлей скромнаго вавилонскаго дома.

И дѣйствительно, „Агашка“ — первое лицо съ которымъ „палачъ“ встрѣчается въ „заведеніи“.

— Хмыловъ! меня опекунъ въ полкъ отдаетъ! объявляетъ онъ сразу.

„Палачъ“ блѣднѣетъ.

— Такъ это... вѣрно? спрашиваетъ онъ потухшимъ голосомъ.

— Черезъ мѣсяцъ, какъ дважды два. А ты какъ?

„Палачъ“, вмѣсто отвѣта, снимаетъ съ себя куртку и показываетъ слѣды рубцовъ, оставшіеся на спинѣ.

— Это... за полкъ! говоритъ онъ.

„Агашка“ вдругъ проникается великодушіемъ.

— Уйдемъ вмѣстѣ! говоритъ онъ: — вмѣстѣ горе тпали, вмѣстѣ и уйдемъ!

— Да вѣдь ты... самъ собою... и безъ того... заикается „палачъ“.

— Не хочу просто выходить... уйду! Или вотъ что: удеремъ, Хмыловъ, какую-нибудь такую штуку, чтобъ насъ обоихъ разомъ выгнали!

„Палачъ“ съ какою-то робкою радостью смотритъ на своего друга.

— Да ты что, подлецъ? не вѣришь мнѣ? великодушествуетъ „Агашка“: — да я теперь ни за что безъ тебя изъ заведенія не уйду!

Пріятели дѣлуются и заключаютъ наступательный союзъ. Начинается цѣлый рядъ подвиговъ; слава которыхъ, постепенно возрастая, наполняетъ, наконецъ, Москву. Родители съ недоумѣніемъ вопрошаютъ другъ друга, правда ли, что какіе-то ученики „заведенія“ взяты будочникомъ въ кабакъ; правда ли, что еще какіе-то ученики того же „заведенія“ пойманы въ ту минуту, какъ хотѣли взломать церковную кружку; правда-ли, что еще какіе-то ученики забрались ночью въ квартиру женоватаго надзирателя Сень-Романа... Въ теченіи двухъ-трехъ недѣль, „палачъ“ и „Агашка“ вдвоемъ совершили столько, что, казалось, будто въ ихъ подвигахъ участвовало не меньше ста человѣкъ.

Черезъ мѣсяцъ, оба друга сидятъ уже въ карцерѣ; еще недѣля — и за обоими пріѣхали посланные отъ родныхъ.

Друзья веселы и всецѣло поглощены ощущеніемъ испытываемаго ими счастья. Они бодро проходятъ черезъ рекреационную залу, мимо столпившихся товарищей, которые на этотъ разъ даже не пускаютъ въ догонку Хмылову „палача“. Смутный говоръ удивленія провожаетъ ихъ до самой швейцарской.

Вотъ, они на порогѣ; вотъ уже и стѣны заведенія остаются позади ихъ. „Палачъ“ останавливается и въ какомъ-то неописанномъ волненіи сжимаетъ руку „Агашки“.

— Не про-па-демъ! восторженно восклицаетъ онъ, отчетливо раздѣляя каждый слогъ своей краткой рѣчи.

— Не пропадемъ! словно эхо, повторяетъ за нимъ „Агашка“.

## ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬЯ.

---

У начальника отдѣленія, статскаго совѣтника Семена Прокофьяча Нагорнова, родился сынъ. Это былъ плодъ пятнадцатилѣтней бездѣтной супружеской жизни, и потому естественно, что появленіе его на свѣтъ произвело на родителей впечатлѣніе не совсѣмъ обыкновенное. Миша былъ еще во чревѣ матери, а родители уже устраивали его будущее, спорили о предстоящей ему карьерѣ, и ни одной минуты не сомнѣвались, что у нихъ родится именно сынъ, а не дочь. Анна Михайловна, съ легкомысліемъ женщины, пророчила, что сынъ у нея будетъ военный; напротивъ того, Семенъ Прокофьячъ изъяснялъ надежду, что Мишѣ суждено современемъ сдѣлаться „министерскимъ перомъ“.

— Ему, матушка, карьеру надобно дѣлать, а не мостовую гранить, говорилъ будущій отецъ:—а потому, мы отдадимъ его въ такое заведеніе, гдѣ больше чиновъ даютъ.

Затѣмъ, рассчитавши, что Миша, пойдя по этой дорогѣ, осьмнадцати лѣтъ уже можетъ быть титулярнымъ совѣтникомъ и что производство изъ коллежскихъ регистраторовъ въ титулярные совѣтники, за выслугу лѣтъ потребуетъ не менѣ десяти лѣтъ, Нагорновъ прибавилъ:

— Даже теперь можно уже сказать, что нашъ Михайло Семеновичъ состоитъ на службѣ на правахъ канцелярскаго чиновника, кончившаго курсъ въ уѣздномъ училищѣ!

Нагорновы были люди простые и добрые, и какъ мужъ, такъ и жена, принадлежали къ очень почтенному чиновничьему роду. „Мы искони красивые!“ шутя говаривалъ Семенъ Прокофьячъ,

и отнюдь не скорбѣлъ о томъ, что въ ряду его предковъ не было ни князя Тарелкина, который былъ знаменитъ тѣмъ, что цѣловалъ крестъ царю Борису, потомъ цѣловалъ крестъ Лже-Дмитрію, потомъ цѣловалъ крестъ Василю Ивановичу Шуйскому, и которому за всѣ эти поцѣлуи, наконецъ, выщипали бороду по волоску; ни маркиза Шассе-Крузе, который былъ знаменитъ тѣмъ, что въ одномъ нижнемъ бѣльѣ прибѣжалъ изъ Парижа въ Россію, и потомъ, въ 1814 году, вполне экипированный, бралъ Парижъ вмѣстѣ съ союзниками. Отецъ Семена Прокофьевича, уже умершій, служилъ совѣтникомъ въ управѣ благочинія; отецъ Анны Михайловны, по фамиліи Рыбниковъ, находился еще въ живыхъ и служилъ архиваріусомъ въ одномъ изъ министерствъ, но такъ какъ имѣлъ генеральскій чинъ, то назывался не архиваріусомъ, а управляющимъ архивомъ.

Объ семьѣ жили чрезвычайно дружно, и по воскресеньямъ обыкновенно собирались за обѣдомъ у Нагорныхъ, а такъ какъ у Анны Михайловны было еще три сестры дѣвицы, то въ небольшой квартирѣ начальника отдѣленія бывало довольнолюдно и шумно. Это были единственные дни, когда Нагорновъ весь отдавался отдохновенію, не скребъ съ утра до ночи перомъ, и даже позволялъ себѣ партикулярные разговоры. Скромный обѣдъ разнообразился праздничной кулебякой съ ситомъ, которую всѣ ѣли съ тѣмъ аппетитомъ, съ какимъ обыкновенно ѣдятъ люди очень рѣдкое и лакомое блюдо, и которая каждое воскресенье давала поводъ для одного и того же неизмѣннаго разговора.

— Я пятьдесятъ лѣтъ на свѣтѣ живу, и благодареніе моему Богу, никогда изъ Петербурга не выѣзжалъ (и батюшка и дѣдушка безвыѣздно въ Петербургѣ жили!), и за всѣмъ тѣмъ все-таки могу сказать утвердительно, что этой рыбки да еще нашей корюшки, нигдѣ, кромѣ здѣшней столицы, достать нельзя! Вотъ въ Ревелѣ, говорятъ, какую-то вкусную кильку ловятъ—ну, той, въ свѣжемъ видѣ, никогда не видалъ, а чего не видалъ, о томъ и спорить не стану! бесѣдовалъ Семенъ Прокофичъ, тщательно выскребывая ножомъ съ тарелки соринки рыбы и капуты и отправляя ихъ въ ротъ.

— Въ Шлюшинѣ, сказываютъ, этого сига множество! возражалъ Михайло Семенычъ Рыбниковъ.

— Помилуйте, батюшка! какой же въ Шлюшинѣ сигъ! Ладожскій ли сигъ, или нашъ невскій!

— Ну, да и кусается же этотъ невскій сижокъ! вставляла свое слово Анна Михайловна:—Зина! Евлаша! Лѣля! сестрицы! что-жь вы! съ сижкомъ! обращалась она къ сестрамъ, которыя,

въ качествѣ сущихъ дѣвицъ, не были свободны отъ нѣкотораго жеманства.

— Онѣ у меня скромницы! шутилъ старикъ Рыбниковъ:— при людяхъ не ѣдятъ, а вотъ послѣ обѣда на кухню заберутся, такъ ужъ тамъ и съ сишкомъ, и съ кашкой, и съ рисцемъ... пожалуй, и платья-то растегнуть!

Сестрицы слегка зарумянивались, а остальные присутствующие заливались добродушнымъ хохотомъ.

Затѣмъ, разговоръ переходилъ къ жареному гусю, по поводу котораго тоже высказывалось мнѣніе, что противъ петербургскаго гуся никакому другому не устоять.

— Слыхалъ я, говорилъ Нагорновъ:—будто въ Москвѣ въ Новотроицкомъ трактирѣ какихъ-то необыкновенныхъ гусей подаютъ, да вѣдь это славны бубны за горами, а мы побѣдимъ нашего петербургскаго!

— У насъ гуси лапчатые! замѣчалъ въ свою очередь старикъ Рыбниковъ, вновь возбуждая во всей компаніи веселый смѣхъ.

Послѣ обѣда, старцы уединялись въ кабинетъ, и попыхивали копеечныя сигары, прислушиваясь къ женскому стрекотанію, немолчно раздававшемуся въ спальнѣ, и изрѣдка перебрасываясь замѣчаніями.

— Такъ такъ-то, батюшка, ваше превосходительство! говорилъ Семенъ Прокофѣичъ.

— Да, есть тово... немного! отвѣтствовалъ позѣвывая Михайло Семенычъ.

И такимъ порядкомъ проходило воскресенье за воскресеньемъ, безъ всякой надежды, чтобъ въ эту жизнь когда нибудь проникнуть свѣжій, живой элементъ.

Только въ срединѣ пятидесятихъ годовъ, когда русская жизнь какъ будто тронулась, воскресные обѣды Нагорновыхъ нѣсколько оживились, ибо каждую недѣлю являлась какая нибудь новость, котовая задѣвала за живое, и о которой трудно было не потолковать.

— Вотъ и марки почтовые проявились! и инспекторскій департаментъ упраздненъ! сообщалъ Семенъ Прокофѣичъ, относившійся, впрочемъ, къ реформамъ съ большою благосклонностью:— а что вѣдь, ежели тепереча все сообразить, сколько въ теченіе одной прошлой недѣли переформировано, такъ я думаю, что даже самаго обширнаго ума на такую работу не достанетъ!

— Это вамъ, молодымъ людямъ, въ диковинку этѣ реформы-то! возражалъ старикъ Рыбниковъ:—а у меня, братъ, въ архивѣ, всѣ этѣ реформы какъ на ладони видны—во какъ! За

какую связку ни возмись, во всякой какую нибудь реформу съищешь!

— Ну, нѣтъ, батюшка! Это не такъ! прежде на бумагѣ-то города брали, а теперь настоящее дѣло пошло! Я самъ въ коммисіи о распространеніи единомыслія двадцать лѣтъ тленомъ состоялъ — и что-жъ! сто одинъ томъ трудомъ выдали, и все-таки ни къ какому заключенію придти не могли! Потому—рано было! А теперича разомъ весь этотъ матеріалъ и двинули! Возьмемъ хоть бы почтовые ящики—какое это для всѣхъ удобство! Написалъ письмо, пошелъ въ департаментъ, опустил мимоходомъ въ ящикъ — и покоемъ! Нѣтъ, какъ же можно! Только бы, съ божьею помощью, потихоньку да полегоньку, да безъ революцій!

— Давай Богъ! давай Богъ!

Но скоро и о почтовыхъ ящикахъ разговоры исчерпались, или лучше сказать они сдѣлались такими же скучными и вялыми, какъ и разговоры о пирогахъ съ сигомъ. И вдругъ, въ это сѣренькое затишье, въ эту со всѣхъ сторонъ згпертую и ничѣмъ несмущаемую среду ворвалось что-то новое, быть можетъ когда-то составлявшее предметъ завѣтнѣйшихъ мечтаній, но давнымъ давно уже, за давностію лѣтъ, оставленное и позабытое... Анна Михайловна совершенно неожиданно оказалась беременною, и вотъ, въ одно изъ воскресеній, Семенъ Прокофичъ слѣдующею рѣчью встрѣтилъ своего тестя.

— Подобно тому, какъ древлѣ Захарія, священникъ Авиевой чреды, на склонѣ дней своихъ...

— Ну, братъ, исполать! не далъ докончить ему обрадованный Рыбниковъ:—молодецъ! гдѣ же она? гдѣ же Анюта?

— А вотъ и самая она! Елизаветъ! какъ-то блаженно улыбаясь отвѣтилъ Семенъ Прокофичъ, указывая на выходящую изъ сальной Анну Михайловну, которой щеки на сей разъ алѣли уже не отъ однихъ хлопотъ по приготовленію пирога но и отъ той сладкой застѣнчивости, которую ощущаетъ всякая женщина, готовящаяся въ первый разъ подарить своей странѣ гражданина:—сего числа особа эта утвердительно можетъ сказать: выгнра младенецъ во чревѣ моемъ!

— Ну, братъ, не ждалъ! Молодецъ! молодецъ Анюта! и ежели теперича внукъ... вы непременно Михайломъ его назовите!

— Что будетъ мнѣ сынъ, а вамъ внукъ—въ этомъ я никакого сомнѣнія не имѣю, потому что въ моей фамиліи никогда женскаго пола не было, да и вообще, по всему оно такъ видимо! Ну, и Михайломъ мы его тоже назовемъ: пускай будетъ такой же достойный Михайло Семенычъ, какъ и тезоименный его дѣдъ!

Въ этотъ день, обѣдъ былъ какъ-то особенно торжественъ и оживленъ. Радость прокрасилась въ эту скромную, тѣсную столовую, и освѣтила ее лучомъ своимъ. Лица разцвѣли и покрылись словно глянцемъ; груди вздымались подъ наплывомъ наполнявшаго ихъ блаженства; глаза застилались туманомъ счастья и неизрѣченной вѣры въ какое-то сладкое, свѣтлое, полное всевозможныхъ благъ будущее.

— Батюшка! отеушайте-ка пирожка! Сегодня мы поѣдимъ и поѣмъ! У меня, батюшка, сегодня праздникамъ праздникъ, торжество изъ торжествъ! говорилъ Семенъ Прокофѣичъ: — наклонѣ дней моихъ... Анюта! другъ мой! не тревожься!

— Да, братъ, теперь надо вамъ подумать... и крѣпко подумать! Потому что ежели ему теперича хорошее начало положить, такъ это, братъ, на всю жизнь пойдетъ!

— Я, батюшка, ужъ все обдумалъ. Анюта сначала предлагала въ конную гвардію его опредѣлить, но теперь, благодареніе Богу, мы такъ общими силами порѣшили: отдать нашего младенца въ такое заведеніе, гдѣ больше чиновъ даютъ!

— Это, братъ, правильно, потому что безъ чиновъ тоже нельзя. Хотя и поговариваютъ объ уничтоженіи, а я такъ полагаю, что никогда имъ скончанья не будетъ!

— И мы проживемъ, и дѣти наши, съ божьею помощью, проживутъ, и никто чинамъ конца не увидитъ! А вы, сестрицы, какъ полагаете? по штатской или по военной пустить нашего Михайлу Семеныча!

Сестрицы, въ качествѣ сущихъ дѣвицъ, вмѣсто отвѣта, конфузливо катали изъ хлѣба шарики.

— Онѣ, братъ, у меня штатскія! въ архивѣ воспитаніе получили! шутилъ Рыбниковъ.

— Ну, и слава Богу! Я, батюшка, такъ думаю, что первѣе всего слѣдуетъ достигать, чтобъ перо у него хорошее было, и чтобъ на начальство онъ правильный взглядъ имѣлъ. Потому что, ежели при нынѣшнемъ стремительномъ направленіи да еще хорошее перо... можно заранѣе поручиться, что онъ cadaго начальника уловить будетъ въ состояніи!

— Да; перо... хоть оно и гусиное...

— Я по себѣ, батюшка, знаю, что значить „перо“. Теперича, у меня начальникъ, всего только одно слово и можетъ говорить, да и то не для всѣхъ вразумительно, однако я это слово понимаю, а потому онъ мною и дорожить. Мало того: иное время онъ даже слово-то, которое знаетъ, высказать тяготится, только лобъ морщить, а я все-таки понимаю!

— Все равно, что іероглифъ!

— Іероглифъ — это такъ точно. Только надобно къ этому

иероглифу ключъ имѣть, а какъ скоро его имѣешь, то прочая вся приложатся. А что бы я сдѣлалъ, кабы перомъ не вла- дѣлъ!

Съ этихъ поръ, воскресныя бесѣды получили иной характеръ. Не смотря на то, что героемъ являлся все одинъ и тотъ же нетерпѣливо ожидаемый Михайло Семенычъ, въ разговорахъ явилось какое-то неистощимое разнообразіе. Старики были рады неслыханно и строили предположенія за предположеніями. Конечно, проскакивали между ними и не совсѣмъ радостныя. Припоминалась, напримѣръ, тяжелая трудная молодость, припоминались характеры начальниковъ и какъ трудно было ладить съ ними. Но эти мгновенныя тѣни тотчасъ же разсѣвались передъ твердой увѣренностью, что Миша непременно будетъ скромный, работающій и въ то же время талантливый малый, который легко овладѣетъ тайнами „пера“, а слѣдовательно скупѣетъ поработить всякаго начальника.

— Съ начальникомъ, батюшка, только ладить надо умѣть, говорилъ Семенъ Прокофичъ:—а какъ скоро его обладилъ, то поѣзжай на немъ безъ опасности!

— Я, братъ, такихъ начальниковъ видалъ, что даже по- носку носить были готовы! подтверждалъ Рыбниковъ.

— И даже съ удовольствіемъ-съ. Потому что начальникъ— онъ въ себѣ помощи не находитъ, ну, и обращается къ подчиненному! и ужъ радъ-радъ, коли его кто выручитъ можетъ!

Однимъ словомъ, въ виду ожидаемаго новаго человѣка, допускалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить желаннымъ образомъ его судьбу безъ того, чтобы какъ-нибудь не потѣснить другихъ. Что Миша во что бы ни стало долженъ создать себѣ карьеру—это стояло вѣдь всякаго сомнѣнія; а можетъ ли онъ достигнуть этого иначе, какъ сдѣлавшись необходимымъ кому-нибудь изъ сильныхъ міра сего? Очевидно, не можетъ, потому что у него нѣтъ не блестящихъ связей, ни знатной родни, ни денегъ. Стало быть, онъ долженъ поправиться, а поправиться онъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, когда сильный міра на столько безпомощенъ, что не можетъ безъ Миши ни шагу ступить. Тогда только этотъ сильный, но безпомощный найдетъ въ необходимости, въ отплату за избавленіе его отъ безпомощности, подѣлиться съ своимъ избавителемъ хотя однимъ кускомъ того безконечнаго пирога, около котораго неотступно кишатъ міриады закусывателей, и какъ ни стараются, а все не могутъ окончательно доканать его. И Миша несомнѣнно додерется до этого куска, и будетъ, какъ и всѣ прочіе, глотать и сосать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это право людямъ, которые могутъ



только „морщить лобъ“ и лишить его человѣка, которому известны всѣ тайны „пера“...

Подъ шумокъ этихъ мечтаній и предположеній, Анна Михайловна съ своей стороны дѣятельно готовилась. Сестрицы ежедневно бѣгали въ квартиру Нагорновыхъ, гдѣ, кромѣ нихъ, появилась еще новая гостья, въ лицѣ повивальной бабки, Христинны Карловны Либефрау. Женщины не выходили изъ спальни и неустанно между собою шушукались, кроили, шили, перебирали старыя рубашки Семена Прокофьича и рвали ихъ. Результатомъ этой суеты было то, что еще за мѣсяць до родовъ, въ квартирѣ начальника отдѣленія появилась дѣтская кроватка и вездѣ лежали вороха всякаго бѣлья.

Наконецъ, въ одинъ морозный декабрьскій день, предчувствія заботливыхъ родителей на счетъ того, что у нихъ непременно будетъ сынъ, а не дочь, осуществились самымъ буквальнымъ и блистательнымъ образомъ: въ этотъ день Михайло Семеновичъ Нагорновъ увидѣлъ свѣтъ.

Нѣтъ надобности рассказывать, какъ шло первоначальное воспитаніе Миши. За нимъ ухаживали, его мыли и пичкали всѣ, начиная отъ Анны Михайловны съ сестрицами, и кончая Семеномъ Прокофьичемъ и старикомъ Рыбниковымъ. Въ домѣ его называли не иначе, какъ Михайломъ Семеновичемъ, и всѣ до одинаго глядѣли ему въ глаза, хотя Семенъ Прокофьичъ, повременамъ, и высказывалъ какую-то особенную воспитательную теорію, которая явно клонилась къ ущербу Миши. Теорія эта была, впрочемъ, не новая, и заключалась въ томъ, что всякаго младенца, для его же пользы, необходимо направлять на путь истинный посредствомъ лозы.

— Да, это такъ! говорилъ онъ тономъ непреложнаго убѣжденія: — изстари ужъ такъ оно повелось, да и по себѣ я знаю, что человѣку безъ розги даже человѣкомъ сдѣлаться невозможно.

— Это ангела-то Божья! Это радость-то нашу! накидывалась на него Анна Михайловна: — такъ тебѣ и дали! да ты опалѣлъ въ департаментѣ-то сидючи!

— Я не объ Михайлѣ Семеновичѣ рѣчь веду, а вообще, съ теоретической точки зрѣнія дѣла обсуждаю! Вы, женщины, серьезнаго разговора вести не можете, потому что съ вами даже объ созданіи міра если заговорить, такъ вы и тутъ свои тришки и шиньоны шумѣете приплести! Объ Михайлѣ Семеновичѣ — не знаю, а вообще — оно такъ! Даже государственные люди — и тѣ это средство на себѣ испытывали!

Но Миша, какъ бы подозрѣвая коварные подходы отца, росъ такъ тихо и благоправно, что рѣшительно не давалъ ни малѣйшаго повода къ примѣненію мѣръ строгости. Едва началъ онъ лепетать, какъ обнаружилъ необыкновенную понятливость и ласковость. Онъ такъ трогательно повторялъ утромъ и вечеромъ: „Спаси, Господи, папеньку, маменьку, дѣдушку, тетеньку, начальниковъ, покровителей и всѣхъ православныхъ христіанъ“, и такъ мило при этомъ картавилъ и сюсюкалъ, что сердца родителей таяли отъ удовольствія. Четырехъ лѣтъ, онъ зналъ наизусть „Отче Нашъ“ и „Все упованіе мое“; аккуратно послѣ обѣда и чаю цѣловалъ ручки у папаши и мамаша, и каждое воскресенье непременно сопровождалъ Семена Прокофьяча къ обѣднѣ. Трудно было не радоваться на этого милого ребенка, когда онъ, совершенно готовый въ путь, вбѣгалъ въ кабинетъ отца и торопилъ его въ церковь.

— Папа! скорѣе! звонять! кричалъ онъ своимъ звонкимъ дѣтскимъ голосомъ.

— Сейчасъ, душенька! трезвонить еще будутъ!

— Мнѣ, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!

Съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ гордости и блаженства шелъ Семенъ Прокофьячъ по Малой Подъяческой, ведя за руку сына, который истово и солидно переступалъ за нимъ своими маленькими ножками.

— Вашъ-съ? спрашивали его встрѣчавшіеся по дорогѣ другіе начальники отдѣленій, которыми особенно изобилуетъ эта мѣстность.

— Самъ дѣлалъ! шутилъ Семенъ Прокофьячъ:— вотъ казого пузыря выростилъ!

— По гражданской части пустить намѣрены?

— Въ департаментъ, батюшка, въ департаментъ! Сначала, въ заведеніе отдадимъ (безъ этого нынче нельзя), а потомъ и на большую дорогу поставимъ!

И затѣмъ, въ теченіе дѣлаго обѣда, непременно шла рѣчь о Мишѣ, о его необыкновенномъ благоправіи и набожности.

— Даже затормозилъ меня! повѣствовалъ Семенъ Прокофьячъ:— часы, говорить, слушать хочу!

— А намеднишь, хвасталась Анна Михайловна:— просто даже удивилъ! Мама, говорить, купи мнѣ ризу! Я спрашиваю: зачѣмъ тебѣ, душенька?—А я, говорить, дома каждый день обѣдню служить буду!

— Что-жь! Это недорого стоитъ! вступался старикъ Рыбниковъ:— погоди, Михайло Семенычъ, я тебѣ ужъ ризу подарю, да ужъ и камилавку встатіи состряпаемъ—служи себѣ да послуживай!

И действительно, къ величайшей радости Миши, у него вскорѣ явились и риза, и камилавка, и вырѣзанное изъ бумаги кадило. Запасшись этими принадлежностями, онъ цѣлые дни рассказывалъ по комнатамъ, размахивая кадиломъ и во весь свой дѣтскій голосъ выкрикивая: аллилуя!

Чѣмъ болѣе выросталъ Миша, тѣмъ благонаравнѣе и понятливѣе онъ становился. Когда на восьмомъ году его усадили за грамоту, то оказалось, что онъ ловить азы и склады налету. И что всего важнѣе, не только съ быстротою усваиваетъ себѣ грамоту, но въ то же время смотреть учителю въ глаза и въ ротъ. Словомъ сказать, и въ этомъ случаѣ онъ обнаружилъ такую ласковость, что даже учитель (дешовенькій изъ кантонистовъ) былъ уязвленъ ею до глубины души, и никогда не отзывался родителямъ объ Мишѣ иначе, какъ съ волненіемъ.

— Это такой, восклицалъ онъ:—такой, доложу вамъ... ну, просто такой-съ...

— Ну, и слава Богу! говорила Анна Михайловна съ блаженной улыбкой.

— Нѣтъ-съ, вы себѣ представить не можете! Это такой-съ... это, можно сказать, гордость-съ... Это просто именно...

Родители радовались и приглашали учителя въ воскресенье отъѣдать кулебяки съ сигомъ.

Природа дала Мишѣ понятливость; благонаравіе дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, въ которой онъ воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, такъ сказать, не самостоятельная, а служившая продолженіемъ департамента. Обстановка, въ которой жило семейство Нагорновыхъ, вовсе не говорила о томъ, что тутъ живутъ люди, которые бьются со дня на день и думаютъ только о томъ, какъ бы спастись отъ нищеты. Напротивъ, здѣсь видѣлась даже извѣстная степень изобилія и запасливости. Но за всѣмъ тѣмъ, на всемъ лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свѣжій человѣкъ, безъ всякихъ постороннихъ внушеній, понималъ, что позволъ себѣ хозяинъ хотя на падъ отступить отъ самой строгой аккуратности—и вся эта запасливость разлетится въ прахъ. Все было пригнано и урѣзано такъ, чтобы жизнь вращалась только около необходимаго, не позволяя себѣ никакого уклоненія въ сторону, а тѣмъ менѣе баловства. Если на мебели можно сидѣть—ну, и слава Богу; если въ подсвѣчникъ можно вставить свѣчу—вотъ все, что требуется. Вся роскошь заключалась въ чистотѣ и въ той казенной симметріи, съ которою была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмобилировали, засадили туда какихъ-то людей, не совсѣмъ арестантовъ, но и не совсѣмъ не арестантовъ, и

потомъ закупорили со всѣхъ сторонъ, съ тѣмъ, чтобы туда никогда не проникала струя свѣжаго воздуха. Затѣмъ, постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, къ которой живущіе въ ней такъ привыкли, что уже не обнаруживали ни малѣйшаго поползновенія освѣжиться. Эти люди отми́ривали время съ такою же безучастною объективностью, съ какою аршинникъ мѣряетъ матерію; вотъ отми́рено двадцать-четыре аршина, потомъ еще, а тамъ гробъ—и конецъ отми́риванію. Въ стѣнѣ квартиры—все было неизвѣстность и мракъ. Вънѣшній міръ наполненъ подводныхъ камней, опасностей и обидъ. Попробуй-ка, сунься выйти на улицу—какъ разъ наскочишь на сорванца, который или языкъ тебѣ покажетъ, или архивной крысой обзоветъ, или просто до смерти замистифируетъ. А дома, между тѣмъ, тепло и уютно, знаешь, гдѣ какая вещь лежитъ, ни на что не наткнешься, и ужъ, конечно, не поскользнешься на пространствѣ какихъ-нибудь пяти-шести сажень. Стало быть, жить слѣдуетъ такимъ образомъ: какъ можно больше прижиматься къ сторонѣ, никого не затрогивать и твердо знать, въ какіе часы какая обязанность предстоитъ, не смѣшивая и тѣмъ болѣе не допуская легкомысленной забывчивости.

Быть можетъ, этотъ безрадостный складъ жизни возбуждалъ когда-то въ сердцѣ смутный ропотъ, но съ теченіемъ времени онъ такъ всосался въ плоть и кровь, что сдѣлался второю природой. Ни Семена Прокофьича, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только въ гости или въ театръ, но просто прогуляться. Они выходили изъ квартиры только по нуждѣ: онъ—въ департаментъ, она—на рынокъ, и забыли даже о возможности какихъ-либо другихъ отлучекъ. За все послѣднее время, Семень Прокофьичъ только два раза вышелъ прогуляться, да и тутъ не обошлось безъ непріятностей. Въ первый разъ налетѣлъ на него какой-то сорванецъ, объявилъ себя старымъ знакомымъ, очень искусно выпыталъ, что у Семена Прокофьича была пріятельница, какая-то Катерина Прохорова, увѣрилъ, что она умерла, и въ ту самую минуту, когда стирить Нагорновъ вошелъ во вкусъ, сталъ охатъ и ахатъ—показалъ ему языкъ и убѣждалъ. Въ другой разъ налетѣлъ другой сорванецъ, снялъ шляпу, перекрестился и поцѣловалъ его прямо въ орденъ святыя Анны, который Семень Прокофьичъ очень тщательно и не безъ нѣкотораго хвастовства разстилалъ у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убѣждало сидѣть дома и какъ можно рѣже переступать за порогъ его.

Въ такой атмосферѣ Миша невольно складывался благонаправленнымъ, аккуратнымъ, усидчивымъ и почтительнымъ ребенкомъ. Съ самой ранней юности, слухъ его все чаще поражали

два слова: служба и департаментъ. Съ утра до вечера, онъ слышалъ разговоры о департаментѣ, въ которыхъ сосредоточивалось все: и сѣтованія, и радости, и надежды, и предвидѣнія будущаго. Спрашивалъ ли онъ утромъ, куда папаша собирается—ему отвѣчали: въ департаментъ. Кто въ передней дожидается съ портфелемъ?—курьеръ привезъ бумаги отъ директора департамента. Чему папаша радуется?—ему привезли орденъ изъ департамента. Отчего папаша встревоженъ?—онъ боится, чтобъ его не обошли въ департаментѣ наградой. Начиналъ ли онъ рѣзвиться шумливѣе обыкновеннаго—его останавливали фразой: не шуми, не мѣшай папашѣ, у него завтра докладъ въ департаментѣ. Въ скрипѣ пера, въ шелканьи косточками щетовъ, раздававшемся по вечерамъ въ тиши отцовскаго кабинета, въ той торопливости, съ которою подавался обѣдъ по приходѣ отца—ездѣ слышался департаментъ. Даже когда Семенъ Прокофичъ заваливался послѣ обѣда всхрапнуть на диванѣ, и тогда невольно приходило на умъ: такъ можетъ храпѣть только человѣкъ, намаившійся утромъ въ департаментъ! Однимъ словомъ, было очевидно, что папаша быть прикрѣпленъ къ департаменту таинственной пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдетъ кровью, а за нимъ слѣдомъ изойдетъ кровью и все то, что разъ навсегда заперто въ этой квартирѣ.

Правда, что представленія Миши о департаментѣ еще были довольно фантастичны. Онъ не понималъ дѣйствительной департаментской организаціи, а скорѣе представлялъ ее себѣ въ видѣ какого-то загадочнаго царства тѣней. Вѣдя въ это царство, папаша перестаетъ быть папашей, сохраняетъ только крестъ на шеѣ, и окруженный Васильемъ Прохоричемъ, Авдеемъ Дмитричемъ, Алексѣемъ Ивановичемъ и Владиміромъ Николаичемъ (такъ назывались столоначальники Нагорнова), витаетъ въ пространствѣ, созерцая лицо директора, и непрестанно славословя предъ нимъ. Но вотъ пробило четыре часа—и видѣнія исчезаютъ. Папаша снова дѣлается папашей, надѣваетъ пальто и вмѣстѣ съ прочими воплотившимися тѣнями, словно изъ темной трубы, выползаетъ изъ-подъ арки главнаго щита. Черезъ минуту, все пространство отъ Малой Милліонной до Подъяческихъ наполняется блѣдными, изнуренными лицами, на которыхъ читается одна настоящая мысль: пора водку пить!

Но какъ ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что въ мозгу Миши уже вибрировала идея департамента. Департаментъ—это цѣлое будущее; департаментъ—это глухой переулокъ, изъ котораго можно выйти только назадъ по Большой Морской въ Подъяческую. Департаментъ—это сама неизбѣж-

ность, это шхера, около которой какъ не лавируй, все-таки никакъ не минешь, чтобы не наткнуться на нее.

— И благодѣтельная шхера-съ! тутъ не разобьешься, а слаще, чѣмъ въ наилучшей гавани отдохнешь! объяснялъ Семенъ Прокофѣичъ, когда кто-нибудь позволялъ себѣ выразить въ его присутствіи хоть какое-нибудь сомнѣніе на счетъ живительныхъ свойствъ департамента.

— Или:

— Ты попробуй-ка, сунься въ другомъ мѣстѣ поискать—анъ тутъ оступись, въ другомъ мѣстѣ промахъ даль, а въ третьемъ и вовсе оказался негоднымъ! А въ департаментѣ-то какъ у Христа за пазушкой! дѣло у тебя постоянное, вѣрное... какъ калачъ! Не только никакихъ выдумокъ отъ тебя не требуютъ, но даже еслибы ты и гораздъ былъ на выдумки, такъ запретъ тебѣ на нихъ положуть! Пиши! округлай! а выдумывать предоставь прощелыгамъ, да проходимцамъ. Такъ то-съ!

Благодаря такой обстановкѣ, Миша незамѣтно научился смотрѣть на родительскую квартиру, какъ на продолженіе департамента, на отца—какъ на ходячій осколокъ департамента, и даже на самого себя, какъ на дитя департамента.

— А скоро, папаша, я въ службу пойду? часто приставалъ онъ къ Семену Прокофѣевичу.

— Вотъ, душенька, выучишься, а тамъ съ Богомъ и на службу! Вмѣстѣ будемъ ламку тянуть!

— И мундиръ мнѣ, папаша, дадутъ?

— И мундиръ дадутъ, и крестъ дадутъ... все какъ у папаша! Будь только прилеженъ, да благодѣтеленъ, а начальство ужъ наградить!

Слушая такія рѣчи, Миша усугублялъ рвеніе, и никогда не теряя изъ вида департамента, съ какою-то восторженностью зубрилъ: „города, стоящіе на Волгѣ, суть: Ржевъ, Зубцовъ, Старица, Тверь, Корчева и т. д.“

— А чѣмъ замѣчательнъ городъ Лаишевъ? повременамъ испытывалъ его отецъ.

— Лаишевъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Свияжскъ, на примѣръ?

— Свияжскъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при слияніи рѣки Волги и Свияги, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Чебоксары?

— Чебоксары, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ на рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Да такъ ли, полно? что-то ты ужъ очень сходственно говоришь!

— Это такъ точно-съ, Семень Прокъфичъ, вступался учитель: — Михайло Семеньчъ нашъ не сдукавить-съ! Это такой ребенокъ... такой, доложу вамъ, ребенокъ-съ...

И шли дни за днями, укрѣпляя въ Мишѣ вѣру въ ожидающее его департаментское будущее и обогащая его умъ познаниями. Наконецъ, Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами навсегда утвердились въ его памяти. Мишѣ минуло двѣнадцать лѣтъ. Это былъ срокъ, въ который заранѣе назначено было отдать его въ „заведеніе“.

„Заведеніе“, въ которое поступилъ Миша Нагорновъ, имѣло спеціальностью воспитывать государственныхъ младенцевъ. Поступить въ „заведеніе“ партикулярный ребенокъ, сейчасъ начать его со всѣхъ сторонъ обшлифовывать и обгосударствливать,—глядишь, черезъ шесть, семь лѣтъ ужъ выходитъ настоящій, заправскій государственный младенецъ.

Государственный младенецъ тѣмъ отличается отъ прочихъ людей вообще, и отъ людей государственныхъ въ особенности, что даже въ преклонныхъ лѣтахъ не можетъ вырасти въ мѣру человѣка. Вглядитесь въ его жизнь и дѣйствія—и вамъ сразу будетъ ясно, что онъ совсѣмъ не живетъ и не дѣйствуетъ, въ реальномъ значеніи этихъ словъ, а все около чего-то вертится, и что-то у кого-то заимствуетъ. Или около человѣка, или около теоріи, вообще около чего-то такого, что съ нимъ, государственнымъ младенцемъ, не имѣетъ ничего общаго. Въ низменныхъ слояхъ общества, это свойство обнаруживается съ особенною наглядностью. Очень часто вы встрѣчаете малаго лѣтъ сорока, пятидесяти, которому совершенно развязно говорить:

— Одея! возьми, братъ, тамъ на столѣ рублевую, и бѣги въ лавку за икрой!

Или:

— Одея! слетай, братъ, къ Ивану Ивановичу, скажи ему, что намъ безъ него жить невозможно!

Одея беретъ рублевую, бѣжитъ въ лавку, приноситъ фунтъ икры и безъ утайки двадцать копеекъ сдачи. И вы чувствуете, что никому изъ здѣшнихъ предстоящихъ подобнаго приказанія отдать нельзя, а Оедѣ можно. Быть можетъ, у Оеди сѣдина въ бородѣ пробивается, быть можетъ, у него есть жена и дѣти, а его все-таки посылаютъ въ лавочку за икрой, и ему не приходится даже въ голову протестовать противъ подобнаго помыканія. Почему?—а потому просто, что онъ не выросъ и никогда не вырастетъ въ мѣру человѣческаго роста, потому что онъ не живетъ, не поступаетъ, а вертится и гонопитъ.

Въ высшихъ сферахъ, это состояніе вѣчнаго младенчества выступаетъ не такъ рельефно, во-первыхъ потому, что человѣкъ-планета, около котораго вертится человѣкъ-спутникъ, не всегда бываетъ для простаго глаза видимъ, а во-вторыхъ потому, что если человѣкъ-планета и видимъ, то онъ заявляетъ о своемъ присутствіи въ болѣе мягкихъ формахъ. Сколько спутниковъ имѣли и имѣютъ, напримѣръ, такія планеты, какъ Меттернихъ, Наполеонъ, Бисмаркъ и другіе? Сколько спутниковъ имѣли и имѣютъ другія еще болѣе таинственныя планеты, какъ напримѣръ: неуклонное исполненіе обязанностей, строгость, натискъ, нелицепріятное примѣненіе правосудія и такъ далѣе?—На эти вопросы ни одинъ мудрецъ даже приблизительно не отвѣтитъ. Стоить начертить кругъ, дать ему названіе системы или принципа, чтобы въ этомъ кругѣ появились міриады вѣчныхъ недорослей, которые, по первому манію, и въ лавочку за игрой побѣгутъ, и подслушать не прочь, а въ случаѣ крайности даже изъ ружья выпалить готовы.

— Оеда! подслушай!

— Опасно!

— Да ты не толкуй, а пойми, что тебѣ говорятъ: надо подслушать!

А у Оеди тѣмъ временемъ ужъ и морду перекосило отъ усердія и натуги; онъ тольѳо для острастки, для вида протестовалъ, а на самомъ дѣлѣ ужъ даже смекнулъ, какъ эту штуку устроить.

— Надо это дѣльце умненько сдѣлать, говорить онъ:—вотъ развѣ...

И начинается развивать цѣлый планъ, одинъ изъ тѣхъ плановъ, которые всегда какъ-то разомъ рождаются въ головахъ недорослей, небогатыхъ инициативой, но изобилующихъ всевозможными исполнительными каверзами. Ему и боязно, и въ то же время онъ сознаетъ, что не подслушать для него никакъ невозможно. Подобно выдрессированному зайцу, приближается вѣчный недоросль къ взведенному курку ружья, дрожа всѣмъ тѣломъ, хватается зубами за веревочку, спускаетъ курокъ... и прежде, чѣмъ ружье успѣетъ выпалить, падаетъ въ обморокъ. Кажется, тутъ есть все: и отвращеніе къ огнестрѣльному оружію, и страхъ, и даже обморокъ, а все-таки онъ спуститъ курокъ и въ этотъ, и въ другой, и въ миллионный разъ, потому что этого требуетъ отъ него система, это предписываетъ человѣкъ-планета: Меттернихъ, Наполеонъ III, Бисмаркъ...

Миша Нагорновъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ обнаруживалъ готовность вертѣться и быть вѣчнымъ недорослемъ. Уже дома, онъ умѣлъ смотрѣть старшимъ въ ротъ и въ глаза, и зналъ,



когда слѣдуетъ поцѣловать въ ручку, и когда — въ плечо. Въ „заведеніе“, — этимъ благонадежнымъ зародышамъ было суждено распуститься въ пышный цвѣтъ. Онъ не просто слушался, а слушался съ удовольствіемъ, съ радостью. Глаза его при этомъ блестя, ротъ улыбался, сердце билось; однимъ словомъ, все его существо принимало благодарное участіе въ подвигѣ послушанія. Это былъ даже не подвигъ для него — это было требованіе его натуры. Онъ понималъ надзирателя съ одного слова, и всегда шелъ дальше этого слова, то-есть отгадывалъ сокровенную его мысль, доканчивалъ ее и комментировалъ въ ущербъ себѣ и на пользу послушанію. Не смотря на общій, довольно высокій уровень благонравія въ заведеніи, Миша даже между благонравными былъ благонравнѣйшимъ. Онъ вовсе не былъ смиренъ въ бапальномъ значеніи этого слова; нѣтъ, онъ былъ даже рѣзовъ, но это была та милая, откровенная рѣзвость, которая такъ по сердцу воспитателямъ, и которая свидѣлствуетъ о всегда открытомъ сердцѣ воспитываемаго.

„Нагорновъ ведетъ себя и учится хорошо не потому, что этого требуютъ уставы заведенія, а потому, что ему пріятно учиться и вести себя хорошо“, говорили объ немъ начальники, и высказывая эту истину, обнаруживали несомнѣнную проникаемость и знаніе человѣческаго сердца, не всегда начальству свойственное.

— Я, мамаша, не понимаю, какъ можно быть послѣднимъ въ классѣ! на первыхъ же порахъ сообщилъ онъ Аннѣ Михайловнѣ: — насъ въ классѣ тридцать-три человѣка, а всегда какъ-то такъ случается, что я и по наукамъ и по поведенію первый!

— Это оттого, что ты слушаешься, душенька!

— Я, мамаша, не то, чтобы боялся чего нибудь, а такъ... пріятно! Вотъ у насъ одинъ ученикъ Погорѣловъ есть, такъ тотъ то же всѣ уроки знаетъ, а все таки никогда первымъ не будетъ! Во-первыхъ, онъ сидитъ на задней лавкѣ, а у насъ, мамаша, кто хочетъ первымъ быть, долженъ сидѣть на передней лавкѣ, чтобъ его всегда видѣли... Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы я, напримѣръ, сидѣлъ на задней лавкѣ, могъ ли бы учитель видѣть, что я всегда готовъ отвѣчать?

— Само собой, мой другъ.

— Или вотъ тотъ же Погорѣловъ: ведетъ-ведетъ себя хорошо — да вдругъ и нагрубить!

— Ты, душенька, съ мерзавцами-то не связывайся!

— Я, мамаша, ни съ кѣмъ не связываюсь, у кого балы дурные. Потому, я не знаю... мнѣ кажется, что съ ними мнѣ не объ чемъ говорить!

И дѣйствительно, ему не объ чемъ было говорить съ тѣми непослушными, вѣчно глядящими въ лѣсъ дѣтьми, экземпляры которыхъ, несмотря на обшлифовываніе, все-таки нерѣдки въ заведеніяхъ. Не то, чтобы онъ преднамѣренно обѣгалъ ихъ, но природѣ его былъ положительно противенъ протестъ, котораго они были вмѣстилищемъ. „Послушаніе“ нашло въ немъ себѣ полнѣйшее осуществленіе. Онъ былъ рѣзвъ и смиренъ именно тогда, когда это какъ разъ сходилось съ уставами заведенія. Онъ вовсе не былъ произведеніемъ дрессировки, насильственнымъ образомъ заставляющей пригибаться подъ гнетомъ извѣстныхъ требованій; онъ представлялъ собой непосредственное олицетвореніе самаго устава. Онъ истиннымъ угадывалъ, когда слѣдуетъ быть рѣзвымъ, и когда слѣдуетъ быть смиреннымъ. Въ часы рѣзвости, онъ былъ даже рѣзвѣе и шумливѣе другихъ, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже очень пріятно. Что означаетъ рѣзвость ребенка?—она означаетъ, что ребенокъ доволенъ собою, своими воспитателями, „заведеніемъ“, всею обстановкой. Она означаетъ, что въ ребенкѣ играетъ благодарное сердце, что онъ съ спокойной совѣстью обращается къ своему невинному вчерашнему дню, и съ свѣтлымъ довѣріемъ взираетъ на свой невинный завтрашній день. Такая подладка рѣзвости воспитательна даже въ томъ случаѣ, если она выражается нѣсколько шумно. Миша зналъ это, и потому въ назначенные для рѣзвости часы бѣгалъ рысью, скакалъ галопомъ, кувыркался, оглашалъ рекреационную залу крикомъ, и при этомъ никогда не приходило ему въ голову скрыться изъ района гувернерскаго наблюденія. Съ своей стороны, и воспитатели любовались его рѣзвостью, ибо видѣли, что дитя не повѣсничаетъ, а рѣзвится—потому что оно довольно и исполнено довѣрія.

— Nagornoff, mon ami! vous êtes tout en nage! allons, réproposons nous, mon enfant! говорилъ ему мсье Петанлеръ, и говорилъ такимъ голосомъ, въ которомъ явственно звучала нота безконечнаго благожелательства къ милому ребенку.

Нагорновъ хваталъ эту ноту на лету, и, прекративъ кувыркание, садился невдалекѣ отъ мсье Петанлера и дѣлался смиреннымъ. Но не принужденіе видѣлось въ его глазахъ, а удовольствіе, внушаемое сознаніемъ, что его усадили именно въ ту самую минуту, когда ему самому приходило на мысль, что слѣдуетъ сѣсть. Пройдетъ десять минутъ, онъ простынетъ, и мсье Петанлеръ, конечно, скажетъ ему:

— Allons, mon ami! amusez vous donc! Que diable! à votre âge il ne faut pas rester toujours sérieux!.

И Миша опять начнет играть въ веревочку, прыгать, скакать — и все отъ души.

Такъ шло „поведеніе“ этого мальчика; такъ же шли и „науки“. Онъ понималъ, когда слѣдуетъ учиться, и когда слѣдуетъ слушать. Въ часы репетицій онъ весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себѣ уши, мѣрно качался всѣмъ корпусомъ, и изрѣдка выпрямляясь, съ какимъ-то гордо довольнымъ видомъ произносилъ фразу изъ учебника, въ родѣ: „раздался звукъ вѣчеваго колокола — и дрогнули сердца новгородцевъ“, или: „les Novogorodiens disaient oui, et disaient oui et perdirent leur liberté“.

— Филимоновъ! обращался онъ къ своему товарищу на лавкѣ: — почему Карамзинъ сказалъ: „раздался звукъ вѣчеваго колокола“ и „дрогнули сердца новгородцевъ“, а не „звукъ вѣчеваго колокола раздался“ и сердца новгородцевъ дрогнули?

— А почему я знаю! я у него въ головѣ не былъ!

— Чудакъ! потому что такъ сильнѣе! „Раздался!“ „Дрогнули!“ — тутъ натискъ есть. Надо, чтобы именно эти, а не другія слова сразу поразили читателя!

И затѣмъ, онъ опять весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себѣ уши и мѣрно покачивался всѣмъ корпусомъ.

Но во время классовъ, тетрадки и книги всегда лежали передъ нимъ закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты магіи на ничѣмъ не покрытомъ столѣ, онъ, казалось, говорилъ учителю: смотри! я безпомощенъ! ни подъ лавкой, ни на лавкѣ у меня ничего нѣтъ, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понималъ это, и какъ бы магнитомъ влекся къ Нагорнову.

Вызываетъ, напримѣръ, русскій учитель:

— Господинъ Осликовъ! „Осель и соловей“ — какая это часть рѣчи?

— Глаголь-сь.

Миша Нагорновъ мгновенно весь просвѣтляется и вѣтъ учителя глазами.

— Извольте спрягать!

— Я осель и соловей, ты осель и соловей, онъ...

Осликовъ умолкаетъ, замѣчая, что учитель подставилъ ему ножку. Нагорновъ просвѣтляется больше и больше.

— Господинъ Нагорновъ! объясните господину Осликову, какая часть рѣчи „Осель и Соловей“?

— „Осель и Соловей“ — это заглавіе одной изъ самыхъ нравоучительныхъ басенъ дѣдушки Крылова. Это не часть рѣчи, а соединеніе трехъ словъ, изъ которыхъ два: „осель“,

„соловей“ — суть имена существительныя, а третье „и“ — союзъ.

— Садитесь, господинъ Нагорновъ, а вы, господинъ Осликовъ...

И такъ далѣе.

Однимъ словомъ, между воспитателями и учителями съ одной стороны, и Нагорновымъ — съ другой, образовалась непрерывная симпатія, и что всего важнѣе, образовалась совершенно естественно. Но за всѣмъ тѣмъ, Миша не подолжался и не шпионствовалъ, — качества, которыя особенно не нравятся товарищамъ. Онъ и въ этомъ смыслѣ могъ бы считаться образцомъ, потому что угадывалъ сущность устава не только по отношенію къ началству, но и по отношенію къ товариществу. Онъ сразу поставилъ себя такимъ образомъ, что никто ни въ чемъ не могъ его обвинить. Всякій видѣлъ, что Миша чистъ, какъ хрусталь, что онъ не предумышленно хорошо ведетъ себя и учится, а потому что иначе вести себя и учиться не можетъ. Часто онъ даже помогаль лѣнливымъ и тупымъ, объясняя передъ классомъ урокъ, переводя заданный отрывокъ изъ „De viris illustribus“, рѣшая математическія задачи и проч., но ни подсказывать, ни инымъ образомъ фальшивить не соглашался ни за что. Онъ даже лавку выбралъ такую, на которой сидѣли юноши разумные, не нуждавшіеся въ подсказываньи, и былъ безконечно счастливъ, что можетъ безъ помѣхи всецѣло предаваться почтительному и радостному услуживанію за выраженіемъ глазъ и рта учителя.

— Подлецъ ты, Нагорновъ! бражнеть отъ времени до времени Осликовъ, въ устахъ котораго слово „подлецъ“ не имѣло, впрочемъ, никакого сознательно-ругательнаго значенія: — „Солитеръ“ (такъ звали „въ заведеніи“ учителя русской грамматики по причинѣ неимоверно-длиннаго его роста) канканъ въ нѣкоторомъ родѣ человѣку ставить, а тебѣ и горы мало. Еще радуется, высказываетъ!

— Послушай, душа моя! отвѣтитъ Нагорновъ: — не могу же я, наконецъ! Чѣмъ же я виноватъ, что Амилій Васильевичъ ко мнѣ обращается?

И Осликовъ удовлетворяется этимъ объясненіемъ, або въ сущности, самъ сознаетъ, что Нагорнову нельзя иначе, и что съ другой стороны и „Солитеру“ тоже ничего иного не остается, какъ обратиться за разрѣшеніемъ вопроса не къ кому другому, а къ Нагорнову, у котораго отъ природы всѣ разрѣшенія на лицѣ написаны.

Когда въ заведеніи происходили такъ-называемыя „исторіи“, никто изъ товарищей никогда не могъ навѣрное опредѣлить,

участвовалъ ли въ нихъ Нагорновъ, или уклонился отъ участія. Скорѣе всего, что въ такія торжественныя минуты объ немъ совсѣмъ переставали думать. Какъ-то само собой разумѣлось, что Нагорнову тутъ быть не для чего, что это совсѣмъ не его дѣло. Тѣмъ не менѣе, приготовляясь въ „исторіи“, отъ него не скрывались и свободно развивали передъ нимъ проекты классныхъ возмущеній, не опасаясь, что онъ сошніонитъ. И дѣйствительно, онъ не только не шпионилъ, но, заодно съ другими, выносилъ на себѣ послѣдствія „исторій“.

— Eh bien, Nagornoff, mon ami! nous savons parfaitement que vous n'avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Sôyez donc sincère, mon enfant! Racontez nous, comment cela s'est passé! уговаривалъ его мсье Петанлеръ, залучивъ куда-нибудь въ уединенную комнату.

— Pardonnez moi, monsieur, j'ai été coupable comme les autres! отвѣчалъ Миша, то краснѣя, то блѣднѣя подъ гнетомъ насилія, которое онъ долженъ былъ сдѣлать надъ собой, чтобы наклеветать самому на себя.

— Vous mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! Prenez garde, cher enfant! n'entrez pas dans cette voie pernicieuse qui a déjà gâtée la carrière de maint jeune homme!

— Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas!

Нагорнова отпускали, но онъ явственно слышалъ, какъ мсье Петанлеръ, хотя и ничего отъ него не добившись, все-таки вслѣдъ ему говорилъ: va, généreux jeune homme!

Такимъ образомъ, даже самыя „преступленія“ не только не пятнали его, но даже служили на пользу, сообщая ему, въ понятіяхъ начальства, отъѣнокъ чего-то рыцарскаго.

— Такъ какъ я не могу вѣрить, чтобы воспитанникъ Нагорновъ участвовалъ въ вашей недостойной шалости, то, лишая весь классъ отпуска въ слѣдующее воскресенье, я для господина Нагорнова дѣлаю исключеніе! сказалъ однажды инспекторъ, послѣ одной изъ подобныхъ исторій.

Но Нагорновъ твердою стопой вышелъ изъ рядовъ, и рѣшительно произнесъ:

— Позвольте и мнѣ раздѣлить участь моихъ товарищей!

Инспекторъ ласково взглянулъ на него, потрепалъ по щекѣ, и прошепталъ:

— Toujours le même! toujours bon et généreux!—продолжалъ въ свои апартаменты.

Просьба перваго ученика была удовлетворена и онъ раздѣлялъ участь своихъ товарищей.

Анну Михайловну такія исторіи всегда приводили въ волненіе. Во-первыхъ, онъ лишали ее случая видѣть Мишу въ

воскресенье дома, и во-вторых, она, какъ женщина, постоянно трепетала, какъ бы Миша какъ-нибудь въ солдаты не угодилъ.

— Какіе-нибудь негодяи, мерзавцы кашу заварять, жаловалась она:—а нашъ терпи! Ихъ домой не пускаютъ, и нашего не пускаютъ! ихъ въ солдаты—и нашего въ солдаты!

Но защитникомъ Миши въ этихъ случаяхъ являлся самъ Семенъ Прокофичъ.

— Что касается до солдатовъ, то ты это черезчуръ хватилъ, говорилъ онъ.—А относительно товарищества вотъ что скажу: товарищей тоже выдавать не слѣдуетъ. Почему знать, кто чѣмъ въ будущемъ сдѣлается? Можетъ, прохвостомъ, а можетъ и съ неба звѣзды хватать станетъ! Ты его теперь выдашь, а онъ въ свое время тебѣ припомнить: а помнишь ли, скажешь, любезный другъ, какъ я передъ учителемъ дубина дубиной стоялъ, а ты въ ту пору надо мной фривольничалъ? Такъ-то вотъ,

— Все же таки...

— И все-таки ничего. Безъ ума головорѣзничать нашъ Михайло Семенычъ не станетъ—не таковъ онъ у насъ—а держаться около товарищей полезно и нужно,—это я всегда скажу. Нынче такое время, что не знаешь, съ кѣмъ говоришь, и къ кому завтра подъ начало попадешь. Ужъ я на что старикъ—и то берегусь. Сегодня, онъ по тротуару гремитъ, а завтра онъ начальникомъ надъ тобой будетъ. Ты ему сегодня, покуда онъ по тротуару гремитъ, сгрубилъ, а завтра онъ тебя въ бараній рогъ согнетъ... Вотъ тутъ и угадывай!

Соображенія эти нѣсколько успокоивали Анну Михайловну, и едва успѣвали отобѣдать, какъ она уже лѣтѣла въ „заведеніе“, завернувъ въ салфетку пирогъ съ сигомъ, до котораго въ эти дни, разумѣется, никто не дотрогивался. И умиленіе ея возрастало до крайнихъ предѣловъ, когда самъ Петанлеръ, узнавъ о ея пріѣздѣ, подходилъ къ ней и говорилъ:

— Вашъ сынъ, сударыня,—это утѣшеніе родителей, слава заведенія и гордость товарищей!

Судебная реформа произвела „въ заведеніи“ необыкновенное, почти отуманивающее дѣйствіе, особливо съ той минуты, когда на дѣлѣ послѣдовало открытіе новыхъ судовъ, и ученики увидѣли ихъ лицомъ къ лицу. Витіи гремѣли, присяжные засѣдатели глядѣли безпомощно и метались словно въ предсмертной агоніи; судьи старались казаться безстрастными. Въ

публикѣ ходили слухи о какихъ-то баснословныхъ кушахъ, о какихъ-то компаніяхъ, состоявшихся съ цѣлью наипосѣднѣйшаго ободренія кліентовъ. Говорили, что изъ Москвы нарочно пріѣзжалъ какой-то грекъ и предлагалъ разостлать по всей Россіи такую паутину, чтобы ни одинъ кліентъ не могъ миновать ее, а разъ попавшись, не могъ бы изъ нея выпутаться.

— Позвольте, однакожь, спорили въ публикѣ:—ежели всѣхъ кліентовъ сразу умертвить,—что-жь останется въ будущемъ?! Въдѣ это значить подрывать будущее!

— Какое тамъ еще будущее! отвѣчали спорщикамъ:—во-первыхъ, кліентъ безсмертенъ: сегодня умерщвленъ одинъ, завтра народится другой; во вторыхъ, ежели переведется кліентъ, развѣ нельзя фабрикаціей гороховой колбасы заняться, или по желѣзно-дорожной части куски рвать? Тутъ, батюшка, каждая минута дорога!

Повѣтствовали, что такой-то взялъ съ кліента тридцать процентовъ, такой-то уготовалъ себѣ мѣсто предсѣдателя конкурса съ фельдмаршальскимъ жалованьемъ, такъ что всѣ доходы съ имѣнія несостоятельнаго должника должны будутъ пойти на удовлетвореніе расходовъ по конкурсу...

Но суды открывались постепенно, потому что „людей не было“; адвокатскіе ряды пополнялись тоже медленно, тоже потому, что „людей не было“. До тѣхъ поръ были только звѣри, а теперь понадобились люди. Но для людей, если таковые находились, ворота были отворены настежь: будь только человекъ—и можешь быть обнадеженъ,

Что подъ каждымъ здѣсь листомъ  
Ты найдешь и столъ и домъ...

Карьера!—Это слово спирало въ зобу дыханіе. Прежде, карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для нѣкоторыхъ „особливою знатностью отличающихся людей“. Худородный человекъ долженъ былъ употребить неимоверныя усилія, чтобы добраться до пирога. Сколько нужно было съѣсть грязи! сколько перецѣловать плечиковъ! сколько поставить банокъ къ поясницѣ, наболѣвшей и словно помертвѣвшей подъ гнетомъ ожиданій въ приѣмныхъ, переднихъ и канцеляріяхъ! Алчущій пирога, предварительно допущенія къ нему, долженъ былъ проглотить шнагу, съѣсть раскаленный желѣзный орѣхъ, запитъ стаканомъ дегтя и т. д. Теперь,—пирогъ стоялъ ничѣмъ не защищенный, при открытыхъ дверяхъ, и всѣхъ приглашалъ насладиться. „Вси приходите! вси насладитесь! Всякій да астъ!“

И тотъ, кто пришелъ въ шестомъ часу, и тотъ, кто пришелъ въ девятомъ часу! Лишь бы былъ человѣкъ! Жри!

Человѣкъ! Но гдѣ же клеймо, съ помощью котораго можно было бы отличить человѣка отъ тысячеглаваго змія? На первыхъ порахъ, многіе затруднялись этимъ вопросомъ и вслѣдствіе того робѣли рекомендоваться въ качествѣ людей. Но вскорѣ одумались и начали дѣйствовать вольнымъ духомъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же тотъ юродивый простецъ, который, облизываясь на пирогъ, скажетъ о себѣ: хотѣлось бы мнѣ отвѣдать сего пирога, но, въ сожалѣнію, я не человѣкъ! Не правильнѣ ли предположить, что даже тотъ, кто воистину не человѣкъ, скорѣе скроетъ это печальное обстоятельство, нежели публично повѣдаетъ объ немъ, добровольно воздерживаясь отъ пирога? Въ древнія времена, юродивымъ было довольно трудно скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили съ лампадами: погаснетъ лампада, навоняетъ—значить, нѣтъ тебѣ царства небеснаго. Нынче и тутъ облегченіе: юродивый безъ лампады ходить, и слѣдовательно имѣетъ возможность напакоотить съ гору, прежде нежели наполнить вселенную зловоніемъ...

Такимъ образомъ, люди нашлись...

И что за карьера предстояла имъ! Съ одной стороны—лестная обязанность защищать общество отъ поползновеній преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснѣйшимъ содержаніемъ и надеждами на блестящее будущее, въ случаѣ оправданія начальственнаго довѣрія. Съ другой—лестная обязанность ограждать невиннаго, защищать погрѣнное право собственности,—обязанность, сопровождаемая тысячными кушами, пѣніемъ, танцами, увеселительными прогулками съ Деверіей, Шнейдершей, а пожалуй, хоть и съ цѣлымъ персоналомъ любого кафе-шантана...

— Ты что получилъ за такое-то дѣло?

— Да что! всего пять тысячъ! не стоило руки марать!

— А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть! Нароботаю тысячъ двѣсти-триста—и на боковую!

Такого рода разговоры слышались вездѣ, да другихъ (по крайней мѣрѣ, въ теченіе перваго, горячаго времени) и не было... Рестораны переполнены; шампанское льется рѣкой; облитые потомъ татары бѣгаютъ, не слыша подъ собою ногъ; ассигнаціи мельбаютъ въ воздухъ, какъ мухи въ жаркій лѣтній день... Кто сіи ликующие, стремящіеся затмить своимъ ликоваціемъ ликоваціе желѣзнодорожныхъ дѣятелей? Это они, это вчерашніе рыбаки, это сегодняшніе ловкачи-ташкентцы, отвѣдывающие отечественнаго пирога!

Спеціалисты по части убійствъ, спеціалисты по части лич-



ных оскорблений и купеческих самодурствъ, специалисты по части бракоразводныхъ дѣлъ—все посыпалось словно изъ рога изобилія. Пальцы, сапоги, сакъ-вожжи, ситцы, люстрины... пожалуйста, господинъ! къ намъ пожалуйте!

Жрать!!!

Рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго — простеца, мѣшаетъ спать. „Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль! зачѣмъ ты зажалъ его въ рукѣ — разожми! Я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ сигару!“

Дальше рубля взоръ ничего не видитъ. Ни общаго смысла жизни, ни смысла обще-человѣческихъ поступковъ, ни прошлаго, ни настоящаго, ни будущаго. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось въ одномъ словѣ: жрать!

Естественно, что этотъ неистовый кличъ, немолчно раздававшійся постогнамъ города, не могъ не взволновать воображенія птенцовъ „заведенія“. Въ этомъ кличѣ открывалась своего рода система, новый кругъ, въ которомъ имъ суждено было вертѣться, и они ринулись туда съ головой. Птенецъ, у котораго вчера другой мысли не было, кромѣ: „раздался звукъ вѣчеваго колокола“, сегодня, пользуясь праздничнымъ днемъ, уже намѣчаетъ на Невскомъ чистокровный рыжій экземпляръ, и не безъ увѣренности говорить себѣ: „моя“! Слыша, что происходитъ въ мірѣ большихъ, каждый птенецъ сознаетъ себя чело-вѣкомъ, ибо каждый понимаетъ, что въ немъ имѣется достаточный запасъ юркости и способности, чтобы вмѣстѣ съ другими кричать: лови! не задерживай талин! слѣдующій! слѣдующій!

Но если „птенцы“ были взбударажены, то родители, въ свою очередь, отъ полноты чувствъ, могли только произносить: ахъ! Они смотрѣли на своихъ подростковъ, представляли себѣ, что ждетъ ихъ въ будущемъ, и говорили: ахъ! Они шли по Невскому, встрѣчались съ камеліей, и ихъ осыпала мысль, что, можетъ быть, черезъ годъ эта самая камелія (увы! нынче родители уже и объ этихъ дѣтскихъ удобствахъ некутса!)... ахъ! Проходя мимо Елисеева, Дюссо, Бореля, они восклицали: ахъ! Даже на художественную выставку смотрѣли какими-то плотоядными, завидующими глазами... Только бы поскорѣе, только бы курсъ кончить, а что всѣ эти Елисеевы, Борели, кокотки, художники будутъ въ нашихъ рукахъ—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія! За это ручается врожденная юркость „птенцовъ“, ихъ способность кричать всегда и при всякомъ случаѣ: лови! не задерживай!

Подобно другимъ, Миша Нагорновъ ходитъ какъ отуманенный. Онъ ропщетъ на Бога и на людей за то, что ему еще

два года предстоит маяться въ „заведеніи“. Онъ чувствуетъ себя уже готовымъ, то-есть на столько же юркимъ, какъ Х или Z, давно уже приобрьвшіе себѣ титулъ „ловкачѣй“. Онъ даже пробовалъ однажды свои силы: переодѣлся въ штатское платье, и подъ именемъ „аблакаты“ Иванова явился въ камеру мирового судьи защищать дѣло „о излишне затребованномъ за коглету четвертакѣ“.

— И защитилъ! говорилъ онъ, весь пылая, собравшимся вокругъ него товарищамъ:—ахъ, господа! вы представить себѣ не можете, какое это чувство!

Въ „заведеніи“, вмѣсто баровъ, игры въ веревочку и пяташки, завелась игра въ суды. Явились судьи, прокуроры, адвокаты. Присяжные засѣдатели избирались изъ учениковъ младшаго класса на томъ основаніи, что они, какъ дѣти, должны были сохранить совѣсть во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно лѣнивейшій изъ учениковъ, Осликовъ, на томъ основаніи, что ему, какъ неспособному и притомъ сыну очень бѣдныхъ родителей, не предстоитъ въ будущемъ никакой блестящей карьеры, а слѣдовательно и готовиться не къ чему, кромѣ скамьи обвиняемыхъ. Обвиняли его въ самыхъ разнообразныхъ преступленіяхъ, такъ что еслибъ сложить ихъ всѣ вмѣстѣ и показать ему эту массу злодѣйствъ въ яркой картинѣ, то даже онъ, несмотря на свою непонятливость, понималъ бы и пришелъ бы въ ужасъ отъ неключимости содѣянаго имъ.

Едва пробилъ звонокъ, возбѣщающій рекреацію, какъ уже ученики бѣгутъ въ залъ и торопливо садятся по мѣстамъ. Слышится сдержанный говоръ; Осликовъ уже засѣлъ на скамью подсудимыхъ и окидываетъ товарищей безучастнымъ взглядомъ; защитникъ Тонкачевъ вбѣгаетъ запыхавшись, какъ будто сейчасъ только перехватилъ въ буфетной, и наскоро перелистовываетъ бумаги. Онъ изрѣдка обращается къ Осликову и шепчетъ ему, настолько однакожъ громко, что передніе ряды публики слышатъ: смотри же, болванъ, показывай, какъ я училъ. Я тутъ за тебя распинайся буду, а ты, пожалуй, съ дуру бракнешь!.. По другую сторону залы, сидитъ обвинитель Нагорновъ, котораго отертая фізіономія блещетъ сладкою увѣренностью что вотъ-вотъ сейчасъ этого самаго Осликова онъ безъ масла проглотитъ. Судъ намѣренно мѣшкаетъ. Присяжные засѣдатели вздыхаютъ, и распускаютъ о томъ, нельзя ли какъ нибудь отпроситься. Наконецъ влетаетъ судебный приставъ (тоже изъ лѣнивыхъ) и возглашаетъ: судъ идетъ! Всѣ встаютъ и молча ожидаютъ, покуда судьи усядутся.

Нѣкоторое время судьи шепчутся. Они понимаютъ, что

судьямъ необходимо совѣщаться, хотя бы они сейчасъ только вышли изъ совѣщательной комнаты. Судья потому и судья, что онъ никогда не можетъ всего предвидѣть, и потому всегда долженъ совѣщаться. Наконецъ, шептанье оканчивается; председатель, ученикъ старшаго класса Кнабенвурстъ, вынимаетъ бумажки съ именами присяжныхъ. Онъ дѣлаетъ это такъ опрятно, какъ будто показываетъ фокусы. „Смотрите, господа!“ такъ, кажется, и говоритъ онъ: „вотъ полтинникъ, но вы можете быть увѣрены, что покуда онъ находится въ этихъ рукахъ, онъ никогда не превратится ни въ полумпериаль, ни даже въ цѣлковый!“ Присяжные засѣдатели выбраны и начинаютъ отлынивать.

— Помилюте, ваше превосходительство, я сижу въ мелочной лавочкѣ — кто же теперича за меня сидѣть будетъ! отговаривается одинъ.

— Я даже не понимаю, какимъ образомъ позволили себѣ привлечь меня... я въ государственной службѣ состою! удивляется другой.

— Я и по домашности-то моей даже самаго простаго обстоятельства разсудить не могу! оправдывается третій.

Судъ шепчется, и оставляетъ всѣ отговорки безъ послѣдствій. Засѣдатели вздыхаютъ, и понуривъ головы, садятся на лавкѣ вблизи прокурора. Одинъ изъ нихъ немедленно притворяется спящимъ.

На сей разъ, Осликовъ является въ роли отставнаго солдата Дорофеева и обвиняется въ кражѣ со взломомъ. Но онъ ни въ чемъ не сознается.

— Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человекъ слабый, пьяный! говоритъ онъ.

— Разскажите же намъ, какъ все это было! настаиваетъ, тѣмъ не менѣе, председатель.

Защитникъ Тонкачевъ вскакиваетъ, какъ ужаленный.

— Въ виду такой-то статьи такого-то тома и такой-то статьи такихъ-то правилъ, запрещающихъ домогаться отъ обвиняемаго признанія, говоритъ онъ:—я требую, чтобы мое заявленіе было записано въ протоколъ.

Судъ снова шепчется.

— Въ виду сейчасъ приведенныхъ защитникомъ законовъ, говоритъ, наконецъ, председатель: — подсудимый! вы можете не сознаваться! Это ваше право! Защитникъ! настаиваете ли вы на томъ, чтобы ваше заявленіе было записано въ протоколъ.

Защитникъ расшаркивается и говоритъ, что давнымъ подсудимому правомъ не сознаваться онъ удовлетворенъ даже пре-

выше своих желаній. Онъ видитъ теперь, что передъ нимъ дѣйствительно судъ скорый, милостивый и правый...

— Приступимъ же къ выслушанію свидѣтелей.

Показанія свидѣтелей отличаются сбивчивостью и неопредѣленностью. Потерпѣвшая сторона, содержатель ночлежной, Савелій Потаповъ, не можетъ утвердительно сказать, точно ли найденный у Дорофеева грошъ принадлежалъ ему, Потапову.

— Мой будто зубомъ покусанъ былъ, а этотъ новъй, говоритъ онъ.

Прокуроръ вскакиваетъ и пронизываетъ Потапова взглядомъ.

— Такъ вы точно помните, что у васъ наканунѣ грошъ былъ?

— Да, это точно... былъ! Былъ грошъ—это вѣрно.

— Этого для меня достаточно-съ!

Прокуроръ что-то отмѣчаетъ карандашомъ на бумагѣ; защитникъ въ свою очередь нѣчто записываетъ.

Другой свидѣтель показываетъ:

— Это точно, что онъ возлѣ меня на нарахъ лежалъ...

— Такъ вы точно помните, что онъ лежалъ? Это не показалося вамъ? вы подтверждаете это и теперь? допекаетъ прокуроръ.

— Лежалъ — это вѣрно! Рядомъ легли — рядомъ и встали!

— Этого для меня совершенно достаточно!

— Если для обвинителя этого достаточно, то для меня... встаетъ съ своего мѣста защитникъ, но предсѣдатель прерываетъ его, говоря, что онъ въ свое время можетъ сказать все, что находитъ нужнымъ въ защиту подсудимаго.

— Я прошу занести въ протоколъ мое заявленіе, что защита не свободна! настаиваетъ Тонкачевъ.

Предсѣдатель шепчется и объявляетъ, что защита можетъ, если желаетъ, сдѣлать нужное, по ея мнѣнію, замѣчаніе.

Тонкачевъ встаетъ, расшаркивается и заявляетъ, что онъ отлагаетъ замѣчаніе до произнесенія защитительной рѣчи. Тѣмъ не менѣе, онъ считаетъ своимъ долгомъ съ гордостью заявить, что видитъ передъ собой судъ скорый, милостивый и правый, который навѣрное отнесется къ его несчастному кліенту съ тою же гуманностью, съ какою относился и къ его собственнымъ заявленіямъ...

Наконецъ, перекрестный допросъ кончился. Слово за прокуроромъ. Миша Нагорновъ нѣсколько блѣденъ, но глаза его такъ и пронизываютъ. Голосъ его сначала дрожитъ, но потомъ постепенно дѣлается тверже и тверже, и подъ конецъ начинаетъ словно отчеканивать.

„Господа судьи! господа присяжные засѣдатели! говорить

онъ. — 15-го іюня, на Сѣнной площади, совершилось преступленіе, не яркое по своему виѣшнему выраженію, но яркое по своей сущности; преступленіе, доказывающее съ очевидностію, до какой степени недостаточны и слабы въ нашемъ обществѣ понятія о правѣ собственности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вамъ, какъ необходимо, чтобы въ обществѣ существовали твердыя понятія о собственности; вы сами принадлежите къ почетному сословію собственниковъ, и лучше меня можете понять, какія важныя послѣдствія сопряжены для общества и для васъ съ сохраненіемъ этой твердыни, на которой зиждется благополучіе государствъ и народовъ. Криминалисты на счетъ этого единогласны: общество, не признающее собственности, — говорятъ они, — подобно стаду дикихъ звѣрей, изъ которыхъ каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, совершенно достаточно, чтобы помочь вамъ встать на ту высоту, на которой слѣдуетъ стоять при обсужденіи предстоящаго намъ дѣла. Итакъ, въ іюнѣ 18\*\* года, на Сѣнной площади, здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ сказать, въ центрѣ промышленнаго движенія, почти подъ глазами полицейскаго надзора, совершено дерзкое преступленіе. Въ ночь этого числа, въ одну изъ ночлежныхъ квартиръ, которыми изобилуетъ эта мрачная мѣстность, пришелъ ночевать отставной солдатъ Дорофеевъ, а на другой день утромъ, когда хозяинъ квартиры, Савелій Потаповъ, проснулся и, по своему обыкновенію, пошелъ въ сундукъ, то сундукъ этотъ оказался распертымъ, замокъ у сундука сломаннымъ, пробой сорваннымъ. При этомъ, считаю долгомъ обратить ваше вниманіе, господа присяжные, на слѣдующее обстоятельство, къ которому я впослѣдствіи обращусь. Обстоятельство это заключается въ томъ, что до того времени Дорофеевъ почти каждый день посѣщалъ ночлежную Потапова, но дней за пять поссорился съ хозяиномъ и до 15-го числа ночевать къ нему не ходилъ.

„Такова, милостивые государи, фабула преступленія. Спустимся же съ факеломъ правосудія въ дебри преступленія и постараемся освѣтить ихъ. Но прежде, чѣмъ идти далѣе, я долженъ объяснить вамъ, господа присяжные, значеніе такъ-называемыхъ косвенныхъ уликъ.

„Что такое косвенная улика? — Это такой признакъ преступленія, который хотя самъ по себѣ не имѣетъ никакого значенія, но будучи сопоставленъ съ другими тоже неимѣющими собственнаго значенія признаками, будучи разсматриваемъ, такъ сказать, въ связи съ цѣлымъ рядомъ такого же рода признаковъ, составляетъ совершеннѣйшее доказательство. Предположимъ, напримѣръ, что въ городѣ совершено убійство. Убить

Z, котораго видѣли, какъ онъ вчера въ такомъ-то часу вечера, выходилъ изъ кабака вмѣстѣ съ X, и о которомъ съ тѣхъ поръ никто ничего не слыхалъ. Вотъ это-то обстоятельство, что X вышелъ изъ кабака вмѣстѣ съ Z, и есть первое звено въ цѣпи косвенныхъ уликъ, которыми впослѣдствіи пораженъ будетъ X. Взятое отдѣльно, оно, конечно, ничего не значитъ. X могъ выйти вмѣстѣ съ Z изъ дверей кабака, но пройдя по улицѣ нѣсколько шаговъ, они могли разойтись въ разныя стороны — совершенно исключить такого рода возможность нельзя. Но тутъ начинается рядъ послѣдующихъ уликъ. Во-первыхъ, у X найдена на рукѣ царапина. И эта улика, конечно, сама по себѣ недостаточна, ибо X могъ оцарапать руку случайно, ему могла оцарапать ее кошка и т. д. Но вотъ является вторая улика: на ногахъ у X найдены сапоги убитаго, которые были на послѣднемъ въ то время, когда его видѣли въ кабакѣ; это уже значительная прибавка къ суммѣ уликъ, хотя сама по себѣ и она все-таки ничего не значитъ. Мало-ли какимъ образомъ могъ приобрести X сапоги Z? Онъ могъ купить ихъ, могъ, наконецъ, выпросить! Все это далеко не невозможно. Но здѣсь на помощь является третья улика: X не можетъ объяснить употребленіе своего времени между моментомъ выхода вмѣстѣ съ Z изъ кабака, и моментомъ, когда Z найденъ мертвымъ на улицѣ. Вы скажете, что и этотъ фактъ не имѣетъ рѣшительнаго значенія; вы скажете, что X, подъ влияніемъ винныхъ паровъ, могъ забыть, гдѣ онъ былъ, что онъ могъ забыть это по расхлябанности, что онъ, можетъ быть, провелъ это время въ предосудительномъ мѣстѣ и ему не хочется въ томъ сознаться? Я первый со всѣмъ этимъ согласенъ, господа присяжные, но потому-то и убѣждаю васъ: обращайтесь вниманіе не на каждую косвенную улику въ отдѣльности, а на ихъ совокупность. Совокупность — это уже не отдѣльная какая-нибудь улика, но цѣлая, такъ сказать, совокупность или, другими словами, рядъ уликъ, взаимно другъ друга провѣряющихъ и подтверждающихъ!

„Совокупность—это единственное орудіе, которое имѣетъ правосудіе для борьбы съ зломъ! Зло уклончиво и лукаво, господа присяжные; оно совершаетъ свои дѣянія въ темнотѣ ночи, оно окутываетъ ихъ мракомъ, составляетъ для нихъ искусственную обстановку, обманываетъ, замечаетъ слѣды! Но здѣсь-то именно и настагаетъ его недремлющее око правосудія! Если ты тамъ не былъ, то гдѣ же ты былъ? если ты не помнишь, гдѣ былъ, то почему у тебя на рукѣ царапина? Какимъ образомъ очутились на твоихъ ногахъ чужіе сапоги? И такъ далѣе — покуда, наконецъ, изъ всѣхъ этихъ мелкихъ и,

господа ташкентцы.

повидимому, ничтожных признаков не образуется совершеннойшее доказательство!

„Вотъ этою-то „совокупностью уликъ“ и намѣренъ воспользоваться я относительно лица, сидящаго предъ вами на скамьѣ обвиненныхъ.

„Первая косвенная улика — это самый сундукъ, который былъ вамъ предъявленъ. Онъ носить на себѣ всѣ признаки взлома, и конечно, самъ подсудимый не будетъ столь смѣлъ, чтобъ утверждать, что онъ въ такомъ видѣ вышелъ изъ рукъ творца.

„Взломъ существуетъ—это фактъ!!

„Но взломъ сдѣланъ не просто для взлома, а съ преступною цѣлью воспользоваться чужою собственностью — это тоже фактъ!! Еще вечеромъ 15-го іюня 18\*\* года, Потаповъ считалъ себя обладателемъ двоихъ старыхъ пестрадинныхъ портовъ, одной почти новой рубашки и монеты, называемой въ простонародьи семишникомъ. Утромъ, 16-го числа, этихъ вещей у него не стало. Онъ исчезли, испарились, улетучились—все, что угодно, но только исчезли со взломомъ, съ помощью сломаннаго всячаго замка и сорваннаго пробоя! Это вторая косвенная улика!

„Зачѣмъ Дорофеевъ пришелъ къ Потапову? Защита, быть можетъ, скажетъ, что таково было обмѣнованіе Дорофеева; что квартира Потапова была ночлежнымъ домомъ, въ которомъ каждую ночь почевало множество лицъ! Но, во-первыхъ, господа присяжные, къ словамъ защиты вообще слѣдуетъ относиться съ нѣкоторымъ недовѣріемъ. Защита заинтересована въ оправданіи своего кліента (сильное движеніе со стороны Тонкачева (ого!), предсѣдатель съ безповойствомъ смотритъ на Мишу, но послѣдній не смущаясь продолжаетъ); скажу болѣе: отъ этого оправданія зависитъ самое матеріальное обезпеченіе защиты (Тонкачевъ вскакиваетъ)... Но прекратимъ, однакоже, этотъ разговоръ, который—я сознаю—не всѣмъ можетъ здѣсь нравиться... И такъ, продолжаю. Во-вторыхъ, говорю я, почему же Дорофеевъ пришелъ почевать къ Потапову именно въ ту самую ночь, когда у послѣдняго совершена кража... кража со взломомъ, господа присяжные! Или тутъ есть игра природы? или чудесное какое нибудь стеченіе обстоятельствъ? Мы охотно согласились бы съ этимъ предположеніемъ, если бы не жили въ просвѣщенномъ девятнадцатомъ вѣкѣ, когда вѣра въ чудеса уже значительно утратила свою силу! Да, господа присяжные, тутъ нѣтъ ни игры природы, ни чуда, а просто на просто есть третья косвенная улика!

„Чтобъ доказать, что тутъ нѣтъ никакого чуда, намъ не нужно даже ссылаться на просвѣщенное время, среди котораго мы живемъ. Мы такъ легко, самыми обыкновенными средствами, можемъ распутать эту кажущуюся случайность, что она даже въ вашихъ глазахъ, гг. присяжные, утратитъ всякое право претендовать на названіе случайности. И дѣйствительно, слѣдствіе съ полною ясностью раскрываетъ намъ, что передъ этимъ Дорофеевъ въ ряду пять дней не ночевалъ у Потапова, а имѣлъ пріютъ у другого ночлежника, Кузьмы Герасимова. Почему такъ?—на этотъ вопросъ слѣдствіе отвѣчаетъ прямо: Дорофеевъ былъ во враждѣ съ Потаповымъ, и именно поссорился съ нимъ за пять дней передъ кражею, и именно изъ-за той почти новой рубахи, которая, какъ и сказалъ выше, вышѣ съ прочимъ имуществомъ исчезла въ ночи 15-го іюня 18\*\* года. За пять дней передъ тѣмъ, Дорофеевъ проситъ Потапова продать ему означенную выше рубашку; Потаповъ соглашался, но просилъ 50 копеекъ; Дорофеевъ давалъ только 40. Торгъ не состоялся, но злоба запала глубоко въ сердце Дорофеева. Онъ уже тогда не могъ сдержать ее, и при постороннихъ людяхъ сказалъ Потапову: погоди-жь ты! Во сколько же разъ должна была возрасти эта злоба въ теченіе послѣдующихъ пяти дней! Не забудьте, господа присяжные, что Дорофеевъ человѣкъ неразвитый, человѣкъ права грубаго, человѣкъ, котораго ежеминутно должна была точить мысль объ этой почти новой рубашкѣ, на которую онъ, повидимому, давно уже смотрѣлъ завистливыми глазами! Въ виду этого соображенія, ссора Дорофеева съ Потаповымъ является уже не просто четвертой косвенной уликой кражи со взломомъ, но и уликой преднамѣреннаго ея совершенія!

„Но идемъ дальше. Свидѣтель Онуфріевъ утверждаетъ, что самъ слышалъ, какъ Дорофеевъ чиркалъ спичкою, чтобъ добыть огня, а свидѣтель Прохоровъ прямо показалъ, что лежа подлѣ Дорофеева, онъ очень отчетливо слышалъ, какъ послѣдній ворочался съ боку на бокъ. Свидѣтельства подавляющія! Тѣмъ не менѣе, Дорофеевъ возражаетъ противъ нихъ и, смѣю такъ выразиться, съ невозмутимомъ наглостію утверждаетъ, что онъ добывалъ себѣ огня и ворочался на нарахъ, потому что хотѣлъ идти за естественной надобностію! Позволяю себѣ, однакожь, думать, гг. присяжные, что вы оцѣните это объясненіе, какъ оно того заслуживаетъ. Какъ! и здѣсь является эта всегдашняя безчестная уловка людей, промышляющихъ темнымъ и опаснымъ ремесломъ незаконнаго стяжанія! И вы повѣрите ей! Вещь неслыханная („chose inouïe“)! Этихъ людей какъ-то всегда обу-  
реваютъ естественныя надобности именно въ тѣ минуты, когда



имъ предстоитъ привести въ исполненіе ихъ темныя, глубоко обдуманныя замыслы! Естественная надобность! что можетъ быть законнѣе этой причины!! Но, спрашиваю я васъ, развѣ Дорофеевъ былъ въ первый разъ въ этомъ домѣ, чтобъ не имѣть полной возможности удовлетворить своей надобности безъ помощи огня? Развѣ онъ не знаетъ всѣхъ входовъ и выходовъ? не знаетъ, какъ расположена всякая нара, какъ нужно пройти, чтобъ достигнуть желаемого? — Нѣтъ, онъ знаетъ все это; онъ не знаетъ опредѣлительно только одного: гдѣ стоитъ хозяйскій сундукъ, тотъ сундукъ, который ему предстоитъ взломать. И вотъ, пользуясь темнотою ночи, увѣренный, что ночлежники, послѣ тяжелаго трудового дня, заснули сномъ, который позволяю себѣ назвать непробуднымъ, онъ зажигаетъ спичку, и идетъ. Куда идетъ? что хочетъ совершить? — онъ не рассказываетъ намъ объ этомъ. Но мы... мы уже угадываемъ его преступныя намѣренія! Мы слѣдили шагъ за шагомъ за его дѣйствіями, и позволяемъ себѣ думать, что у насъ прибавилась еще пятая косвенная улика, и притомъ такая, которая, кромѣ кражи со взломомъ, свидѣлствуетъ еще и о нераскаянности обвиняемаго.

„Наконецъ; и еще улика — шестая: у Дорофеева на другой день, утромъ, при обыскѣ, найденъ былъ за голенищемъ сапога семишникъ. Конечно, Дорофеевъ утверждаетъ, что эти двѣ копейки составляютъ его собственность, — но гдѣ-жъ доказательства справедливости этого показанія? Кто видѣлъ, что у Дорофеева вечеромъ 15-го числа 18\*\* года были эти двѣ копейки? И почему у него оказалось именно двѣ, а не три, не пять, не десять, не двадцать копеекъ? Опять игра случая! Странная эта игра, господа присяжные! выгодная для подсудимаго, но которую, благодаря вашему просвѣщенному суду, ему положительно придется на будущее время оставить! Правда, что самъ Потаповъ показываешь, что бывшій у него семишникъ будто бы покусанъ зубомъ, между тѣмъ какъ монета, найденная у Дорофеева, имѣетъ видъ совершенно новый. Но можно ли вѣрить Потапову, потерпѣвшему отъ преступленія? Почему не предположить, что имъ овладѣло состраданіе къ своему старинному квартиранту? что онъ, давая сбивчивыя показанія, дѣйствовалъ подъ вліяніемъ угрозъ, внушеній, мольбы? Но васъ, господа присяжные, подобныя колебанія въ показаніяхъ потерпѣвшей стороны не должны останавливать; или лучше сказать, на васъ они должны имѣть силу совершенно въ обратномъ смыслѣ. Вы должны сказать себѣ: эти колебанія не больше какъ колебанія; а за ними стоитъ неоспоримая, неопровержимая и со всѣхъ сторонъ непререкаемая истина, которую я позволяю

себѣ формулировать слѣдующимъ образомъ: вчера пропало двѣ копейки, сегодня—найдено тоже двѣ копейки. Ни больше, ни меньше.

„Вы спросите, можетъ быть: гдѣ же другія вещественныя доказательства, исчезнувшія изъ сундука вмѣстѣ съ семишникомъ? гдѣ двое старыхъ пестрядиныхъ портовъ? гдѣ почти новая рубашка? гдѣ носовой платокъ, о которомъ, по незааявленію претензіи со стороны потерпѣвшаго лица, обвиненіе можетъ только догадываться? На это я могу отвѣчать одно: не знаю. Но въ то же время позволяю себѣ предложить слѣдующую догадку. Если означеннаго имущества не оказалось у Дорофеева, то не значить-ли это, что онъ его спряталъ? Отсутствіе вещественныхъ доказательствъ развѣ всегда равносильно несуществованію ихъ? Нѣтъ, въ большей части случаевъ, тутъ не только нѣтъ тождества, но есть даже доказательство совершенно противнаго. Поймите меня, гг. присяжные! Когда человѣкъ боится показать какую-нибудь вещь, то ему ничего другого не остается, какъ спрятать ее — это аксіома. Слѣдовательно, если мы не находимъ искомаго даже послѣ самаго тщательнаго обыска, произведеннаго у преступника, то это еще не значить, что искомаго у него нѣтъ, а означаетъ только, что онъ имѣлъ основаніе тщательно отъ насъ его скрыть. Таково мое внутреннее, глубокое убѣжденіе.

„Я кончилъ, господа присяжные. Вы знаете изрѣченіе: да будетъ судъ правый и милостивый и, конечно, постараетесь не односторонне, но всесторонне отнестись къ предстоящему вамъ подвигу. Пусть будетъ вашъ судъ правымъ и милостивымъ, но въ тоже время, пусть будетъ онъ милостивымъ и правымъ. Пусть надъ преступникомъ прострется ваше милосердіе, но въ то же время, пусть кара, достойная преступленія, постигнетъ его! Тогда, и только тогда вы будете на высотѣ вашего призванія, и докажете враждебнымъ элементамъ, неустанно подтачивающимъ священнѣйшія основы общества, что милосердное око правосудія не дремлетъ. Оно не дремлетъ, милостивые государи, хотя оно око, а не глаза! Единственное око — но и тому вы не дадите сомкнуть вѣжды! Какое величественное зрѣлище, милостивые государи!“

Въ залѣ проносится смутный говоръ: рѣчь обвинителя произвела эффектъ. Нагорновъ, красный и запыхавшійся, опускается на стулъ. Однако, не смотря на изнеможеніе, онъ еще находится въ себѣ достаточно силы, чтобъ послать черезъ залъ вырывающій взглядъ Тонкачеву. Въ публикѣ слышится вопросъ: вывернется, или провалится Тонкачевъ?

Тонкачевъ очень чистенькій мальчикъ, съ виду похожій на

jeune premier (онъ уже въ старшемъ классѣ, и заранѣе усваиваетъ себѣ всѣ замашки заправскихъ адвокатовъ изъ породы jeune premiers). Онъ очень развязно помахиваетъ *pince-nez* и безъ малѣйшаго смущенія, даже съ нѣкоторою дерзостью, начинается защитительную рѣчь. Ядовитость и иронія такъ и брызжутъ въ каждомъ его словѣ.

„Господа судьи! господа присяжные! Прежде всего считаю своею обязанностью отдать полную справедливость обвиненію. Старательность и усердіе, съ которымъ оно составлено, заслуживаетъ величайшей похвалы. Скажу болѣе: я совершенно, увѣренъ, что никогда, ни передъ однимъ судомъ не было сказано столь усердной обвинительной рѣчи, какъ та, которую вы сейчасъ слышали. Господинъ прокуроръ знаетъ, что ежели матеріальное обезпеченіе адвоката зависитъ отъ оправданія кліента, то съ другой стороны, почести, которыя ждутъ впереди каждаго члена прокуратуры, отчасти обусловливаются успѣхомъ...“

Миша, весь блѣдный, вскакиваетъ съ своего мѣста и дрожащимъ голосомъ произноситъ:

— Господа судьи! я протестую! я всѣми силами моей души („de toutes les forces de mon âme“ мелькаетъ у него въ головѣ) протестую противъ инсинуаціи, которую дозволяетъ себѣ защита!

Судьи шепчутся; въ залѣ обнаруживается сдержанное волненіе.

— Защитникъ! приглашаю васъ оставаться въ предѣлахъ защиты! произноситъ, наконецъ, предсѣдатель.

„Господа судьи! я вовсе не имѣлъ намѣренія оскорблять кого бы то ни было; я хотѣлъ только сказать, что для защиты имѣтъ дѣло съ противникомъ, который такъ старательно оправдываетъ довѣріе своего начальства—очень пріятно.

„Затѣмъ продолжаю, и ежели обвиненіе, какъ выразился г. прокуроръ, попыталось „спуститься съ факеломъ правосудія въ дебри преступленія“, то и съ своей стороны постараюсь съ тѣмъ же факеломъ спуститься въ дебри обвиненія, и водрузить знамя освобожденія въ развалинахъ невинности.

„Вещь замѣчательная, господа (*chose remarquable, messieurs!* мелькаетъ у него въ головѣ)! Передъ вами сейчасъ говорилъ одинъ изъ лучшихъ представителей нашего обвинительнаго искусства; вы слышали рѣчь, продолжавшуюся болѣе получаса, рѣчь, старавшуюся быть убѣдительною, и, повидимому, построеную очень искусно...“

Миша судорожно подскакиваетъ на стулѣ; глаза его бѣгаютъ отъ предсѣдателя къ защитнику. Наконецъ, предсѣдатель вновь выходитъ изъ бездѣйствія.

— Приглашаю защитника, говорить онъ:—воздержаться отъ оцѣнки талантовъ господина прокурора. Оцѣнивать эти таланты имѣеть право лишь непосредственное его начальство.

„Но что же осталось въ вашемъ сознаніи, господа присяжные, теперь, когда рѣчь прокурора уже произнесена? Разберите внимательно вынесенные вами сейчасъ впечатлѣнія, и, навѣрное, вы найдете вынужденными отвѣтить на мой вопросъ только однимъ словомъ: ничего. Да, ничего, ничего, и ничего. Это очень прискорбно, но это такъ. Я первый отдаю справедливость ораторскимъ средствамъ моего противника, его непреодолимому усердію, и за всѣмъ тѣмъ очень радъ за моего клиента, что единственный ясный результатъ, который вытекаетъ изъ рѣчи прокурора—это „ничего!“

Нагорновъ хочетъ вновь обидѣться; предсѣдатель, видя это, начинаетъ ѣсть защитника глазами; еще одно лишнее слово—и Тонкачеву угрожаетъ прекращеніе защиты.

„Вамъ говорятъ, милостивые государи, что никакихъ прямыхъ уликъ, которыя доказывали бы, что преступленіе, о которомъ идетъ рѣчь, совершено обвиняемымъ Дорофеевымъ, въ виду обвинительной власти не имѣется. Я охотно этому вѣрю. Такъ какъ мой клиентъ невиненъ, то было бы даже странно, если бы противъ него были какія-нибудь дѣйствительныя, а не мнимыя доказательства. Что же, однако, привело его сюда, на скамью обвиненныхъ? А вотъ, говорятъ вамъ: противъ него существуютъ улики косвенныя. Это очень любопытно. Что же такое эти косвенныя улики? Къ величайшему удовольствію нашему, отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ само обвиненіе. Косвенныя улики, говорить оно, это тѣ самыя, которыя ничего не стоятъ. Это обрывки чего-то неяснаго, неизвѣстно откуда идущаго, это подслушанныя сплетни досужихъ кумушекъ, это безпорядочная сорная куча, изъ которой торчатъ обглоданныя арбузные корки, лоскутки бумаги, кухонные остатки, однимъ словомъ, все, что никому не нужно, чѣмъ всякій гнушается, между чѣмъ ни подъ какимъ видомъ нельзя отыскать не только внутренней, но и механической связи...

„Господа присяжные! Во всемъ этомъ скрывается цѣлое искусство, искусство не очень важное, но во всякомъ случаѣ очень замѣчательное. Искусство играть ничего не значущими объѣдками, чтобы воспользоваться ими въ интересахъ обвиненія. Чтобы показать вамъ, что игра подобнаго рода не только возможна, но и легка, я сейчасъ приведу вамъ нѣсколько образчиковъ.

„Слѣдствіе показываетъ, напимѣръ, что обвиняемый не былъ тутъ; обвиненіе хватается за этотъ фактъ и уже формулируетъ

его такъ: обвиняемый не былъ тутъ, слѣдовательно онъ былъ гдѣ-нибудь, слѣдовательно и конечно, онъ былъ тамъ, гдѣ совершенно преступленіе. Вотъ одинъ образчикъ игры въ косвенныя улики. Какимъ образомъ очутилось здѣсь „конечно“ — этого, конечно, не объяснять даже знаменитые духи, совѣтовавшіе г. Корбе въ такую-то ночь посильнѣе взволновать г-жу Алымову (въ публикѣ раздается: браво! Предсѣдатель грозитъ очистить залу засѣданія). Другой образчикъ: наканунѣ пропало двѣ копейки, сегодня найдено тоже двѣ копейки; слѣдовательно, это тѣ самыя двѣ копейки, которыя пропали вчера. Откуда взялось это слѣдовательно? развѣ мало находится въ обращеніи двухкопеечниковъ? Пусть прокуроръ заглянетъ въ свой собственный кошелекъ! Пусть поищетъ въ немъ! Быть можетъ, онъ найдетъ тамъ такой же семишникъ, этотъ saiaige бѣднаго, къ которому онъ съ такимъ презрѣніемъ относился. (Миша вскакиваетъ, безмолвно протестуя противъ приписываемой ему аристократической гадливости!) Почему же этотъ двухкопеечникъ, который въ сію минуту находится въ кошелькѣ г. прокурора — не тотъ двухкопеечникъ, который въ ночь съ 15-го на 16-е іюня 18\*\* года пропалъ у Потапова?

„Но я не хочу идти далѣе, и не стану продолжать вопросовъ по каждой изъ указанныхъ обвиненіемъ уликъ. Это бесполезно. Въдъ это дѣло рѣшенное: само обвиненіе заранѣе объявило, что каждая изъ этихъ пресловутыхъ уликъ, взятая сама по себѣ, не стоитъ ломаннаго гроша...

„Но вамъ говорятъ: важность заключается не въ каждомъ признакѣ преступленія, взятомъ въ отдѣльности, а въ ихъ совокупности! Совокупность! Какое страшное, подавляющее слово! Что же, однако, означаетъ оно? Увы! Я сейчасъ буду имѣть честь объяснить вамъ, гг. присяжные, что оно означаетъ.

„Возьмите арбузное зерно, прибавьте къ нему нѣсколько хлѣбныхъ крохъ, подсыпьте перцу, налейте уксусу, коли хотите, бросьте нѣсколько обрѣзковъ бумаги — и спросите себя, что изъ этого можетъ выйти? Обвиненіе утверждаетъ, что изъ этого выйдетъ арбузъ (въ публикѣ смѣхъ), но я... я позволяю себѣ усомниться въ этомъ! Я прямо думаю, что это будетъ смѣсь предметовъ, которые, не имѣя никакой цѣнности, взятые порознь, еще менѣе имѣютъ таковой, взятые вмѣстѣ! Это совѣсмъ не „совокупность“, а именно смѣсь, жалкая, никому не надобная смѣсь...

„Тѣмъ не менѣе, изобрѣтенный г. прокуроромъ арбузъ (новый взрывъ смѣха въ публикѣ; Миша дѣлается

красенъ, какъ раскаленное желѣзо), при извѣстныхъ условіяхъ, дѣлается на столько опаснымъ, что равнодушно относиться къ нему невозможно. Такъ, напримѣръ, въ настоящемъ случаѣ, это уже не арбузъ, а разрывной снарядъ, который могъ бы убить моего кліента, если бы судьба его зависѣла отъ суда менѣе просвѣщеннаго и гуманнаго, нежели вашъ. Но вѣдь онъ могъ бы убить не одного моего кліента, а и каждого изъ васъ, гг. присяжные. Каждый изъ васъ навѣрное гдѣ-нибудь находился во время совершенія преступленія; каждый изъ васъ можетъ найтись въ невозможности объяснить употребленіе своего времени; у каждого изъ васъ (даже у г. прокурора!) могутъ найтись двѣ копейки; стало быть, каждого изъ васъ, вслѣдствіе этихъ ничтожныхъ, ничего не объясняющихъ признаковъ, можно привлечь къ суду? Подумайте, господа, что будетъ съ обществомъ, въ которомъ г. прокурору будетъ дана возможность во всякое время, по своему усмотрѣнію, и въ кого попало пускать изобрѣтеннымъ имъ арбузомъ! .

„Намъ говорятъ: берегитесь! неблагонадежные элементы подтачиваютъ священнѣйшія основы общества! Осуждайте! ибо если преступленіе останется ненаказаннымъ, то общество превратится въ скопище дикихъ звѣрей, которые будутъ хватать другъ друга за горло! Но позвольте же, господа! Осуждайте, карайте, преслѣдуйте, будьте безпощадны, но не забудьте, что стрѣлы ваши должны попадать въ дѣйствительнаго преступника, а не въ прохожаго, который случайно очутился на пути пущеннаго прокуроромъ разрывнаго снаряда: Если вража, совершенная у Потапова, вызываетъ къ небу о мщеніи, то почему же непременно казнить Дорофеева, а не каждого изъ насъ, по усмотрѣнію г. прокурора? Почему, наконецъ, не казнить первую попавшуюся подъ руку куклу, чтобы на ней показать примѣръ наказуемости? Я самъ не утопистъ, милостивые государи! Я далеко не принадлежу къ числу жалкихъ послѣдователей жалкой теоріи абсолютной невмѣняемости, которою гнусныя исчадія современнаго нигилизма думаютъ отвести глаза правосудію! Нѣтъ, я не нигилистъ! Напротивъ того, я глубоко убѣжденъ, что преступная воля должна быть наказана, что преступникъ, какъ говоритъ безсмертный Гегель, не только имѣетъ право на наказаніе, но можетъ даже требовать его; однако, согласитесь, милостивые государи, что странно и даже несправедливо было бы ожидать, чтобы подобное требованіе исходило отъ человѣка чистаго, совсѣмъ непричастнаго содѣянному! Дорофеевъ невиненъ—зачѣмъ же онъ будетъ требовать, чтобы его наказали!..

„Затѣмъ, обращаясь къ случаю, по поводу котораго довѣ-

ріе начальства признало васъ, гг. присяжные, произнести приговоръ, я просто нахожу излишнимъ говорить что-либо въ оправданіе моего кліента. Да, онъ ночевалъ у Потапова, онъ чиркалъ спичкою, онъ приторговывалъ у потерѣвшей стороны „почти новую“ рубаху—я охотно допускаю все это, но ни въ чемъ, рѣшительно ни въ чемъ не вижу преступленія! Я не проникалъ въ тайники души Дорофеева—эти тайники, господа, открыты только Богу!—но оставаясь на почвѣ фактовъ, я могу быть совершенно покойнымъ. Господа присяжные засѣдатели! вы не захотите обмануть довѣріе начальства! вы объявите подсудимаго Дорофеева невиннымъ!”

Эта рѣчь производитъ эффектъ потрясающій. Осликовъ будетъ оправданъ—это несомнѣнно. Тонкачевъ съ какою-то неизрѣченною самоувѣренностью качается на стулѣ. Какъ-будто хочетъ сказать: и зачѣмъ вы меня изъ пустяковъ тревожили! Зачѣмъ отняли понапрасну столько драгоценныхъ минутъ! Нагорновъ понимаетъ это; онъ догадывается, что, какъ обвинитель, онъ хватилъ нѣсколько черезъ край, и потому отказывается отъ возраженія. Въ публикѣ слышится сдержанный смѣхъ; слово: арбузъ! нагорновскій арбузъ!—летаетъ по рядамъ, и можно предвидѣть, что слово это не скоро забудется въ заведеніи. Но у Нагорнова есть звѣзда, и она выручаетъ его въ ту самую минуту, когда противники считаютъ его уже погибшимъ.

— Подсудимый Дорофеевъ! что имѣете вы прибавить въ свою защиту? обращается предсѣдатель къ Осликову.

Осликовъ лѣниво встаетъ, и, ковыряя въ носу, озираетъ присутствующихъ. Тонкачевъ съ ужасомъ начинаетъ подозрѣвать, что кліентъ его позабылъ всѣ внушенія, которыя были ему даны передъ засѣданіемъ.

— Да что говорить, ваше высокородіе! произносить, наконецъ, Осликовъ:—мой грѣхъ! я укралъ!

Тонкачевъ кидается къ Осликову; Нагорновъ поднимаетъ голову и, сложивъ на груди руки, бросаетъ своему противнику взглядъ, исполненный неизрѣченнаго торжества. Общій взрывъ хохота, подъ шумъ котораго никто не слышитъ рѣчи, которую предсѣдатель, въ видѣ безконечно танущейся канители, обращаетъ къ присяжнымъ засѣдателямъ, вручая имъ листъ съ вопросными пунктами и убѣждая ихъ оправдать довѣріе начальства.

— Если вы найдете, что подсудимый виноватъ, взываетъ предсѣдатель:—то скажете: виновенъ; если же найдете, что подсудимый не виноватъ, то скажете: не виновенъ. Идите же, и пусть Богъ просвѣтитъ сердца ваши!

Присяжные засѣдатели уходятъ, и черезъ минуту выносятъ приговоръ: виновенъ—по всѣмъ вопросамъ. Судъ присуждаетъ Осликowa къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ заключенію въ арестантскихъ ротахъ въ теченіи пяти лѣтъ.

Ученики спѣшаютъ въ классы. Мсье Петанлеръ ловить на дорогѣ Тонкачева.

— Ecoutez, Tonkatschoff! говорить онъ—vous avez été brillant, même éblouissant de verve et d'esprit, mais la vérité a été, comme toujours, du côté de Nagornoff! Comment ne comprenez vous pas qu'il est impossible, qu'un nigaud comme Oslikoff ne sois pas coupable! Mais... au nom de Dieu!

По воскресеньямъ, Миша рассказываетъ о своихъ подвигахъ родителямъ.

Со времени открытія новыхъ судовъ, между родителями поселилось нѣкоторое разногласіе относительно будущности сына. Анна Михайловна придерживается адвокатуры; Семенъ Прокофичъ склоняется на сторону прокурорскаго надзора.

— Да ты слышалъ ли, въ департаментѣ-то сидя, какіе они куски рвутъ! убѣждаетъ Анна Михайловна мужа.

— Всѣхъ денегъ, матушка, не ограбишь. Да вѣдь если очень-то шибко по чужимъ карманамъ лазить начнешь, такъ и въ Сибирь, пожалуй, угодишь! Лавровъ-то вѣдь не далеко. Ну, и Бельмесовъ тоже. Гуляетъ онъ до поры до времени, а я все-таки надѣюсь, что Туруханска ему не миновать. Жадны. А у начальства-то подъ глазами, онъ у насъ все равно, что у Христа за пазушкой будетъ! А можетъ быть, еще политическій процессъ—такъ ты вотъ и понимай тутъ!

Самъ Миша тоже не-могъ опредѣлительно сказать, куда ему хочется: въ адвокаты или въ прокуроры. Иногда, идеть онъ мимо милютинныхъ лавокъ, и думаетъ: непременно въ адвокаты пойду! вѣдь все, все, что тутъ ни есть—все мое будетъ! Каждый день по четыре коробки сардинокъ съѣдать буду!

Въ другой разъ, его плѣняетъ прокурорскій мундиръ и сопряженная съ нимъ неуклонность. Да это и не мудрено, потому что вѣдь тутъ все-таки не то, что жулика защитить—тутъ, съ позволенія сказать, общество въ опасности! Для дитяти оно даже очень лестно. Нарушенное общественное спокойствіе! поправное право собственности! незринутые въ прахъ авторитеты!—какія величественныя, повергающія въ трепетъ задачи! И какая дорога впереди! сколько поводовъ для волненій на этомъ пути, въ началѣ котораго стоитъ какой-нибудь



жалкій судебный слѣдователь или секретарь суда \*), а въ концѣ—министръ! А тутъ еще, чего добраго, политическій процессъ наклонется... будущее-то, будущее-то какое впереди!

— Вѣдь это, батюшка, не адвокатишка какой-нибудь, который, задержав хвостъ, по упрямству благочинія летаетъ, а въ нѣкоторомъ родѣ... гардъ де-ссѣ!

Но надо сказать правду: молодость все-таки брала свое, и представление о четырехъ коробкахъ сардинокъ почти всегда одерживало верхъ надъ честолюбивыми мечтами. Миша не могъ пройти мимо человѣка, чтобы не видѣть въ немъ „кліента“, а разъ усмотрѣвши кліента, онъ уже невольно ѣлъ его глазами.

— Я, маменька, Плотицына сегодня во онѣ видѣлъ! открывался онѣ Аннѣ Михайловнѣ въ минуту, когда аппетитъ ужъ очень сильно начиналъ тревожить его.

— Ужъ какъ бы хорошо! ужъ такъ бы хорошо! ахъ, какъ хорошо! вмѣсто отвѣта восклицала Анна Михайловна, и даже вся краснѣла отъ волненія.

— Да вы, маменька, попросили бы папеньку!

— Кто съ нимъ, съ упрямымъ, сговорить! А какіе куски-то они рвутъ! ахъ, мой другъ, какъ рвутъ!

— Да это само собой! Неужто-жъ потачку давать! Тридцать процентиковъ, батюшка! тридцать процентиковъ, милости просимъ-съ!

— Вѣдь нынче шагу безъ него, мой другъ, ступить нельзя! Дыхнуть безъ него, безъ кровопивца, возможности нѣтъ! Ты шагъ впередъ—онъ два! И все-то забѣгаетъ, все-то впередъ бѣжить, все то наровить подножку тебѣ подставить!

— Однако-жъ, какое это, маменька, величественное зданіе!

— Вѣдь ужъ коли попалъ ты ему въ лапы—такъ тамъ и держись! И не шевелись! Все равно, что въ капканѣ! Ужъ онъ тебя лущить—лущить! Онъ тебя чистить—чистить! Путаешь—путаешь! И до тѣхъ поръ онъ тебя на волю не выпуститъ, пока, что называется, какъ стельку не обстрижетъ!

— Ну, маменька, не всѣ такъ! Вотъ у насъ Благолѣповъ адвокатъ есть, такъ тотъ даже самъ съ удовольствіемъ, по силѣ возможности, кліенту подарить! Намеднись, выигралъ дѣло одной кліентки, ну, кліентка и пріѣзжаетъ къ нему. Чтѣ, го-

\*) Авторъ оговаривается: что должности судебного слѣдователя и секретаря суда очень почтенныя должности—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; слѣдовательно, ежели онѣ представляются жалкими, то не съ точки зрѣнія автора, а съ точки зрѣнія Миши Нагорнова. Для обвиненія въ диффамациі тутъ нѣтъ повода, развѣ что кто-нибудь вздумаетъ преслѣдовать Мишу Нагорнова.

ворить, Всилій Васильичъ, вы съ меня за труды положите? А онъ, знаете, покраснѣлъ этакъ, да такъ прямо и брякнулъ: „я, говоритъ, сударыня, за добрыя дѣла деньгами не беру, а вотъ кабы вы просвирку за меня вынули!“

— Ну, ужъ это какой-то... необнакзавенной какой-то? Однако-жь, какъ бы ты думалъ! хоть просвиркой, а все-таки взялъ! Иной разъ, душа моя, и просвирка... ахъ, какъ это иногда важно, мой другъ! Молитва-то! вѣдь она, кажется... и ничего въ ней нѣтъ... анъ смотришь, и долетѣла! Анъ онъ въ другомъ мѣстѣ уйму денегъ урвалъ, или вотъ въ лотерею двѣсти тысячъ выигралъ! за молитву-то!

— Ну, маменька, у него и билета-то, пожалуй, не считается!

— Не говори этого, мой другъ! ахъ, не говори! какъ знать, чего не знаешь!

— А какъ бы, маменька, хорошо-то! Вотъ, говорятъ, Отпѣтый такую „деверію“ завелъ, что вся кавалерія смотреть да зубами щелкаетъ!

— Ну, это, мой другъ, тоже опасно. По моему, лучше копить. Вѣдь этѣ прорвы, душа моя... много, ахъ много деньжищъ нужно, чтобы до сытости ихъ довести! У насъ, мой другъ, у директора такая-то была, такъ онъ не то что все состояніе свое въ нее ухлопалъ, а и казну-то, кажется, по міру бы пустилъ, кабы во-время его за руку не ухватили! Вотъ онъ те-перича и живетъ да поживаетъ въ Архангельской губерніи, а она, рыжая прорва, и о сю пору по Невскому на рысакахъ гарцуетъ!

— А хорошо бы, маменька!

— Ужъ какъ бы не хорошо, кабы не эта ихъ жадность! Опрятны онѣ очень—вотъ чѣмъ берутъ! Нашей русской противъ нихъ—и ни Боже мой! Только и дерутъ же онѣ за эту чистоту! Годиковъ этакъ пять-шесть пофорсила — глядишь, либо домину въ четыре этажа вывела, или въ ламбардъ цѣлую уйму денжищъ спрятала! А брильянтовъ-то сколько! а кружевъ-то!

— Имъ, маменька, безъ брильянтовъ нельзя. А что касается до богатства, такъ я отъ одного адвоката за вѣрное слышала, что у иной, кромѣ брильянтовъ да кружевъ, ничего и нѣтъ. Да и тѣ какъ получить, сейчасъ же у закладчика заложить, да у него же опять и беретъ на прокатъ!

— Ужъ будто бы бѣдность такая! все, чай, сколько-нибудь накопить!

— Ей-Богу, маменька, такъ. Вѣдь онѣ до сихъ поръ все больше между офицерами обращались. Адвокаты-то только те-

перь въ ходъ пошли, а прежде все съ офицерами! Ну, а возьмите сами, сколько ей сперва нужно денегъ истратить, чтобы офицера-то заманить! Первое дѣло—квартира, ковры, бѣлье, второе—экипажъ, третье,—туалетъ, чтобы новый каждый день былъ...

— И за все-то, мой другъ, съ нея вдвое! за все-то вдвое противъ другихъ деруть! Потому, всякій знаетъ, что она нечестная—ну, и берутъ! Она и торговаться-то даже, мой другъ, не смѣетъ, а такъ прямо и отдаетъ!.

— Вотъ видите! Платье-то, можетъ быть, на ней пятьсотъ рублей стоитъ, а офицеръ-то возьметъ, да за обѣдомъ его шампанскимъ обольетъ!

— И обольетъ! Ты думаешь, не обольетъ! Да и какъ еще обольетъ-то! Офицеръ—вѣдь онъ гордъ! На, скажетъ, подьянка! понимай, каковъ я естъ!

— Такъ вотъ то-то и естъ! Тутъ, маменька, ужъ не объ четырехъ-этажныхъ домахъ приходится думать, а объ томъ, какъ бы самой-то лѣтъ патокъ—другой продышать!

— Гдѣ ужъ объ домахъ думать! да еще то ли съ ними дѣлаютъ! Еще нынче все-таки потише стало, а прежде, бывало, какъ пораскажетъ папенька!...

— Ужъ будто и папенька!

— А ты какъ бы объ отцѣ-то своемъ полагалъ! Тоже батюшка, сахаръ медовичъ былъ! Это, чтобы „деверію“ встрѣтить, да высуня языкъ, цѣлыя сутки за ней не пробѣгать—да упаси Богъ, чтобы онъ случай такой пропустилъ! Пытала я первое-то время плакать отъ него! Бывало, онъ рыскаетъ тамъ, по Мѣщанскимъ-то, а я лежу одна-одинешенька на постели, да все плачу! все плачу! И ни однимъ, то есть, словомъ никогда я его не попрекнула, чтобы тамъ взглядъ какой-нибудь, или жестъ недовольный... Никогда! Всегда—милости просимъ!

Анна Михайловна жетъ, и Миша тоже очень хорошо знаетъ, что Семень Прокофичъ имѣетъ объ „деверіяхъ“ самыя первоначальныя, такъ сказать, дѣтскія понятія. Но имъ обоимъ пріятно лгать, потому что предметъ-то лганья очень ужъ занятенъ. Они ходятъ обнявшись по комнатамъ и мечтаютъ. Анна Михайловна мечтаетъ о томъ, сколько бы у нея было изюму, черносливу, вермишели, макаронъ, однимъ словомъ всего, чего только душа спросить. Мечтанія Миши обращены больше въ сторону „вокотки“.

— Еще бы не хорошо! ужъ такъ-то бы хорошо! восклицаетъ Анна Михайловна.

— Ахъ, маменька! стонущимъ голосомъ вторить ей Миша, и ни съ того, ни съ сего цѣлуетъ ее.

Но вотъ является Семень Прокофѣичъ, только что совершившій утреннее воскресное поклоненіе директору. Бесѣда разомъ принимаетъ другой характеръ.

— Ну, что, молодець, опять кого-нибудь въ каторжныя работы сослалъ? спрашиваетъ счастливый отецъ.

— Нѣтъ, только на пять лѣтъ въ арестантскія роты! Да и то, папенька, преступникъ ужъ самъ сознался! Чуть-чуть было Тонкачевъ не загонялъ меня!

— Какъ же это ты, братъ, маху далъ! Ай, ай, ай!

— Да вѣдь трудно, папенька!

— А ты напцрай, братецъ! Онъ отъ тебя, а ты за нимъ! Онъ въ сторону, а ты обѣги кругомъ—да встрѣчу! Вотъ, братецъ, какъ дѣла-то обдѣлывать нужно!

— Де я, папенька, и такъ...

— Ну, да вѣдь и то сказать, не все же на каторгу! Спсибо и въ арестантскія роты на пять лѣтъ! Ну, и пуцай его посидить! За дѣло! Впередъ не блуди!

— А у насъ, папаша, на будущей недѣлѣ, въ „заведеніи“ политическій процессъ готовится!

— Ну, вотъ, и дѣло! Вотъ этихъ лохматыхъ да стриженныхъ—это такъ! Катай ихъ!

— А я бы, право, Мишеньку въ адвокаты отдала! какъ-то нерѣшительно заговариваетъ Анна Михайловна.

Этого робкаго заявленія достаточно, чтобы въ одно мгновеніе прогнать хорошее расположеніе духа Семена Прокофѣича.

— И что тебѣ, матушка, за охота мнѣ передъ обѣдомъ аппетитъ портить! брюзжить онъ. — Вотъ дай срокъ умру, тогда хоть въ черти-дьяволы, хоть въ публичный домъ его отдавай!

Высказавъ это, Семень Прокофѣичъ, огорченный и раздраженный, уходитъ къ себѣ въ кабинетъ, и вплоть до самаго обѣда не показывается оттуда.

Ничто не измѣнилось, въ теченіи шестнадцати лѣтъ, въ воскресныхъ обѣдахъ Нагорновыхъ, только посѣтители ихъ какъ будто повыщѣли. Дѣдушка Михайло Семенычъ ужъ не управляетъ архивомъ и съ тѣхъ поръ, какъ находится въ отставкѣ, какъ-то опустился, пересталъ шутить и, словно мхомъ, весь обросъ волосами. Онъ худо слышитъ, глядитъ какъ-то тускло и безпомощно и плохо ѣстъ. Сестрицы-дѣвѣцы попрежнему остаются сущими дѣвѣцами, но уже не краснѣютъ и не стыдятся при словѣ „мущина“, но сами охотно заговариваютъ о самопомощи, самовоспитаніи и вообще обо всемъ, что имѣетъ какое-нибудь прикосновеніе къ женскому вопросу. Самъ Семень Прокофѣичъ, съ тѣхъ поръ, какъ его сдѣлали генераломъ, по-

стоянно задумывается и что-то шепчет про себя, как будто рассчитывает, къ какому же, наконецъ, празднику дадутъ ему звѣзду. Пирогъ съ сигомъ подается по прежнему, но невскій сижокъ до такой степени поднялся въ цѣнѣ, что вынуждены были замѣнить его ладожскимъ и волховскимъ. Однимъ словомъ, жизнь видимо угасаетъ въ этомъ семействѣ, и можетъ быть, даже давно угасла бы, еслибъ отъ времени до времени не пробуждалъ ея Миша прикосновеніемъ своего скромнаго, но всетаки молодого задора.

— Нынче, батюшка, у насъ кулебяка не прежняя! начинается бесѣду Семенъ Прокофѣичъ, обращаясь къ старику Рыбникову: — нынче невскими-то сижками князья да графы... да вотъ аблакаты лакомятся, а съ насъ, дѣйствительныхъ статскихъ, и ладожскаго предовольно! Да вѣдь и то сказать, чѣмъ же ладожскій сигъ—не сигъ!

Рыбниковъ мычитъ что-то въ отвѣтъ, но очевидно, только изъ учтивости, потому что ничего не слышитъ, хотя Нагорновъ и старается говорить какъ можно отчетливѣе.

— Прежде, батюшка ваше превосходительство, говядина-то восемь копеечекъ за фунтъ была, а нынче Богъ такъ привелъ, что за бульонную по двадцати копеечекъ платимъ. Дорогъ понастроили, думали, что хоть икра дешевле будетъ, анъ и тутъ легости нѣтъ. Вотъ я за самую эту квартиру прежде пятьсотъ на ассигнаціи платилъ, а нынче она ужъ пятьсотъ-то серебряномъ изъ кармана стойтъ-съ! Такъ-то вотъ!

Общее молчаніе. Всѣ понимаютъ, что Семенъ Прокофѣичъ къ чему-то ведетъ свою рѣчь, и ждутъ понурившись. И дѣйствительно, по тѣмъ подергиваньямъ, съ которыми онъ рѣжетъ пирогъ и посылаетъ въ ротъ куски его, видно, что на сей разъ дѣло не обойдется безъ нравоученія.

— А сыночекъ вотъ въ аблакаты устремляется! раздражается, наконецъ, Семенъ Прокофѣичъ:—а отъ этихъ, прости Господи, сорванцовъ, и бѣдствія-то всѣ на насъ пошли!

Молчаніе дѣлается еще глубже и тягостнѣе.

— У отца за душой гроша нѣтъ, а у сына уже актрисы на умъ... да какъ эти... камеліями, что ли онъ у васъ прозываются?

— Камеліями, папенька.

— Камелія, батюшка, — это цвѣтокъ такой. Цвѣтками называли! настоящимъ-то манеромъ стыдно назвать, такъ по цвѣтку названіе выдумали!

— Помилуйте, папенька, развѣ я...

— Я не объ тебѣ, мой другъ, а вообще про молодежь про нынѣшнюю... Зависть, батюшка ваше превосходительство, у

нихъ какая-то появляется, коли они у котораго человѣка въ карманѣ рубль видятъ! Мысли другой никакой нѣтъ! Такъ вотъ и говорить тебѣ въ самые глаза: не твой рубль, а мой! И такъ это на тебя взглянетъ, что даже сконфузить всего! Точно ты и въ самомъ дѣлѣ виноватъ передъ нимъ! точно и въ самомъ дѣлѣ у тебя не свой, а его рубль-то въ карманѣ!

Миша слушаетъ, уткнувшись въ тарелку. Очевидно, онъ недоволенъ. Какъ представитель молодого поколѣнія, онъ считаетъ своимъ долгомъ хотя пассивно, но достойно протестовать противъ клеветы на него.

— Иду я это, батюшка, намеренъ по Катериновѣ, про-должаетъ обличать Семенъ Прокофичъ: — а передо мной два школяра идутъ. „Вотъ бы, говорить одинъ, кабы въ этой канавѣ разомъ всю рыбу выловить—вотъ бы денегъ-то много забрать можно!“ Такъ вотъ у нихъ жадность-то какова! А того и не понимаетъ, малецъ, что въ нашей Катериновѣ, кромѣ нечистотъ изъ Зондерманландіи, и рыбы-то никакой нѣтъ!

При словѣ „Зондерманландія“, старикъ Рыбниковъ обнаруживаетъ нѣкоторое оживленіе.

— Да, братъ, бывали! бывали мы тамъ! шамкаетъ онъ.

— Вотъ, онъ, облакать-то этотъ, какъ нахватаетъ чужихъ-то денегъ, ему и не жалко! Въ лавку придетъ—всю лавку подавай! А мы терпи! Онъ чужой двугривенчикъ-то за говядину отдаетъ, а мы свой собственный, кровный, по милости его, подавай!

— Бывали! бывали! прерываетъ старикъ Рыбниковъ, думая, что рѣчь все идетъ объ Зондерманландіи.

— Нѣтъ, да вы, батюшка, ваше превосходительство, послушали бы, какой у нихъ аукціонъ на счетъ этихъ деверій-камельій идетъ! Офицеръ говоритъ: полторы, говоритъ! Онъ: двѣ, говоритъ! Офицеръ опять: двѣ съ половиной! Онъ: три, говоритъ! Откуда онъ деньги-то беретъ! Вы вотъ что мнѣ, батюшка, объясните!

— Да... да... въ Зондерманландіи... это точно!

— И вѣдь ничего-то у него на умѣ, кромѣ стяжанья этого, нѣтъ! Не то, чтобы государству, или тамъ отечеству... послужить бы тамъ, что ли... Нѣтъ, только одну мысль и держитъ въ головѣ: какъ бы мамонъ себѣ набить!

Семенъ Прокофичъ постепенно приходитъ въ такой азартъ, что даже бросаетъ на тарелку ножъ и вилку.

— А насъ взяточниками обзываютъ! гремитъ онъ: —мы обрѣзочки да обкусочки подбирали—мы взяточники! А онъ цѣлаго человѣка за разъ проглотить готовъ — онъ ничего! онъ господа ташкентцы.

благородный! Зачѣмъ, молъ, сей человѣкъ праздно по свѣту мыкается! Пускай, молъ, онъ у меня въ животѣ отлежится!

Гусь стоитъ посреди стола нетронутымъ. Анна Михайловна и сестрицы притихли; у Миши слегка вздрагиваютъ губы; даже старикъ Рыбниковъ начинаетъ понимать, что происходитъ нѣчто неладное.

— И вотъ тебѣ мой отцовскій завѣтъ, Михайло Семенычъ! въ упоръ обращается къ сыну старикъ Нагорновъ. — Въ аблакаты — ни-ни! Просвирками-то, братъ, не проживешь, да ты и теперь ужъ надъ просвирками-то посмѣиваешься! Ты, братъ, можешь, на за-границу засматриваешься, что тамъ аблакать-то въ почетъ! Такъ вѣдь тамъ онъ человѣкъ вольный: сегодня онъ аблакать, а завтра министръ — вонъ оно что! А ты здѣсь что! и сегодня мразь, и завтра мразь. Мразь! мразь! мразь!

Миша убѣждается, что благодаря отцовскому предупрежденію, двери въ адвокатуру для него закрыты. Онъ рѣшается идти въ прокуроры, и въ согласность этому рѣшенію, приучаетъ себя слегка голодать. „У прокурора, говорить онъ себѣ, животъ долженъ имѣть форму вогнутого зеркала, чтобы служилъ не къ обремененію, а чтобы всегда... вездѣ... ваше пре-восходительство!.. готовъ-съ!“

Типъ надорваннаго, съ вогнутымъ животомъ, и всегда готоваго исполнителя, — типъ еще нарастающій, будущій... но онъ будетъ. Или, лучше сказать, онъ существовалъ искони, но временно какъ бы колебался и утратилъ свою ясность. Это все тотъ же русскій Митрофанъ, готовый и просвѣщаться и просвѣщать, сражаться и быть сражаемымъ. Въ послѣднее время, онъ нѣсколько замутился, благодаря новизнѣ нѣкоторыхъ положеній, и неумѣнью съ желательною скоростью освоиться съ ними; но несомнѣнно, что онъ воспрянетъ, что онъ вновь сдѣлается чистымъ, какъ стело, и овладѣетъ браздами...

Миша уже и ведетъ себя такъ, какъ будто онъ заправскій прокуроръ. Строго, сдержанно, немножко сурово. Изъ устъ его такъ и сыплется: „по уложенію о наказаніяхъ“, „по смыслу такого-то рѣшенія кассационнаго департамента“, „на основаніи правилъ о судопроизводствѣ“, „въ Сводѣ законовъ гражданскихъ, статья такая-то, раздѣлъ такой-то, изображено“ и т. д. Даже въ дружеской бесѣдѣ съ товарищами, онъ все какъ будто обвиняетъ, и убѣждаетъ кого-то сослать въ каторгу.

— Тебя, братъ, за такіа дѣла, по статьѣ такой-то, слѣдовало бы, по малой мѣрѣ, въ исправительный домъ на три года

заплатать! говорить онъ: — да моли еще Бога, что смягчающія обстоятельства натапнуть можно!

Въ большой залѣ, въ ресторанѣ Бореля, свѣтло и людно. Говоръ, смѣхъ, остроты и шутки не умолкаютъ. Татары безшумно мелькаютъ взадъ и впередъ, перемѣняя тарелки, принимая опорожненныя бутылки и устанавливая столъ новыми. Это пируютъ за субботнимъ товарищескимъ ужиномъ будущіе прокуроры, будущіе судьи, будущіе адвокаты.

Приближается время выпуска, и молодые люди постепенно эмансипируются. Частенько-таки собираются они то въ томъ, то въ другомъ ресторанѣ, и за бакаломъ вина обсуждаютъ ожидающія ихъ впереди карьеры. Начальство знаетъ объ этомъ, но, въ виду скорого выпуска, смотритъ на запрещенныя сходки сквозъ пальцы.

Разговоръ дробится по группамъ. На одномъ концѣ стола ведутъ рѣчь о томъ, что выгоднѣе: въ столицѣ быть адвокатомъ, или въ провинціи?

— Ловкачевъ! ты куда?

— Станный вопросъ! разумѣется, въ адвокаты! не въ судьяхъ же пять лѣтъ на одномъ стулѣ сидѣть!

— Я, братъ, тоже въ адвокаты, да только думаю въ провинцію. Здѣсь ужъ очень много нашего брата развелось!

— Что-жь! это мысль!

— Я, братъ, надняхъ одного провинціального адвоката встрѣтилъ, такъ очень хвалить! Такое, говорить, житье, что даже повѣрить трудно!

— А какъ однако?

— А тысячъ пятнадцать, двадцать въ годъ! Только, говорить, у насъ деликатесы-то бросить надо!

— То-есть, въ какомъ же это смыслѣ?

— А такъ, говорить, какая сторона больше дастъ—ту и защищай!

— Это само собой! да тамъ дѣла-то все мозглявыя!

— Это нужды нѣтъ! Мнѣ, говорить, хоть по зернышку, да почаще! Вѣдь онъ тамъ одинъ какъ перстъ — ну, все и захватилъ! А ежели пріѣдетъ, говорить, еще адвокатъ—сейчасъ, говорить, въ другой городъ переберусь!

— Да; двоимъ — это точно... пожалуй, и дѣлать тамъ нечего!

— А теперь, представь себѣ, какъ ему хорошо! Что ни дѣло, то вѣрный выигрышъ, потому что у него и противниковъ-то настоящихъ нѣтъ. Народъ безсловесный все, стало быть, истецъ ли, отвѣтчикъ ли, какъ только не успѣлъ заручиться имъ, такъ ужъ и знаетъ зараньше, что дѣло его пропало. Для



меня, говорить, любое дѣло защитить—все одно, что въ вистѣ съ тремя болванами партію сыграть!

— Да! это мысль! объ этомъ стоитъ подумать!

Въ другой группѣ, средоточіемъ которой служитъ Миша Нагорновъ, идетъ тотъ же разговоръ, но съ другими варіанціями.

— Нѣтъ, Проходимцевъ, я съ тобой не согласенъ! ораторствуетъ Миша: — въ существованіи прокурора есть тоже свои хорошія стороны!

— Еще бы не было! даже египетскіе аскеты, когда жевали акриды — и тѣ находили, что существованіе ихъ имѣетъ свои хорошія стороны!

— Ну, нѣтъ-съ; тутъ не акридами пахнетъ. Это не совсемъ такъ. Я заранѣе приглашаю тебя на прокурорскій обѣдъ, и будь увѣренъ, что ты всегда найдешь у меня и кусокъ сочнаго „бульи“ и стаканъ добраго вина!

— „Бульи!“

— Что-жь; и „бульи“ не у всякаго адвоката бываетъ! Конечно, есть между ними такіе, которые изъ трюфлей не выйдутъ—я заранѣе уступаю тебѣ, что въ прокуратурѣ я этого не найду!—ну, да вѣдь это изъ десятка у одного, трюфли-то! Но чего у тебя никогда не будетъ въ твоей адвокатурѣ—это возможности восходить по лѣстницѣ должностей, это возможности расширять твои горизонты и встать со временемъ на ту высоту, съ которой человѣческіе интересы кажутся какимъ-то жалкимъ миражемъ, мгновенно разлетающимся при первомъ появленіи изъ-за тучъ величественнаго свѣтила государственности!

— Ну, еще когда доползешь до этой высоты-то!

— Нѣтъ, отчего-жь! Я понимаю, что препятствія будутъ, и даже препятствія очень серьезныя! Но мнѣ кажется, что ежели я сумѣю заслужить довѣріе моего начальства, то самыя препятствія обратятся мнѣ же на пользу! Они только закалятъ меня, и въ то же время утратятъ характеръ непреодолимости!

— Вотъ закалъ-то этотъ...

— Да ты пойми, душа моя, два-три хорошихъ убійства — и у меня дѣло въ шляпѣ... Я ужъ на виду! А если тутъ не повезетъ, можно по части проекцевъ пройтись! Проектець, напримѣръ, по части измѣненія судебныхъ уставовъ... какіе тутъ виды-то представятся могутъ!

— Такъ значитъ, будемъ рѣзаться другъ противъ друга?

— Значитъ, будемъ рѣзаться!

Въ другихъ пунктахъ стола идутъ разговоры болѣе отрывочные.

— Да съ этого дѣла, выкрикиваетъ кто-то:—не то что трид-

цать, сто тысячъ взять мало! Это ужь глупо! Это просто на просто значить дѣло портить!

— Ну, братъ, сто тысячъ — дудки! Кабы нашего брата поменьше было — это такъ! Я понимаю, что тогда можно было бы и сто тысячъ заполучить! А теперь... откажись-ка ты отъ тридцати-то тысячъ — десятки на твое мѣсто явятся! Нѣтъ, братъ, нынче и за тридцать тысячъ въ ножки поклонисься!

— Я навѣрное это знаю, выкрикиваетъ другой: — что ежели ты ему впередъ тысячи рублей не выложишь, онъ пальцемъ объ палецъ для тебя не ударить! Намеднись, въ Пензу по дѣлу о растлѣніи малолѣтней его приглашали, такъ онъ прямо наотрѣзъ потребовалъ: первое — восемь тысячъ на столъ — это ужь безъ возврата, значить! — второе, ежели вмѣсто каторги, только на поселеніе — еще восемь тысячъ; третье, ежели совсѣмъ оправлю — двадцать тысячъ!

— Ну, это, братъ, молодецъ!

— Господа! выкрикиваетъ третій: — я предлагаю составить компанію для отравленія этой нѣмки!

— Какой нѣмки? какой нѣмки? сыплются со всѣхъ сторонъ вопросы.

— Да вотъ той, которая двадцать милліоновъ долларовъ въ наслѣдство получила! Боковая линія пятидесяти процентовъ не пожаждетъ, чтобъ ее извести!

— Этоть-то вопросъ неважный! выкрикиваетъ четвертый: — вопросъ-то объ единоутробіи! Да ежели его какъ слѣдуетъ разработать, какой свѣтъ-то на всю судебную практику прольется! Вѣдь мы въ потьмахъ, господа, бродимъ! Вѣдь это что-жъ, наконецъ!

И вдругъ, среди этого хаоса восклицаній, вопросовъ и пререканій влетаетъ въ залъ цвѣтъ, слава и гордость адвокатуры, самъ господинъ Тонкачевъ.

Тонкачевъ уже два года какъ вышелъ изъ „заведенія“, и съ тѣхъ поръ съ честью подвизается на поприщѣ адвокатуры. Это вообще очень изящный молодой человѣкъ; на немъ черная бархатная визитка и тончайшее ослѣпительной бѣлизны бѣлье. Претензій на щегольство — никакихъ; но все такъ прилично и умненько пригнано, что всякій при взглядѣ на него невольно думаетъ: какой должно быть способный и основательный молодой человѣкъ! Стулья съ шумомъ раздвигаются, чтобы дать мѣсто новому и очевидно дорогому гостю.

— Тонкачевъ! вотъ это мило! вотъ это сюрпризъ! восклицаютъ молодые люди, обступая адвокатскую знаменитость.

— Извините, господа, я по-просту! Я здѣсь въ сосѣдней

комнатъ ужиналъ—вдругъ слышу, знакомые голоса! Думаю, отчего старыхъ пріятелей не навѣстить!

— И прекрасно! выпьемъ виѣстѣ! Человѣкъ! шампанскаго! Господа! за здоровье Владиміра Васильевича Тонкачева!

— Принимаю, и благодарю. И въ свою очередь пью за васъ, господа. Пью за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ дѣятелей, которымъ черезъ два мѣсяца суждено испытывать свои силы! Привѣтствую въ васъ то еще недалекое и навсегда для меня незабвенное прошлое, когда и я, полный молодыхъ надеждъ, выступалъ изъ стѣнъ заведенія! Привѣтствую въ васъ то прекрасное будущее, которое, впрочемъ, прекрасно не для однихъ васъ, но съ вами и, такъ сказать, по случаю васъ — и для всей страны! Да, господа, это мое глубокое, несокрушимое убѣжденіе: вы призваны совершить перерожденіе горячо любимой нами родины, и конечно, будете стоять на высотѣ этого призванія! Съ такими бодрыми, сильными, смѣлыми дѣятелями можно смотрѣть впередъ съ довѣріемъ. Можно смѣло поднимать завѣсу будущаго — и не опасаться! Пускай подкапывается подъ насъ злоба, пускай обращается она на насъ своей змѣиной шипѣ — мы останемся твердыми, какъ скала! Волны клеветы будутъ лизать ноги наши, но никогда не достигнутъ до головы. Мы не утописты, господа, не политики, не идіологи — слѣдовательно, у насъ даже мѣстъ такихъ не имѣется, въ которыя клевета могла бы безъ труда запустить свое жало! У насъ вѣтъ даже ахиллесовой пяты. Мы простые, честные труженики. Мы употребляемъ въ дѣло свой трудъ, свои познанія, и получаемъ за это посильное вознагражденіе! вотъ наша роль, господа; роль въ высшей степени скромная, но въ высшей степени плодотворная. И такъ, господа, повторяю: я счастливъ, поднимая за васъ этотъ бокалъ! За васъ я пью, за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ дѣятелей, которымъ суждено довершить то, что такъ счастливо начали ихъ предшественники!

Тонкачевъ произнесъ эту рѣчь совсѣмъ невзначай и съ такою легкостью, что казалось, какъ будто вошелъ человѣкъ, и плюнулъ. Тѣмъ неописаннымъ былъ произведенный ею въ молодежи фуроръ.

— Bravo, Тонкачевъ! вотъ такъ спасибо! Это, что называется, по товарищески! Человѣкъ! шампанскаго! раздавалось со всѣхъ сторонъ.

Но вотъ, среди поцѣлуевъ и обниманій, къ Тонкачеву приближается Миша съ бокаломъ въ рукахъ.

— Позвольте мнѣ, начинается онъ взволнованнымъ голосомъ: — позвольте мнѣ, вашему бывшему противнику по составу

зательному процессу, привѣтствовать въ васъ славу, надежду и гордость нашего молодого, только что нарождающагося сословія адвокатовъ! Изъ-за скромныхъ стѣнъ нашего заведенія мы слѣдили за вашими успѣхами, и радовались имъ. Мы, смѣю такъ выразиться, гордились ими. На долю нашего заведенія выпалъ счастливый жребій, господа. Сколько дало оно странъ высокопоставленныхъ лицъ, сколько людей, отмѣченныхъ печатью гения! Слѣдовательно, выходя изъ стѣнъ школы, мы прямо уже видимъ передъ собою примѣры, которыхъ исполнѣ достаточно, чтобъ ободрить молодой духъ и вдохнуть въ молодое сердце рѣшимость слѣдовать по стопамъ предшественниковъ. Что можетъ быть величественнѣе, поучительнѣе, благотворнѣе, какъ зрѣлище людей, неуклонно шествующихъ по стезѣ долга! А мы, мы видимъ это зрѣлище постоянно, и постоянно имѣемъ возможность вдохновляться имъ! Чтобъ быть твердыми, намъ не нужно особенныхъ усилій: намъ стоитъ только взглянуть впередъ. Тамъ, въ этомъ блестящемъ сонмищѣ людей, посвятившихъ себя служенію истинѣ, мы встрѣтимъ не только полезный примѣръ, но и дѣйствительную помощь, совѣтъ и одобреніе. Намъ ли не преуспѣвать? намъ ли не подвигаться быстрымъ и твердымъ шагомъ по лѣстницѣ должностей! Черезъ два мѣсяца мы выходимъ, господа. Черезъ два мѣсяца мы предстанемъ передъ вами, Владиміръ Васильевичъ! передъ вами и вашими славными сподвижниками! Вы не отвернетесь отъ насъ, вы подадите намъ руку помощи, которая такъ необходима для нашей неопытности! Я убѣжденъ въ этомъ, и въ этой сладкой увѣренности, съ чувствомъ заранѣе несущейся отъ сердца признательности, поднимаю за васъ бокалъ мой! За Владиміра Васильевича Тонкачева, господа! За красу и гордость нашего заведенія! За славу нашего молодого, только что нарождающагося сословія адвокатовъ!

Восторгъ школяровъ не знаетъ предѣловъ. Тонкачева качаютъ, Нагорнова качаютъ, потомъ поочередно качаютъ Ловкачева, Проходимцева, даже Осликова.

— Ты, Осликовъ, какъ? спрашиваетъ его Тонкачевъ.

— А я, братъ, кажется, на скамьѣ подсудимыхъ сидѣть буду! отвѣчаетъ Осликовъ, залпомъ выпивая громадную рюмку коньяку, и заѣдая ее булкой съ икрой.

— Ну, въ такомъ случаѣ бери меня въ защитники, любезно предлагаетъ Тонкачевъ:—только чуръ не виниться, какъ, помнишь, въ тотъ разъ!

— Я, братъ, нонче твердъ. Не виновенъ—кончено дѣло!

Общій взрывъ хохота.

Тонкачевъ усаживается въ центрѣ стола и начинаетъ бесѣдовать.

— Въ нашемъ дѣлѣ, господа, больше всего смѣлость нужна! ораторствуетъ онъ:—смѣлость и находчивость; это средство на судей безъ ошибки дѣйствуетъ!

— Да, удивительно, какъ вы зининское дѣло выиграли! восклицаетъ Ловкачевъ.

— А почему я его выигралъ? Потому что напелся! А не найдись я, не пусти въ ходъ того блестящаго парадокса... помните?.. противная сторона отеатала бы меня!

— Ну, съ вами-то не такъ легко справиться!

— Я, господа, вотъ какъ рассуждаю: адвокатъ долженъ не просто говорить, а говорить, такъ-сказать, съ картинками. Вотъ какъ книжки: и съ картинками и безъ картинокъ издають, такъ и адвокатская рѣчь: можетъ быть и съ картинками и безъ картинокъ. Чуть только судъ задумываться сталъ — ну, тутъ ужъ не плошай! Всѣ картинки, какія есть — всѣ на столъ разомъ выкладывай!

— Но вѣдь для этого талантъ особенный нужно имѣть!

— Безъ таланта, батюшка, ничего нельзя. За талантъ-то собственно и деньги намъ платять. За талантъ, за смѣлость, за умѣнье найтись. Наше дѣло такое, что-тутъ все въ соображеніе принимать слѣдуетъ: и характеръ судей, и домашнюю ихъ обстановку, и даже случайность всякую. Да, даже просто случайность. Иногда, кажется, вотъ-вотъ проигралъ дѣло, а въ подвернется подъ руку случай — и поправился! Я даже въ запасѣ всегда какую-нибудь случайность имѣю. Анекдотъ тамъ, что ли, цитату... ну, просто глупость какую-нибудь. Дамъ противнику выговориться, да тутъ его и накрою: въ нѣкоторомъ, молъ, царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ былъ истецъ... И пошелъ! и пошелъ!

— Удивительно! безподобно!

Тонкачевъ окончательно входитъ въ роль, и начинаетъ, такъ-сказать, прорицать...

— Мнѣ стоитъ только взглянуть на составъ суда, говорить онъ:—чтобъ сейчасъ же опредѣлить, выиграю я дѣло или проиграю. Вотъ тутъ-то именно и нужна мнѣ снаровка. Если составъ суда благоприятный, я всѣ силы употреблю, чтобъ дѣло было рассмотрѣно именно въ этомъ засѣданіи; ежели составъ суда неблагоприятный—я изъ кожи лѣзу, чтобъ мое дѣло было отложено. Вы думаете, какъ я кондыревское дѣло выигралъ?—именно этотъ фортель въ ходъ пустил! Вижу, Левушка Сибаритовъ въ числѣ судей судить—ну, думаю, плохо дѣло! И подвель, знаете, кулеврину! И до тѣхъ поръ откладывалъ да от-

кладывалъ, покуда Левушку въ Чернолѣсскъ предсѣдателемъ не перевели. Тогда и поковчилъ.

Въ публикѣ слышится ропотъ удивленія...

— Я не такія еще штуки выдѣлывалъ! Одинъ разъ я передъ присяжными показывалъ, какъ черезъ веревочку прыгаютъ. Всталъ по серединѣ зала и началъ прыгать. Оправдали. Другой разъ, сталъ доказывать, что одинъ человекъ можетъ цѣлый папушникъ съѣсть — и съѣлъ. Я къ одному изъ будущихъ засѣданій такую штуку приготавливаю, такую штуку! Вотъ увидите!

— Разскажите, Тонкачевъ! Ну, пожалуйста!

— Нѣтъ, господа, покуда это секретъ. Я долженъ поразить неожиданно, чтобы никто не опомнился. У меня, господа, сто пять дѣлъ въ производствѣ было — сколько отчаянныхъ между ними, ну самыхъ то-есть такихъ, что даже издали взглянуть на него противно! — и девяносто-семь изъ нихъ выигралъ! Заимѣйте: изъ ста пяти дѣлъ только восемь проигранныхъ! такого tour de force даже Отпѣтый не совершалъ!

— Тонкачевъ! шампанскаго! servez vous!

— Нѣтъ, господа, вы ужъ позвольте мнѣ самому фетирировать васъ! человекъ, двѣнадцать бутылокъ! вы, господа, какое предпочитаете?

— Редереръ! Редереръ!

— А я, грѣшный человекъ, предпочитаю Heidzick-cabinet! Сущее. А впрочемъ, можно отъ времени до времени и ледерцу пропустить. Только предварительно надлежитъ по коньячкамъ пройтись, чтобы приличное осаженіе сдѣлать послѣ всего этого изобилія плодовъ земныхъ!

Попойка возобновляетъ теченіе свое и принимаетъ болѣе и болѣе шумный характеръ. Черезъ часъ пирующие уже перестаютъ понимать другъ друга. Одинъ Тонкачевъ, что называется, ни въ одномъ глазѣ, и только хвастаетъ въ нѣсколько болѣе усиленныхъ размѣрахъ, чѣмъ обыкновенно.

— Вотъ когда вы выйдете изъ заведенія, всѣ ко мнѣ приходите! говоритъ онъ: — такъ прямо и приходите! Я всѣхъ въ помощники приму! Мы цѣлую фабрику заведемъ! Мы такое судогворенье устроимъ, что небу жарко будетъ! Истецъ ли, отвѣтчикъ ли — все будетъ одно, все въ нашихъ рукахъ. Самъ истецъ, самъ и отвѣтчикъ! Вотъ мы какую штуку удеремъ! Я, ты, онъ — все одно! все одинъ чортъ!

Наконецъ, дѣло доходитъ до того, что нѣкоторые изъ бѣсѣдующихъ начинаютъ плакать, другіе смѣяться, третьи призывать небо и землю въ свидѣтели. Одинъ изъ школьниковъ подходитъ къ зеркалу, и завидѣвъ, тамъ свое изображеніе, начинаетъ къ нему придирааться. Опьянѣлъ, наконецъ, и Тонкачевъ.

— А вѣдь по правдѣ-то, говоритъ онъ коснѣющимъ языкомъ:—какъ ежли по совѣсти... свиньи мы, господа! Ничего-то вѣдь у насъ засъ за душой. Ну просто, такъ сказать, въ душѣ кабакъ... ей-богу такъ!

Далеко за полночь, молодыхъ людей не безъ труда развозятъ по домамъ татары.

Наконецъ, данъ и послѣдній экзаменъ. Будущіе прокуроры и адвокаты разсыпаются по стогнамъ Петербурга.

Миша вышелъ первымъ. Въ щегольскомъ фракѣ, съ капитанскимъ чиномъ на плечахъ, онъ съ выпускного обѣда является въ отчій домъ. Но такъ-какъ онъ навеселѣ, то ему кажется, что передъ нимъ не скромная квартира Семена Прокофьича Нагорнова въ Подъяческой, а величественное зданіе суда.

— Принимая во вниманіе, говоритъ онъ, останавливаясь въ дверяхъ передней, и указывая на отца: — принимая во вниманіе, что этотъ человѣкъ совершилъ преступленіе съ полнымъ сознаніемъ содѣяннаго, и притомъ безъ всякихъ уменьшающихъ вину его обстоятельствъ, а потому полагаемъ...

— Другъ ты мой! восклицаетъ Анна Михайловна въ какомъ-то неопisanномъ волненіи.

— Ну, Христосъ съ нимъ! выпилъ... Христосъ съ нимъ! съ нѣжностью говоритъ Семенъ Прокофьичъ, крестя сына.

— И за что они меня въ прокуроры отдали! Я въ адвокаты хочу! всхлипываетъ Миша какимъ-то наболѣвшимъ голосомъ, и слезы градомъ катятся изъ глазъ его.

Будущаго прокурора укладываютъ спать.

## ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Никто не могъ сказать опредѣлительно, какимъ образомъ Порфирій Велентьевъ сдѣлался финансистомъ. Правда, что еще въ 1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, онъ уже написалъ проектъ подъ названіемъ:

*Дешевѣйшій способъ продовольствія армии и флотовъ!!*

*или .*

*Колбаса изъ словыхъ шипекъ съ примѣсю никуда негодныхъ мясныхъ обрѣзковъ!!*

въ которомъ, описывая питательность и долгосохраняемость изобрѣтеннаго имъ продукта, требовалъ, чтобы ему отвели до ста тысячъ десятинъ земли въ плодороднѣйшей полосѣ Россіи для устройства громаднхъ размѣровъ колбасной фабрики, вза-мѣнъ же того предлагалъ снабжать армию и флотъ изумительнѣйшею колбасою по баснословно-дешевымъ цѣнамъ. Но, увы! тогда время для проектовъ было тугое и хотя нѣкоторые помощники столоначальниковъ того вѣдомства, въ которомъ служилъ Велентьевъ, соглашались, что „хорошо бы, братъ, разомъ этакой кусъ урвать“, однако въ высшихъ сферахъ никто Порфирія за финансиста не призналъ и проектомъ его не соблазнился. Напротивъ того, ему было даже внушено, чтобы онъ „несвойственными дворянскому званію вымыслами впредь не занимался, подъ опасеніемъ высылки за предѣлы цивилизаціи“. На томъ это дѣло и покончилось. Порфирій года четыре прожилъ смирно, состоя на службѣ въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ.



Но молчаніе его было вынужденное, и втайнѣ Велентьевъ все-таки давалъ себѣ слово во что бы ни стало возвратиться къ проекту о колбасѣ. Перечитывая стекающіеся отовсюду вѣдомости о положеніи въ казначействахъ суммъ и капиталовъ всевозможныхъ наименованій, онъ пускался въ вычисленія, доказывалъ недостаточность употреблявшихся въ то время способовъ для извлеченія доходовъ, требовалъ учрежденія особаго министерства подъ названіемъ „министерства дивидендовъ и раздачъ“, и указывая на неисчерпаемыя богатства Россіи, лежащія какъ на поверхности земли, такъ и въ нѣдрахъ оной, восселипалъ:

— „Столько богатствъ — и втунѣ! Вѣдь это, наконецъ, свинство!“

Но никто уже не вѣрилъ ему. Даже помощники столоначальниковъ — и тѣ сомнѣвались, хотя каждому изъ нихъ, конечно, было бы лестно заполучить мѣстечко въ министерствѣ дивидендовъ и раздачъ. Всѣ считали Велентьева полупомѣшанною и преисполненною финансоваго бреда головою, никакъ не подозрѣвая, что близится время, когда самый горячечный бредъ не только сравняется съ дѣйствительностью, но даже будетъ оттѣсненъ послѣднею далеко на задній планъ...

Наконецъ, наступилъ 1857 годъ, который всѣмъ открылъ глаза. Это былъ годъ, въ который впервые покачнулось пресловутое русское единомысліе и уступило мѣсто не менѣе пресловутому русскому галдѣнію. Это былъ годъ, когда выпорхнули цѣлые рои либераловъ-пѣнокоснимателей, и принялись усиленно нюхать, чѣмъ пахнетъ. Это былъ годъ, когда не было той скорбной головы, которая не попыталась бы хоть слегка поковырять въ нѣдрахъ русской земли, добродушно смѣшивая послѣднюю съ русской казною.

Промышленная и акціонерная горячка, послѣ всеобщаго затишья, вдругъ очутилась на самомъ зенитѣ. Проекты сыпались за проектами; акціонерныя компаніи нарождались одна за другою, какъ грибы въ мочливое время. Люди, которымъ долготѣ присвоивались презрительныя наименованія „соломенихъ головъ“, „гороховыхъ шутовъ“, „проходимцевъ“ и даже „подлецовъ“, вдругъ оказались геніями, передъ грандіозностію соображеній которыхъ слѣпили глаза у всѣхъ непосвященныхъ въ тайны жульничества. Всѣхъ русскихъ быковъ предполагалось посолить, и въ соленомъ видѣ отправить за границу. Всѣ русскія болота представлялось необходимымъ разработать, и извлеченные изъ торфа продукты отправить за границу. Х. указывалъ на изобиліе грибовъ и требовалъ „устройства грибной промышленности на болѣе раціональныхъ основаніяхъ“; Z. ука-

зывать на массы тряпья, скопляющіяся по деревнямъ, и доказывать, что еслибы эти массы употребить на выдѣлку бумаги, то бумажныя фабрики всѣхъ странъ должны были бы объявить себя несостоятельными. У. заявлялъ скромное желаніе, чтобы въ его руки отданы были всѣ русскіе кабаки, и взамѣнъ того общалъ сдѣлать сивуху общедоступнымъ напиткомъ. Хмѣль, ленъ, пенька, сало, кожи—на все завистливымъ окомъ взглянули домашніе ловкачи-реформаторы и изъ всего изъявляли твердое намѣреніе выжать сокъ до послѣдней капли. Повсюду, даже на улицахъ, слышались возгласы:

— Ванька-то! курицынь сынъ! скажите, какую, штуку выдумалъ!

Однимъ словомъ, русскій геній воспрянулъ...

Но какъ ни грандіозны были проекты объ организаціи грибной промышленности, объ открытіи рынковъ для сбыта русскаго тряпья и проч.—они представлялись ребяческимъ лепетомъ въ сравненіи съ проектомъ, который созрѣлъ въ головѣ Велентьева. Тѣ проекты были простые, болѣе или менѣе увѣсистые булжники, Велентьевъ же вдругъ извлекъ цѣлую глыбу и поднесъ ее изумленной публикѣ. Проектъ его былъ озаглавленъ такъ: „О предоставленіи коллежскому совѣтнику Порфирію Менадрову Велентьеву въ товариществѣ съ вильманстрандскимъ первостатейнымъ купцомъ Василиемъ Вонифатьевымъ Поротоуховымъ въ безпошлинную двадцатилѣтнюю эксплуатацію всѣхъ принадлежащихъ казнѣ лѣсовъ для непремѣннаго оныхъ, въ теченіи двадцати лѣтъ, истребленія“... Передъ величіемъ этой концессіи, всѣ сомнѣнія относительно финансовыхъ способностей Порфирія немедленно разсыпались. Всѣ тѣ, которые дотошъ смотрѣли на Велентьева, какъ на исполненную финансового бреда голову, должны были умолкнуть. Столначальники и начальники отдѣленій, встрѣчаясь на Подъяческой, въ восторгѣ поздравляли другъ друга съ обрѣтеніемъ истиннаго финансового человѣка минуты. Директоры департаментовъ задумывались; но въ этой задумчивости проглядывалъ не скептицизмъ, а опасеніе, сдумаютъ ли они встать на высоту положенія, созданнаго Велентьевымъ. Словомъ сказать, репутація Велентьева, какъ финансиста, установилась на прочныхъ основаніяхъ, и ежели не навсегда, то, крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не явится новый Велентьевъ съ новымъ, еще болѣе грандіознымъ проектомъ „о повсемѣстномъ опустошеніи“ и не свергнетъ своего созію съ пьедестала, на который тотъ вскарабкался.

Само собой разумѣется, что часть славы озарившей Велентьева, должна была отразиться и на вильманстрандскомъ купцѣ Поротоуховѣ. О Поротоуховѣ еще менѣе можно было

сказать, какимъ образомъ онъ сдѣлался финансистомъ. Большинство помнило его еще подъ именемъ Васьки Поротое Ухо сидѣльцемъ кабака въ одной изъ великорусскихъ губерній; хотя же онъ въ этомъ положеніи и успѣлъ заслужить себѣ репутацію балагура, но такъ-какъ въ тѣ малопросвѣщенные времена никто не подозрѣвалъ, что отъ балагура до финансиста рукой подать, но никто и не обращалъ на него особеннаго вниманія. Тѣмъ не менѣе, должно полагать, что Васька занимался не однимъ балагурствомъ, но умѣлъ кое-что и утаить. И вотъ, въ одно прекрасное утро, онъ явился въ одно изъ присутственныхъ мѣстъ, гдѣ производились значительные торги на отдачу различныхъ поставокъ и подрядовъ, и подъ торговымъ листомъ совершенно отчетливо подписался: „вильмерстанскій первостатейнай купецъ Василей Велифантъяфъ Портаухафъ симъ пать Писуюсь“. Присутствующіе такъ и ахнули. Поротоуховъ—первостатейный купецъ! Не можетъ быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоуховъ смотрѣлъ такъ свѣтло и ясно, какъ будто онъ такъ и родился „вильмерстанскимъ купцомъ“. Повидимому онъ разцвѣлъ въ одну ночь, разцвѣлъ тайно отъ всѣхъ глазъ, съ тѣмъ, чтобы разомъ явить міру всѣ благоуханія, которыми онъ былъ преисполненъ. И разцвѣлъ не затѣмъ, чтобы вмалѣ завянуть, а затѣмъ, чтобы явиться финансистомъ-практикомъ, правою рукой того плодотворнаго дѣла, душою котораго суждено было сдѣлаться Велентьеву.

Такимъ образомъ, на нашемъ общественномъ горизонтѣ одновременно появилось два финансовыхъ свѣтила. Другое, болѣе слабонервное общество, не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьевъ и Поротоуховъ пошли въ ходъ. Желѣзными когтями вцѣпились они въ нѣдра русской земли, и копаются въ нихъ доднѣсь, волнуя воображеніе россіянъ перспективами неслыханныхъ барышей и обѣщаніемъ какихъ-то сокровищъ, до которыхъ нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу.

Но общественное мнѣніе, справедливо угадавъ на Велентьева и Поротоухова, людей, отвѣчавшихъ потребностямъ минуты, все-таки не совсѣмъ правильно взглянуло на тѣ условія, въ силу которыхъ они появились на аренѣ общественной дѣятельности не въ качествѣ пражвостовъ, какими бы имъ надлежало быть, но окруженные ореоломъ авторитетности. Оно увидѣло въ нихъ баловней фортуны, гениальныхъ самоучекъ, въ которыхъ идея о всеобщемъ ограбленіи явилась какъ плодъ внезапнаго откровенія. Это было заблужденіе. Не съ неба свалилась къ этимъ людямъ почетная роль финансовыхъ воротилъ русской земли, а пришла издалека. Надъ ними прошло цѣлое воспитаніе, вслѣд-

ствіе котораго они такъ же естественно развились въ финансовъ самоновѣйшаго фасона, какъ Миша Нагорновъ — въ неуспянаго служителя Ѳемида, а Коля Персіановъ — въ администратора высшей школы.

На этотъ разъ займемся собственно Порфишей Велентьевымъ, предоставляя себѣ поговорить о Васильѣ Порогуюховѣ при случаѣ.

Отецъ Порфиши, Менандръ Велентьевъ, происходилъ изъ духовнаго званія. Даже и теперь, въ одной изъ подмосковныхъ губерній, имѣется село Велентьево, въ которомъ Порфишинъ дѣдъ былъ, въ теченіи сорока лѣтъ, священникомъ. Благодаря существовавшему въ двадцатыхъ годахъ спросу на молодыхъ людей изъ духовнаго званія, Менандру посчастливилось, да къ тому же и способности у него были прекрасныя. Еще будучи въ семинаріи, онъ съ такою легкостью усваивалъ себѣ всю книжную мудрость, отъ патристики до догматическаго богословія включительно, что отецъ ректоръ не разъ рѣшался переименовать его въ Быстроумова, но, къ счастью для Менандра, а еще болѣе для Порфиши, почему-то не успѣлъ наложить на родъ Велентьевыхъ неизгладимое клеймо племени Левитова. Впослѣдствіи, какъ отличный, Менандръ былъ переведенъ въ духовную академію, въ Петербургъ, гдѣ тоже блистательно кончилъ курсъ, но, при выходѣ изъ академіи, духовной карьеры не пожелалъ, а предпочелъ ей карьеру чиновника. Обстоятельства благопріятствовали ему и тутъ. Въ это самое время, князь Оболюй-Щетина-Ферлакуръ искалъ для своего сына воспитателя, и по совѣту жены, обратился къ единственному въ то время надежному источнику истиннаго просвѣщенія — къ духовной академіи. Отецъ ректоръ порекомендовалъ князю Менандра Велентьева.

Князь Оболюй-Щетина-Ферлакуръ былъ первый изъ русскихъ Ферлакуровъ. Княжна Оболюй-Щетина была послѣднею представительницей знаменитаго рода князей Оболюевъ-Щетинъ. Дабы не дать угаснуть воспоминанію объ этомъ родѣ, княжна, вышедши замужъ за французскаго эмигранта Ферлакура, исходатайствовала, чтобы къ фамиліи послѣдняго была присоединена и ея собственная. Такимъ образомъ устроился трисоставный князь Оболюй-Щетина-Ферлакуръ. Новоиспеченный князь Россійской имперіи оказался вполне достойнымъ внезапно постигшаго его счастья. Онъ сразу понялъ, что настоящее отечество для празднующагося — тамъ, гдѣ представляется возможность кататься какъ сыръ въ маслѣ, и затѣмъ, ни мало не колеблясь, принять православіе, и съ этой

минуты не иначе говорилъ о себѣ, какъ „мы, русскіе“. Долгихъ усилій ему стоило, чтобы полюбить севрюжину съ хрѣномъ, но такъ какъ онъ понялъ, что безъ этого быть истинно русскимъ нельзя, то не только полюбилъ севрюжину, но даже охотно пилъ квасъ, а о кашѣ выражался не иначе, какъ: „каша есть мать наша“. Онъ щеголялъ тѣмъ, что онъ русскій, хотя и Ферлакуръ, и предсказывалъ, что недалеко время, когда всѣ французскіе Ферлакуры будутъ русскими. Въ разговорѣ, онъ любилъ вклеивать малоупотребительныя слова, въ родѣ „токмо“, „вѣщій“, „вмалѣ“, „книжица“, „издивеніе“, и т. д. Но когда онъ, наконецъ, написалъ книжицу, въ которой изобразилъ, какими неисповѣдимыми путями онъ дошелъ до сознанія истинъ святой православной вѣры, то всѣ признали, что болѣе благонадежнаго русскаго, чѣмъ этотъ русскій Ферлакуръ — и желать не надо. Пользуясь этимъ благоприятнымъ поворотомъ мнѣнія высшихъ административныхъ сферъ, князь достигъ того, что неторопливыми, но вѣрными шагами шелъ себѣ да шелъ по лѣстницѣ должностей, и, наконецъ, получилъ совершенно обезпеченное положеніе въ вѣдомствѣ святѣйшаго синода.

Такимъ образомъ, когда Менандръ Велентьевъ поступилъ, въ качествѣ домашняго воспитателя, въ домъ князя Оболюй-Щетина-Ферлакура, послѣдній былъ уже на верху почестей и славы.

Менандръ скоро и ловко освоился съ своимъ новымъ положеніемъ. Онъ понялъ, что ему слѣдуетъ быть почтительнымъ безъ низкопоклонства, откровеннымъ безъ фамильярности, и, наконецъ, по крайней мѣрѣ, въ такой же степени русскимъ, какъ и князь Оболюй-Щетина-Ферлакуръ! Послѣднее было для него, конечно, довольно легко, потому что онъ не только ѣлъ севрюжину съ хрѣномъ, но и гороховицу употреблялъ довольно охотно. Но найти середину между почтительностью и низкопоклонствомъ, отыскать ту ноту, которая не позволяла бы откровенности перейти въ фамильярность, было нѣсколько труднѣе. Какъ и всѣ семинаристы, Менандръ былъ до крайности угловатъ, и потому рѣшительно не владѣлъ своимъ тѣломъ. Онъ не зналъ, что дѣлать съ руками (повременамъ, онъ порывался ихъ прятать какъ бы подъ гнетомъ ощущенія рясъ на плечахъ), и вообще всею фигурой напоминалъ танцующаго медвѣдя. Желаніе попасть въ тонъ и показать знаніе свѣтскихъ приличій убивало его, и заставляло дѣлать тысячи несообразностей. Онъ то спѣшилъ и устремлялся, то вдругъ останавливался и упирался какъ быкъ; то чрезмерно улыбался, стараясь сложить губы на подобіе сердечка, то вдругъ насу-

пливалъ брови и по цѣлымъ часамъ глядѣлъ изподлобья. По французски онъ понималъ отлично, но разговоръ его былъ нерѣшительный, какъ будто его постоянно преслѣдовала мысль: а не по-латыни ли я говорю? Сверхъ того, онъ былъ широко-кость, и говорилъ такимъ открытымъ басомъ и съ такою невозмутимою разсудительностью, какъ будто непрерывно проповѣдывалъ или вразумлялъ. Но что въ особенности вредило ему, такъ это тогдашній модный костюмъ, которымъ онъ поспѣшилъ обзавестись. Вообразите вишневаго цвѣта съ искрой фракъ, совершенно облизанный спереди и съ узенькими фалдочками назади, штаны въ обтяжку, высокій галстухъ, до того туго повязанный, что всякій франтъ того времени казался всегда живущимъ подъ угрозой паралича, и наконецъ прическу, состоящую изъ кока посреди лба, гладко выстриженного затылка и волосъ, зачесанныхъ на виски въ видѣ толстыхъ запятыхъ—и вы будете имѣть возможность представить, какъ долженъ былъ казаться смѣшнымъ въ такомъ видѣ этотъ плотный семинаристъ, только что перешедшій съ академической парты въ великолѣпные салоны перваго русскаго Ферлакура.

Но Менандру, что называется, везло, и потому даже негѣлая вѣшность послужила ему въ пользу.

Княгиня была женщина еще не старая, но не очень красивая и набожная. Въ обществѣ ее уважали за то, что она умѣла умно вести теологическіе споры, но такъ какъ даже и въ то суровое время молодые люди предпочитали амурные разговоры теологическимъ, то княгиня постоянно видѣла себя окруженною людьми, имѣвшими не менѣе статскаго совѣтника на плечахъ. Но статскіе и дѣйствительные статскіе совѣтники говорили такъ резонио, что даже на нее наводили тоску. Съ одной стороны, старшій Ферлакуръ съ своими „книжицами“ и „изживеніями“, съ другой—какой-нибудь генералъ-маіоръ Толконниковъ, читающій на *soirée sausante* проектъ „немедленнаго воссоединенія униі, буде нужно, даже съ помощью оружія“—вотъ убивающая обстановка, въ которой ей суждено было влачить изо дня-въ-день свое существованіе. Поэтому, хотя княгиня и не сознавалась даже самой себѣ, что отсутствіе въ ея салонахъ молодого элемента раздражало ее, но по временамъ сами статскіе совѣтники замѣчали, что на нее нахлываютъ порывы какой-то странной теологической рѣзвости. То вдругъ начнетъ цитировать Вольтера и энциклопедистовъ, то возбудитъ вопросъ о папской непогрѣшимости, и окажетъ явную склонность къ поддержанію ея (подивимся, читатель! гдѣ-то, на отдаленномъ сѣверѣ, слабая женщина еще въ двадцатыхъ годахъ провидѣла вопросъ, повергающій въ смущеніе

современную католическую Европу!). Статскіе совѣтники слушали, хлопали глазами, и расходились по домамъ „смущенные и очи опустя“. А княгиня, оставшись наединѣ съ самой собою, начинала вздыхать, швыряла теологическія диссертациі на полъ, садилась къ окну, и съ какимъ-то безнадежнымъ томленіемъ устремляла въ даль глаза свои. Ждала-ли она чего-нибудь? сознавала-ли даже, что чего-то ждетъ?—на эти вопросы я отвѣчать не берусь. Я знаю только, что когда маленькому князену стукнуло десять лѣтъ, она съ какимъ-то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ начала торопить стараго Ферлакура, чтобъ онъ какъ можно скорѣе прискивалъ сыну воспитателя.

Княгинѣ понравилась и неловкость Велентьева и даже его необыкновенный французскій языкъ. Тутъ было много пикантнаго, много такого, надъ чѣмъ можно было поработать. Она прямо взяла Менандра подъ свое покровительство, и надо сказать правду, повела дѣло прирученія дикаря съ большимъ тактомъ. Прежде всего, она внушила ему полное довѣріе къ себѣ своимъ ровнымъ, мягкимъ и открытымъ обращеніемъ. Изъ своихъ отношеній къ нему она изгнала всякую подготовленность, все, что могло бы намекнуть Велентьеву, что она выдерживаетъ школу, а не свободно относится къ нему. Потомъ, она предприняла внушить ему, что она „святая“ (une sainte), и въ этомъ качествѣ имѣетъ нѣкоторое право снисходительно указывать людямъ на ихъ недостатки, безъ всякаго намѣренія оскорбить ихъ самолюбіе. Пользуясь тѣмъ, что Менандръ занималъ должность воспитателя ея сына, она часто и подолгу бесѣдовала съ нимъ, но никогда не давала замѣтить, что его открытый басъ по временамъ уже слишкомъ переходитъ въ порывистый вой или глубокомысленное урчаніе, а только нюхала спиртъ, и противопоставляла этимъ страннымъ голосовымъ тонамъ мягкіе и ровные тоны своего собственнаго голоса.

Вслушиваясь въ ея свободно-любящуюся, хотя и нѣсколько безцвѣтную рѣчь, Велентьевъ невольнымъ образомъ сравнивалъ ее съ своими захлебываніями, и начиналъ догадываться, почему княгиня ощущаетъ потребность нюхать спиртъ, когда онъ говорить. И вслѣдствіе этихъ сравненій, его собственная рѣчь, невольнымъ образомъ, хотя и не безъ нѣкоторой съ его стороны работы, становилась все болѣе и болѣе спокойною. Та же самая тактика была съ успѣхомъ примѣнена и относительно прочихъ внѣшнихъ манеръ. Княгиня начала съ того, что идя къ обѣду, потребовала, чтобъ Велентьевъ подавалъ ей руку, но когда она сдѣлала это въ первый разъ, то Менандръ, во-первыхъ, бросился къ ней со всѣхъ ногъ и чуть не обрушился на нее всѣмъ корпусомъ, и во-вторыхъ, изогнулся такимъ обра-

зомъ, что самъ князь удивился и сказалъ: „нѣтъ необходимости, другъ мой, столь вице изломиться“. Съ тѣхъ поръ, княгиня всегда сама подходила къ Менандру, брала его за руку и въ качествѣ „святой“ позволяла себѣ незамѣтно сообщать его корпусу надлежащее направленіе. Въ результатѣ оказалось, что черезъ какой-нибудь мѣсяцъ, Велентьевъ говорилъ очень пріятнымъ и изытымъ отъ всякой натуги басомъ, и имѣлъ походку на столько непринужденную, что княгиня безъ всякаго риска могла даже при гостяхъ призывать его къ себѣ съ другого конца комнаты.

По вечерамъ, княгиня читала съ Велентьевымъ Боссюэта и Массильона. Начинала она всегда сама, но потомъ, подъ предлогомъ утомленія, передавала книгу Менандру. Велентьевъ, путаясь и краснѣя, выводилъ латинскія фразы и употреблялъ неимоверныя усилія, чтобы произносить ихъ какъ можно болѣе въ носъ. Княгиня съ ангельскимъ терпѣніемъ выносила эту тарабарщину, и только тогда, когда можно было сдѣлать это безъ неприличія, вновь брала у Менандра книгу и продолжала читать сама.

— Вы читаете съ большимъ одушевленіемъ, дружески говорила она:—я рѣдко слышала чтеніе до такой степени ясное, какъ ваше; но произношеніе у васъ еще недостаточно выработано. При вашихъ блестящихъ способностяхъ, вы, конечно, въ самое короткое время успѣете преодолѣть небольшія трудности языка.

И дѣйствительно, постепенно Менандръ до того наострился, что даже самъ старый Ферлакуръ, выслушавъ, въ одно прекрасное утро, его рапортъ о вчерашнихъ воспитательныхъ занятіяхъ юнаго князька, въ изумленіи воскликнулъ:

— Ah ça! ah mais! mais il est tout à fait comme il faut, se coquin de séminariste! Еще одно вящее усиліе, мой юный другъ, и днюсь все будетъ къ наилучшему концу!

Повременамъ, княгиня посвящала его и въ тайны свѣтскаго разговора. Обыкновенно это случалось вечеромъ, когда въ домѣ не было гостей, когда старый князь уѣзжалъ въ клубъ, а маленький князекъ уже спалъ. Начитавшись Массильона, перелбавъ всѣ доводы pro и contra воссоединенія церквей, княгиня въ задумчивости полулежала на кушеткѣ, а Менандръ, сложивъ губы сердечкомъ (отъ этой свѣрной привычки даже она не могла его отучить), сидѣлъ противъ нея.

— Ахъ, что-то будетъ за гробомъ? произносила княгиня, закрывая глаза.

— Я полагаю, будетъ жизнь безконечная, отвѣчалъ Велентьевъ.



Княгиня нѣкоторое время молча вздыхала. Не особенно высокая грудь ея слегка колебалась, голова закидывалась назадъ; складки темной шелковой блузы мягко вздрагивали.

— Нѣтъ, я не объ томъ, начинала она вновь:—я хотѣла бы знать, чтò такое ангелы?

— Ангелы-съ—это безплотные духи. По крайней мѣрѣ, такъ учить наша святая православная церковь.

— Однако, многіе праведные люди ихъ видѣли. Согласитесь, что еслибъ они были совсѣмъ—совсѣмъ безплотными, развѣ можно было бы видѣть ихъ?

— Нетлѣннымъ очамъ, ваше сіятельство, я полагаю...

— Ахъ нѣтъ, опять не то! Знаете ли, я бы сама хотѣла быть ангеломъ! Только тогда, быть можетъ, я убѣдилась бы, чтò такое значить: „безплотная“, и въ то же время плоть есть.

— Ваше сіятельство! Ежели судить по сердцу, то и въ настоящее время едва ли впадетъ въ ошибку тотъ, кто будетъ утверждать, что вы ангелъ!!!

— Вы думаете?.. Однако... я не безплотная...

Княгиня взглядывала на него изподлобья. Велентьевъ краснѣлъ какъ ракъ и начиналъ тяжело дышать.

— Я не безплотная, тихо повторяла княгиня, снова закрывая глаза и окончательно впадая въ мечтательность.

Черезъ нѣсколько времени, Менандру было объявлено, что онъ причисленъ съ чиномъ коллежскаго секретаря къ одной изъ канцелярій. Но такъ какъ на его рукахъ лежало болѣе важное дѣло воспитанія молодого Ферлакура, то само собой разумѣется, что всѣ его обязанности относительно государственной службы должны были ограничиваться полученіемъ за отличіе чиновъ. Это было время его перевоспитанія, то время, когда онъ долженъ былъ совлечь съ себя ветхаго семинариста и облечься въ ризу серьезнаго молодого человѣка, до тонкости понимающаго приличія свѣта. Княгиня продолжала заниматься его перевоспитаніемъ со всѣмъ увлеченіемъ экзальтированной женщины. Она переговаривала съ нимъ всѣ разговоры того времени, но подъ конецъ какъ-то всегда сводила рѣчь къ ангеламъ и старалась допытаться, въ чемъ заключаются особенности ангельскаго житія. Онъ же съ своей стороны осмѣлился до того, что мало-по-малу сталъ заводить рѣчь о „тѣлесномъ озлобленіи“, и по зрѣломъ разсмотрѣніи этого предмета, приходилъ къ заключенію, что „сколь сіе ни прискорбно кажется, но надобно оное, по возможности, утишить, дабы душа могла свободнѣе воспарить“.

— Какой вы, однакожь, матеріалистъ, Менандръ! съ легкимъ укоромъ выговаривала ему княгиня.

— Невозможно, ваше сіятельство! возражалъ онъ: — извольте разсудить сами; естественное ли дѣло, чтобы душа чело-вѣческая чувствовала себя свободною, коль скоро сдерживающія ее узы не находятъ себѣ надлежащаго разрѣшенія?..

Княгиня на минуту задумывалась и потомъ какъ бы про себя, произносила:

— Au fond, peut-être, vous êtes dans le vrai!

А молодой Ферлакуръ между тѣмъ подрасталъ, пріятнѣйшимъ образомъ проводя время въ дѣвичьей, въ обществѣ нянекъ и горничныхъ, и лишь по временамъ ощущая на себѣ воспитательное вліяніе Велентьева.

Года черезъ три, Менадръ однакожь сообразилъ, что предаваясь разговорамъ объ ангельскомъ житіи и тѣлесномъ озлобленіи, онъ не только не уйдетъ далеко, но даже можетъ скопрометировать свое будущее. Онъ понялъ, что какъ ни ангелоподобна княгиня, но къ этой ангелоподобности уже начинаетъ примѣшиваться нѣкоторое количество „тѣлеснаго озлобленія“. Затѣмъ, представился вопросъ: что такое княгиня, и что такое онъ самъ? Вопросъ этотъ Велентьевъ, ни мало не обольщаясь, разъяснилъ себѣ такимъ образомъ: княгиня—женщина избалованная, капризная и при томъ властная; онъ же—червь, въ самомъ реальномъ значеніи этого слова. Поэтому, онъ рѣшился оставаться, въ отношеніяхъ своихъ къ княгинѣ, на почвѣ исключительной дружбы, не увлекаясь никакими любовными фантазіями, какъ бы ни легко казалось ихъ осуществленіе...

Въ это время, молодой Ферлакуръ поступилъ въ университетъ. Затѣмъ, хотя обязанности воспитателя и продолжали попрежнему лежать на Велентьевѣ, но онъ былъ уже на столько свободенъ, что могъ безъ ущерба для этихъ обязанностей, искать для себя и другихъ занятій. Вслѣдствіе этого, онъ началъ порываться на дѣйствительную службу, и устроилъ это дѣло такъ ловко, что сама княгиня убѣдилась, что дѣйствительно государственному механизму чего-то недостаетъ, и что этотъ пропускъ можетъ быть лучше всего восполненъ Велентьевымъ, у котораго кстати, была наготовѣ цѣлая законодательная система, ждавшая только удобнаго случая для своего осуществленія.

— Законы, ваше сіятельство, къ тому должны быть направлены, чтобы всѣхъ людей добродѣтельными сдѣлать! такъ формулировалъ Менадръ свой взглядъ на законодательство.

— Станный вы чело-вѣкъ, Велентьевъ! развѣ кто-нибудь сомнѣвался, что люди обязаны быть добродѣтельными! Но какъ этого достигнуть? возражала княгиня.

— Достигнуть, ваше сіятельство, всего возможно, если пра-

вительствомъ будутъ допущены необходимыя въ семъ случаѣ приспособленія.

— Я понимаю: вы хотите сказать, что въ основаніе законодательства слѣдуетъ положить систему наказаній и награды?

— Точно такъ, ваше сіятельство. Ежели для добродѣтели будутъ ассигнуемы отъ правительства поощренія и награды, а пороку будутъ указаны въ перспективѣ арестантскія роты и смиренныя дома, и ежели указанія эти будутъ выполнены неупустительно, то всякому вразумительно будетъ, по какой стезѣ ему надлежитъ идти.

— Да, но вы забываете, что смиренныя дома уже существуютъ, а что касается до наградъ, то врядъ ли казна будетъ въ состояніи...

— Ваше сіятельство! Я такъ объ этомъ предметѣ думаю, что истинно-добродѣтельный человѣкъ, и не обременяя казны, самъ себя сумѣетъ вознаградить, если ему будутъ преподаны надлежащія къ тому средства!

Однимъ словомъ, при содѣйствіи княгини, Менаандръ въ скоромъ времени очутился въ самомъ центрѣ той кипучей дѣятельности, среди которой неслышно, но неуклонно разрабатывается общественное прокуство ложе...

Двадцатые года были уже на исходѣ, и прежній піэтизмъ замѣнился страстью къ законодательству. Канцелярія, въ которой пріютился Велентьевъ, занималась преимущественно законами. Тамъ писались новые законы, измѣнялись, согласовались и редижировались старые. Цѣлыя полчища семинаристовъ окунали перья въ сокровищницу первозданнаго, неиспорченнаго человѣческаго мышленія, и „замаравши ихъ тамо“, предавались „изобрѣтенію неослабныхъ и для всеобщаго употребленія пригодныхъ правилъ и узаконеній“. Цѣлые вороха подготовительныхъ работъ валялись въ шкафахъ и по столамъ; тутъ были и предварительныя объяснительныя записки, и сравнительныя таблицы и какіе-то громадные листы, съ наклеенными на нихъ печатными вырѣзками. Слонообразные юноши-семинаристы безъ устали копались въ этихъ ворохахъ, и начальство, взирая на нихъ, съ удовольствіемъ помышляло, что существуютъ же на свѣтѣ тѣлеса, которыхъ даже подобная работа сломить не можетъ.

Здѣсь Велентьевъ встрѣтилъ товарищей по академіи, съ которыми временно разлучила его суровая обязанность воспитательства. Тутъ были они всѣ: и Героглифовъ, и Мудровъ, и Быстроумовъ, и Словущенскій. На нихъ лежали тогдашнія упованія Россіи, и какъ извѣстно, лежали не напрасно. Товарищи

встрѣтили Менандра не только безъ зависти, но даже съ сердечностью и радушіемъ. Вскорѣ они ввели его въ свой интимный кружокъ, который, повидимому, преслѣдовалъ какія-то особыя цѣли, и потому имѣлъ внѣшніе признаки недозволеннаго прavitельствомъ общества.

Кружокъ этотъ назывался „Дружескимъ союзомъ для изысканія средствъ и достиженія цѣлей“. Цѣль союза формулировалась такъ: произвести повсемѣстное пареніе духа, имѣя при томъ въ виду достиженіе высшихъ блаженствъ. Въ тридцатыхъ годахъ — это уже не дозволялось. Ближайшимъ средствомъ къ этой цѣли предлагалось слѣдующее: опутать Россію цѣлою сѣтью семинаристовъ-администраторовъ и семинаристовъ-законодателей; такъ какъ имъ однимъ, „яко видѣвшимъ процвѣтшій въ единую отъ ношей жезлъ Аароновъ“, вполне доступно истинное представленіе о высшихъ блаженствахъ. Будучи введенъ въ это общество, Велентьевъ немедленно и съ полною ясностью опредѣлилъ себѣ тотъ путь, по которому ему надлежитъ идти, то-есть, предпринять изгнать отъ него все относящееся къ паренію духа, яко противоправительственное.

Какъ и во всякомъ обществѣ людей, соединившихся съ извѣстными цѣлями, въ „союзѣ“ были двѣ партіи: радикалы и умѣренные. Во главѣ радикаловъ стояли: Гіероглифовъ и Мудровъ, во главѣ умѣренныхъ (иначе „суетныхъ“) находились: Быстроумовъ и Словущенскій. Какъ составители законовъ, эти молодые люди руководили всѣмъ движеніемъ; за ними уже стояли цѣлыя полчища Рождественскихъ, Спасскихъ, Неглигентовыхъ и проч., имѣвшихъ болѣе скромныя должности въ различныхъ департаментахъ.

Радикалы не только серьезно, но даже шепетильно относились къ „паренію духа“; они небрегли внѣшностью, были чрезвычайно худы и длинны, одѣвались плохо, причесывались по принужденію и жадно глотали всякую пищу, не разбирая достоинствъ ея. Словомъ сказать, они охотно отдали бы на поруганіе тѣла свои, лишь бы достигнуть „высшихъ блаженствъ“.

„Я желалъ бы, чтобы псы терзали меня!“ вдохновенно говорилъ Гіероглифовъ. Напротивъ того, „суетные“ были люди слегка тронутые матеріализмомъ, и хотя признавали „пареніе духа“ лучшею формою челоуѣческаго счастья, но признавали это подъ условіемъ укрощенія тѣлеснаго озлобленія при посредствѣ „не зазорныхъ и дозволенныхъ правительствомъ ласкомствъ“. Имъ улыбался суровый съ виду, но въ сущности очень покладистый правительственный матеріализмъ, въ видѣ приношеній, взятокъ, акциденцій и проч. По наружному виду, это были люди кругленькіе и сытенькіе; одѣвались они не безъ

семинарской щеголеватости, причисывались каждый день, и не только не признавали правила „предлагаемое да ядимъ“, но, напротив того, всегда выбирали, по возможности, лучшіе куски. Тѣлъ своихъ на поруганіе они не отдавали, а напротивъ желали „въ полномъ спокойствіи и мирѣ душевномъ сквозь горнило испытаній пройти, дабы впослѣдствіи отъ трапезы блаженствъ благочинно и непрепятственно вкушать“.

Менандръ Велентьевъ сразу всталъ на сторону „суетныхъ“ и даже скоро сдѣлался руководителемъ и главой этой партіи. Случайно высказанное имъ княгинѣ убѣжденіе, относительно средствъ для укрощенія тѣлеснаго озлобленія, глубоко запало ему въ душу. Сначала укротить, а потомъ—воспарить. Немедленно по вступленіи въ союзъ, онъ напечаталъ за подписью Z въ одномъ изъ журналовъ того времени статью подъ названіемъ „Что означаетъ истинное умерщвленіе человѣческой плоти?“, въ которой доказывалъ, что истинное умерщвленіе плоти есть „благотребное и въ дозволенныхъ закономъ размѣрахъ оной удовлетвореніе“. „Неспорно—писалъ онъ—что плоть человѣческая имѣетъ естество въ достаточной степени гнусное, но такъ-какъ мы оную ни уничтожить, ниже сократить не вольны, то и вынуждаемся принять оную во вниманіе“. Статья эта надѣлала большаго шума; Героглифовъ и Мудровъ написали каждый по отвѣтной статьѣ, въ которыхъ изъяснили, что хотя г. Z имъ и неизвѣстенъ, но, должно быть, имѣетъ душу низкую, такъ-какъ даже имени своего подъ статьей подписать не дерзнулъ. Тогда Велентьевъ написалъ другую статью подъ названіемъ „Что симъ достигается?“ побѣдоноснымъ образомъ доказавъ, что симъ достигается именно то самое свободное пареніе духа, о которомъ хлопочутъ и Героглифовъ съ Мудровымъ. „Когда духъ нашъ свободно и бодро паритъ?“ вопрошалъ онъ себя, и тутъ же отвѣтствовалъ на вопросъ: „тогда, когда плоть молчитъ; молчитъ же она не тогда, когда чувствуетъ себя угнетенною, но тогда, когда требованія ея исполнѣны и на законномъ основаніи удовлетворены“.

Полемика эта, какъ и всѣ полемики, никакой пользы для науки духовнаго не принесла, но для самого Велентьева имѣла результатъ очень существенный. Вопросъ о тѣлесномъ озлобленіи выяснился для него настолько ясно, что его неотступно начало преслѣдовать страстное представленіе о мѣстѣ совѣтника въ одной изъ казенныхъ палатъ. Получить мѣсто совѣтника питейнаго отдѣленія, и потомъ воспарить—такова была отнынѣ завѣтная мечта Велентьева, мечта, осуществленіе которой сдѣлало, его равнодушнымъ даже къ „изобрѣтенію пригодныхъ законовъ“. Только въ званіи совѣтника онъ надѣялся

найти для себя ту награду, которую, по его же словам, истинно добродѣтельный человѣкъ, не обременяя казны, самъ для себя получить можетъ. Получить мѣсто по питейной части, и затѣмъ приличнымъ образомъ пристроиться, избрать себѣ въ подруги дѣвицу не весьма знатную, но и не низкаго рода, не весьма богатую, но и небезприданницу, не весьма красивую, но и не нарочито уродливую — таковъ былъ планъ, на которомъ остановилась мысль Менандра.

Къ счастью для Велентьева, привести въ исполненіе оба эти предположенія оказалось не труднымъ.

Если въ синодальномъ вѣдомствѣ игралъ видную роль князь Оболенскій-Ферлакуръ, то въ финансовомъ вѣдомствѣ такую же роль игралъ айзенахскій уроженецъ фонъ-Юнгфершафтъ, въ то время уже возведенный въ графское Россійской имперіи достоинство. Франко-германской распри еще не существовало; вопросъ о національностяхъ дремалъ подъ сѣнію вѣнскихъ трактатовъ, а потому всѣ выходцы поддерживали другъ друга безъ различія національностей. Ферлакуръ шепнетъ словечко Юнгфершафту насчетъ мѣстечка по питейной части; Юнгфершафтъ, въ свою очередь, порекомендуетъ Ферлакуру какого-нибудь архимандрита — и благодаря взаимнымъ услугамъ, дѣла объ опредѣленіяхъ и увольненіяхъ шли какъ по маслу. Архимандриты, совѣтники, исправники — всѣ видѣли себя агентами одной и той же короны, только по разнымъ предметамъ, распредѣленіе которыхъ хранилось въ высшей регистратурѣ. Велентьеву пришлось дожидаться недолго. Княгиня такъ усердно хлопотала, что чрезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ зародилась идея о мѣстѣ, Менандръ уже явился къ самому Юнгфершафту и получалъ отъ него наставленіе, какимъ образомъ слѣдуетъ обращаться съ русскими финансами. Графъ былъ сухой и базестратный старикъ, говорившій глухимъ и однообразнымъ басомъ. Молва считала его безкорыстнымъ, и, повидимому, онъ оправдывалъ это мнѣніе; но, къ сожалѣнію, изъ долговременной административной практики онъ вынесъ какое-то глубоко-безнадежное убѣжденіе о Россіи.

— Сей страна отъ природы таковъ, говаривалъ онъ: — что въ немъ безъ грабежа существовать не есть возможно!

Велентьева графъ принялъ съ тою безличною, сухою благосклонностью, которая его отличала.

— Вы отправляетесь въ одну изъ наивыгоднѣйшихъ губерній Россійской Имперіи, сказалъ онъ ему: — но прошу васъ — я не приказываю, но прошу — имѣйте ротъ не столько широкій, какъ многіе изъ сослуживцевъ вашихъ!

— Помилуйте, ваше сіятельство! заикнулся было Менандръ,

у котораго отъ этихъ словъ душа уже начала полегоньку парить.

— Я знаю, что вы хотите сказать, невозможно продолжалъ старикъ: — вы хотите сказать, что вы не таковъ. Я долженъ вамъ вѣрить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но повторяю вамъ: сожалѣйте вашъ родной страна! Это очень добрый и хорошій страна; но нужно немного его менажировать!

Велентьевъ продолжалъ раскрывать ротъ, видимо порываясь разувѣрить графа, но старикъ былъ невозмутимъ.

— И еще прошу васъ, говорилъ онъ: — не будьте нетерпѣливъ! Мы для всѣхъ предлагаемъ очень хорошій обѣдъ, но много людей имѣютъ такъ мало терпѣнья, что бросаются кушать, когда еще столъ не накрытъ. И за то попадаютъ подъ судъ.

На губахъ графа играла чуть-чуть замѣтная улыбка; глаза смотрѣли ясно, какъ будто читали на севозъ въ душѣ этого вскормленника гороховицы, всѣ фибры котораго въ эту минуту свѣтились вождѣлѣніемъ. Подъ лучемъ этого взгляда, Велентьеву сдѣлалось жутко, почти стыдно.

— И еще скажу, продолжалъ напутствовать графъ: — не все грабить! Очень большой человекъ грабить не надо. Ибо ежели законъ говорить: дѣйствовать не взирая на особъ, то практика говорить не такъ. Прощайте, г. Велентій!

Велентьевъ вышелъ отъ графа словно изъ бани. Съ одной стороны, уста по привычкѣ шептали: ангелъ, а не человекъ! — съ другой стороны, онъ чувствовалъ, что ему неловко, что графъ угадалъ въ немъ нѣчто такое, въ чемъ даже онъ самъ не рѣшался дать себѣ отчетъ. И притомъ угадалъ съ такою чуткою проникательностью, что, говоря по совѣсти, не было возможности что либо возразить.

Какъ бы то ни было, но предположеніе относительно мѣста осуществилось; оставалось осуществить другое предположеніе — относительно вступленія въ законный бракъ. Фортуна и на этотъ разъ не оставила Менандра своимъ покровительствомъ.

У княгини жила въ домѣ троюродная племянница, одна изъ многочисленныхъ представительницъ захудалого грузино-осетинскаго рода князей Крикулидзевыхъ. Княжѣ Нинѣ Иракліевнѣ было подъ тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, съ большимъ грузинскимъ носомъ и быстрыми черными глазами, она незамѣтно копошилась въ одномъ изъ темныхъ угловъ обширнаго синодальнаго дома, не обращая на себя ничьего вниманія и, повидимому, отказавшись отъ всякой надежды на вступленіе въ брачный союзъ. Въ постоянномъ

одиночествѣ, она приобрѣла одну страсть: конить деньги. Бережно прятала она небольшія подачки, которыя давала ей по праздникамъ княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали сдѣлать въ гостиномъ дворѣ или въ милотинныхъ лавкахъ закупки: тогда она уэкономливала нѣсколько рублей и присовокупляла ихъ къ прочимъ. Сверхъ того, у нея было въ Пензенской губерніи небольшое имѣніе (не болѣе тридцати душъ), доходы съ котораго она тоже прятала. Никто не зналъ, въ чемъ заключается это имѣніе и приноситъ ли оно что-нибудь, но она знала это отлично, и пользовалась въ домѣ теткой полной свободой, неслышно и незримо для всѣхъ дѣлала очень выгодныя финансовыя операціи. Операціи эти заключались въ отдачѣ крестьянъ въ солдаты „за дурное поведеніе“, въ продажѣ рекрутскихъ квитанцій, въ покупкѣ на свозъ душъ, въ продажѣ дѣвокъ и проч. Операціи неблестящія, почти незамѣтныя, но вѣрныя и прочныя. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого-нибудь Ионки-подлеца, котораго казенная палата не соглашалась принять въ рекруты по случаю искривленія позвоночнаго столба, въ домѣ надъ нею смѣялись и говорили: *cette pauvre Nina! a-t-elle du guignon!* — и затѣмъ, конечно, обхлопатывали дѣло такъ, что Ионку-подлеца принимали, несмотря на искривленіе позвоночнаго столба. А она прикидывалась казанскою сиротой, а черезъ мѣсяць или черезъ два снова возбуждала вопросъ объ отдачѣ въ солдаты подлеца-Ипатки, у котораго на правой рукѣ не оказывалось указательнаго перста.

— *Calmez vous, chère enfant!* успокоивалъ ее старшій князь:— *j'intercederai! cela s'arrangera!*

И Прошки, Ипатки, Ионки исчезали безслѣдно въ качествѣ кашеваровъ, лазаретныхъ служителей и прочихъ фуруштатскихъ чиновъ великой россійской арміи.

Но подъ конецъ и въ домѣ стали догадываться, что у княжны водятся деньги. Это случилось именно въ то время, когда ей исполнилось тридцать лѣтъ, и она, постепенно чернѣя, сдѣлалась уже совсѣмъ черною. Догадался и Велентьевъ, но прежде чѣмъ на что-нибудь окончательно рѣшиться, онъ сталъ исподволь показывать по корридору, въ который выходила комната княжны. Княжна съ своей стороны замѣтила эти прогулки, и задумалась. Жажда жизни, долгое время заглушаемая забитостію, одиночествомъ и страстію къ деньгамъ, вдругъ вспыхнула. Чаше и чаще начала она посматриваться въ зеркало, и незамѣтно для самой себя ощутила потребность рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыгивать и проч. Глаза сдѣлались томные, голосъ зазвучалъ



рѣзче, носъ еще болѣе заострился и вытянулся. Наконецъ, въ одно послѣ обѣда, встрѣтившись съ Велентьевымъ въ корридорѣ, она пригласила его въ свою комнату и угостила прекраснѣйшимъ вареньемъ.

— Вы, можетъ быть, думаете, что у меня денегъ нѣтъ? сказала она, вдругъ приступая къ самому существу дѣла: — нѣтъ, у меня есть деньги!

Велентьева бросило въ жаръ при этомъ признаніи.

— Я недавно купила сто мужиковъ на сѣвъ, продолжала княжна: — и ежели эта операція удастся, то я получу хорошую выгоду.

— Ваше сіятельство! захлебнулся Велентьевъ.

— А когда я буду выходить замужъ, то ма tante дастъ мнѣ еще десять тысячъ. Эти деньги я думаю отдавать въ ростъ.

— Ваше сіятельство! осмѣлюсь доложить...

— Вы думаете, можетъ быть, что отдавать деньги въ ростъ — дѣло рискованное, но я могу сказать навѣрное, что тутъ никакого риска нѣтъ. Почти всѣ заложенные вещи остаются невыкупленными и достаются мнѣ за безцѣнокъ. Посмотрите, сколько у меня прекраснѣйшихъ вещей!

И она выложила передъ нимъ цѣлый ворохъ табакерокъ, булавокъ и т. п.

— Всѣ эти вещи теперь мои, сказала она: — потому что всѣ онѣ просрочены. Когда вы будете нюхать табакъ, то я вамъ подарю одну изъ этихъ табакерокъ. Скажите, вы въ какихъ отношеніяхъ къ ма tante?

— Помилуйте, ваше сіятельство. — Княгиня — ангелъ-съ! смѣю-ли я подумать!

— Гм... ангелъ! А Федосѣя Семеныча вы знаете?

— Нѣтъ-съ, не имѣю чести...

— Ну, такъ вотъ онъ могъ бы сказать вамъ, какой она ангелъ. Теперь онъ секретаремъ въ вятской духовной консисторіи служитъ.

Это былъ единственный амурный разговоръ между Велентьевымъ и княжною. Тѣмъ не менѣе, онъ заключалъ въ себѣ на столько содержательности, что участь обоихъ дѣйствующихъ лицъ была рѣшена. Черезъ мѣсяцъ княжна Нина Иракліевна Кривулидзева уже носила фамилію Велентьевой, и молодые въ великолѣпномъ іохимовскомъ дормезѣ (подарокъ ма tante) отправлялись въ губернскій городъ Семиозерскъ. Черезъ годъ у нихъ родился сынъ Порфирій.

Такимъ образомъ, уже съ колыбели Порфиша очутился, такъ сказать, на самомъ лонѣ финансовыхъ операций.

Менандръ Семеновичъ взглянулъ на свою должность съ тѣмъ невозмутимымъ практическимъ смысломъ, которымъ онъ всегда отличался. Конечно, въ качествѣ бывшаго семинариста, неотвыкшаго еще во всякомъ дѣлѣ прежде всего отыскивать его отвлеченную суть, онъ увлекся-было разъясненіемъ вопроса о правахъ и обязанностяхъ, сопряженныхъ съ званіемъ совѣтника казенной палаты, но, къ чести его должно сказать, что увлеченіе это было непродолжительно. Онъ быстро понялъ современную ему дѣйствительность и съ свойственною ему проницательностью угадалъ, что отыскивать въ ней что-либо отвѣчающее понятію, выраженному словами: права и обязанности,—было бы совершенно напраснымъ трудомъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, признать за нѣчто существенное такое, какъ напимѣръ, право носить мундиръ съ шитьемъ шестого класса, или такую обязанность, какъ обязанность являться въ соборъ и по начальству въ табельные дни. Все это не больше, какъ принадлежность чиновничьяго этикета, который, въ общемъ своемъ составѣ, хотя и подраздѣлялся на рубрики, носившія наименованіе „правъ и обязанностей“, но, очевидно, что это произошло лишь вслѣдствіе недоразумѣнія. Въ сущности, всякій, какъ чиновникъ, такъ и простой обыватель, жилъ какъ могъ, то-есть не зналъ ни правъ, ни обязанностей, а просто-на-просто занимался приобрѣтеніемъ въ свою пользу матеріальныхъ удобствъ на столько, на сколько это позволяла личная возможность приобрѣтать. И ужъ конечно, никто не стѣснялся мыслью, что существуетъ на свѣтѣ какая-то особенная жизненная подкладка, элементы которой имѣютъ названіе правъ и обязанностей.

И такъ, ни правъ, ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое, и, кромѣ того, опасеніе не попасть подъ судъ. Но желаніе есть такая вещь, которая присуща природѣ человѣка, даже независимо отъ степени нравственнаго и умственнаго его развитія. И дикарь нѣчто желаетъ, несмотря на то, что онъ не имѣетъ понятія ни о правдѣ, ни о добрѣ, ни объ общественномъ интересѣ. Поэтому, если существуетъ общество, въ которомъ всѣ высшіе интересы сосредоточиваются исключительно около мундирнаго шитья и другихъ внѣшнихъ проявленій чиновничьяго этикета, то ясно, что въ этомъ обществѣ единственнымъ регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій можетъ служить только личная жадность каждаго отдѣльнаго индивидуума, и притомъ жадность эгоистичная, уровень которой немногимъ превышаетъ уровень жадности дикаря. Можетъ человѣкъ унести и спрятать, или не

можетъ? можетъ заглотать облюбованный кусъ, или не можетъ?— вотъ кругъ, въ которомъ вращается человѣческая жизнь, вотъ вся ея философія.

Несмотря на свою грубость, эта теорія улыбалась Велентьеву. Во-первыхъ, она не только совпадала съ его теоріей угонженія плоти (дабы духъ могъ безпрепятственнѣ воспарить), но и шла значительно дальше, предоставляя выполнение второй половины задачи (пареніе духа) естественному ходу обстоятельствъ. Воз- можетъ духъ воспарить—прекрасно; не возможетъ—стало быть, обстоятельства тому не благоприятствуютъ. И дешево, и сердито.

Во-вторыхъ, ежели другой, лучшей теоріи нѣтъ, то дѣлать не- чего, надобно мириться и съ тою, кака я есть. Только безумцы могутъ отыскивать жемчужное зерно въ навозѣ, мудрый же до- вольствуется и овсянымъ зерномъ. Притомъ же, и правитель- ство одобряетъ, дабы никто жемчужнаго зерна не искалъ. Муд- рый прежде всего ищетъ, чтобы у него была почва подъ но- гами, и ежели эту почву составляетъ навозъ, то онъ и на на- возѣ не погнушается строить зданіе своего благосостоянія. Въ-третьихъ, наконецъ,—и это самое главное—теорія личной жад- ности встрѣчала на практикѣ такіа приспособленія, которыя примиряли съ нею самого взыскательнаго и щепетильнаго мо- ралиста.

Взятая сама по себѣ, она была безнравственна—Велентьевъ охотно допускалъ это. Еслибъ всѣмъ людямъ безъ различія была предоставлена возможность свободно проявлять стремленія своего аппетита, то послѣдствія этой свободы были бы самыя пагубныя. А именно: или всеобщая истребительная война, или всеобщее обѣднѣніе. По крайней мѣрѣ, такъ гласитъ наука не- только тогдашняго, но и нашего времени. Ни того, ни другого Менандръ Семеновичъ не одобрялъ. Въ качествѣ вскормлен- ника семинаріи, онъ ненавидѣлъ военные упражненія, и лю- билъ сосать свой кусъ не токмо не тревожно и не смущенно, но такъ, чтобы и сердце играло, и душа непрестанно славосло- вила Подателя всѣхъ благъ. Съ другой стороны, какъ патриотъ, онъ понималъ, что ежели всѣ куски сдѣлать равными, то че- ловѣческая дѣятельность утратитъ главнѣйшій свой стимулъ: соревнованіе. Каждый будетъ доволенъ (или вынужденъ ка- заться таковымъ) своей долей, и не станетъ порываться урвать долю, сосому сосѣдомъ. Люди одичаютъ, сдѣлаются лѣнвыми и безпечными, утратятъ инстинктъ предусмотрительности и за- пасливости — на что похоже! Фабрики и заводы прекратятъ свое дѣйствіе; промышленность придетъ въ упадокъ, торги за- пустѣютъ, земледѣлію будетъ нанесенъ ударъ, отъ котораго оно никогда не оправится. Что станетъ съ отечествомъ? —

Велентьева подиралъ морозъ по кожѣ отъ этого вопроса. Но, къ счастью, ему не представлялось даже надобности разрѣшать этотъ вопросъ, ибо само отечество позаботилось о его разрѣшеніи.

Русское общество съ самаго начала XVIII вѣка порывалось создать теорію такой регламентаціи аппетитовъ, которая приличествовала бы обществу вполне цивилизованному, оберегающему себя и отъ анархіи, и отъ всеобщаго объѣдѣнія. Попытки эти выразились въ формѣ очень незамысловатой, но въ то же время очень дѣйствительной, а именно — въ формѣ табелл о рангахъ. Общество не лукавило; оно не прибѣгло для оправданія своихъ теорій къ помощи сложныхъ и извилистыхъ политико-экономическихъ афоризмовъ, которые, впрочемъ, не столько разрѣшаютъ вопросъ объ уравниженіи человѣческихъ аппетитовъ, сколько описываютъ, какимъ образомъ въ дѣйствительности происходитъ ограниченіе однихъ частныхъ аппетитовъ въ пользу другихъ таковыхъ же. Оно поступило проще, то есть раздѣлило аппетиты на ранги, и затѣмъ сказала, что только дѣйствительно сильный и вполне сознающій себя аппетитъ можетъ выйти изъ того ранга, въ который его помѣстила судьба. Это была своего рода цѣльная и оригинальная экономическая наука, которая, въ главныхъ чертахъ, раздѣляла обывателей на слѣдующіе четыре разряда. Однимъ предоставлялось желать, но не получать желаемого; другимъ — желать и получать, но не сполна; третьимъ — желать и получать сполна; четвертымъ — желать и получать въ излишествѣ.

Такимъ образомъ, вопросъ о безнравственности теоріи индивидуальныхъ аппетитовъ былъ устраненъ, и это тѣмъ болѣе утѣшило Велентьева, что, въ большинствѣ случаевъ, съ табелью о рангахъ уходилъ на задній планъ и вопросъ о силѣ аппетита, или, лучше сказать, вопросъ этотъ ставился въ полнѣйшую зависимость отъ разрядовъ. Конечно, исключенія допускались (самъ онъ, Менандръ Велентьевъ, былъ однимъ изъ такихъ исключеній), но исключенія, какъ извѣстно, только подтверждаютъ и узаконяютъ правило. По общему же правилу: будь человѣкъ хоть семи пядей во лбу, имѣй онъ хоть волчій аппетитъ, но ежи, по шучьему велѣнію, онъ засѣлъ въ разрядъ неполучающихъ, то и не выкарабкается ему оттуда ни подъ какимъ видомъ.

— Да-съ, и сиди да посиживай тамъ! вотъ и хотѣлось бы тебѣ, курицыну сыну, что нибудь стибрить — анъ врешь, руки коротки! Припасено, милый человѣкъ, да не про тебя! мысленно говорилъ себѣ Велентьевъ, потирая руки.

Столь прекрасныя практическія приспособленія совершенно

успокоили Менаандра Семеновича. Онъ чувствовалъ, что аппетитъ у него сильный, что самъ онъ, по мѣрѣ возможности, готовъ пожрать все, что угодно, и что обстоятельства благоприятствуютъ не только содержанію этого аппетита въ исправности, но даже и развитію его въ будущемъ. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ на столько благоразуменъ, что на первый разъ, по собственному движенію, причислилъ себя не къ четвертому, а лишь къ третьему разряду обывателей. Четвертый разрядъ—это идеаль, это свѣтозарный пунктъ, къ которому надлежитъ стремиться и по возможности достигать. Третій разрядъ—это „слѣдующее“, это то, что во всякомъ случаѣ должно быть. Велентьевъ понималъ, что прежде, нежели требовать отъ судьбы излишковъ, человѣкъ долженъ достигать „счастія“, то-есть такого душевнаго равновѣсія, при которомъ онъ имѣетъ право сказать: я мало имѣю, но и за сіе малое восхваляю Господа моего въ тимпанахъ и гусяхъ! Достигнуть же этого блаженнаго состоянія можно лишь тогда, когда желанія человѣческія строго согласованы съ средствами ихъ осуществленія, и когда, вслѣдствіе этого согласованія, произойдетъ полученіе желаемаго сполна. Разумѣется, непріятно видѣть, какъ сосѣдъ держитъ во рту кусокъ (иной и держать-то путемъ не умѣетъ!), но на первыхъ порахъ и эту непріятность слѣдуетъ перенести стойчески. Пускай цари живутъ въ позлащенныхъ дворцахъ—онъ, Велентьевъ, поживетъ и на Козьей улицѣ, въ собственномъ домикѣ съ садомъ и палисадникомъ. Всякому свое—вотъ правило мудраго; тотъ же мудрѣйшій, который пожелаетъ возвести это правило на ту высоту, гдѣ уже терлется различіе между твоимъ и моимъ—все-таки долженъ хотя на время притвориться лишь просто мудрымъ. Поэтому: совѣтнику ревизскаго отдѣленія—свое; губернскому контролеру—свое, поменѣе; губернскому казначею—свое, еще поменѣе; ему, Велентьеву, яко совѣтнику питейнаго отдѣленія—свое, противъ другихъ сугубо. Но, до поры до времени, ни ему нѣтъ дѣла до чужихъ кусковъ, ни другимъ—до его куска. Всякій да сосетъ свой кусокъ подъ смоковницею своей.

„Прибыль я въ патриархальный нашъ Семеновскъ—писалъ Велентьевъ къ другу своему Словущенскому, — и изумился, до какой степени мудро наши добрые провинціалы все сіе устроили. Представь себѣ немалое зданіе, множествомъ камеръ исполненное. Одному дана камера посвѣтлѣе и пообширнѣе, другому—не столько свѣтлая и обширная; однако-жь, никто, начиная съ презуса и кончая послѣднимъ канцелярскимъ служителемъ, не забытъ. И скажу тебѣ откровенно, мой другъ! Мнится, что не тотъ счастливъ, кто имѣетъ самую свѣтлую и обширную ка-

меру, но тотъ, кто и въ своей посредственной камерѣ умѣетъ съ чистымъ сердцемъ прожить!"

Въ тѣ времена, мѣста совѣтниковъ казенныхъ палатъ (въ особенности же питейныхъ отдѣленій) считались самыми завидными. Хотя грабежъ шелъ неуспѣшнѣе, но такъ какъ онъ былъ негромкій, то со стороны казалось, что это не грабежъ, а только полученіе желаемого. Поэтому, кромѣ хорошихъ доходовъ, тутъ былъ и почетъ. Какой-нибудь совѣтникъ губернскаго правленія, чтобы поставить себя въ матеріальномъ отношеніи, на одну высоту съ совѣтникомъ казенной палаты, обязывался совершить что-нибудь необыкновенное: или взойти въ пай съ убійцами, или скрасть сенатскій указъ, или сдѣлать подлогъ. То-есть, говоря выраженіемъ того времени, долженъ былъ „замараться“, ибо лишь за дѣла, сопряженныя съ „замараніемъ“, онъ получалъ мзду на столько существенную, что „не совѣстно было ее взять“. Напротивъ того, совѣтникъ казенной палаты могъ не только гнушаться убійцами, но просто имѣлъ право сидѣть сложа руки и, какъ говорится, ждать у моря погоды—и ни десница, ни шуйца его отъ того не оскудѣвали. Ему нужно было только состоять въ званіи совѣтника—и взятка притекала къ нему сама, и притомъ взятка самая „благородная“, такая, которую и „не стыдно было взять“ (въ количественномъ смыслѣ), и для полученія которой не нужно было ни „мараться“, ни рисковать. Не мудрено, стало быть, что мѣста эти цѣнились высоко, и достигались лишь съ помощью сильной протекціи, или очень значительной денежной оплаты.

Но даже и въ казенныхъ палатахъ, питейныя отдѣленія казались чѣмъ-то исключительнымъ, въ родѣ рая земного. Прочіе совѣтники хоть повременамъ, но должны были красть и вымогать; \*) совѣтникъ питейнаго отдѣленія—никогда! Онъ могъ, никого не угнетая, а напротивъ всѣхъ радуя, прожить свой вѣкъ—и во всякомъ случаѣ получить желаемое сполна, и въ опредѣленные сроки. Въ его завѣдываніи было самое тучное, благонравное и сговорчивое изъ всѣхъ стадъ, какія когда-ли

\*) Такъ напримѣръ: совѣтникъ ревискаго отдѣленія обязанъ былъ щупать рекрутскія тѣла, выслушивать плачь, стоны и проклятія, кривить душой при приѣмѣ охотниковъ, входить въ пререканія съ лекарями и военными приѣмщиками и т. д.; губернский контролеръ, чтобы получить мзду, нерѣдко оставлялъ безъ утвержденія даже самые правильные отчеты, такъ что ему давали взятку только за тѣмъ, чтобы развязаться съ нимъ: на мѣста губернскихъ казначеевъ попадали древніе старики, которые жили подачками при подписаніи указовъ о выдачѣ денегъ, а также подарками, получаемыми отъ уѣздныхъ казначеевъ.

*Примѣч. авт.*

вѣрялись человѣческому пасеню. То было стадо откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ. Тучное и покладистое, оно привлекало къ себѣ всѣ сердца еще тѣмъ, что было немногочисленно и разнообразно, а слѣдовательно не представляло опасностей и относительно болтовни. Въ этомъ маленькомъ, однородномъ и по природѣ податливомъ мірѣ, между пасущими и пасомыми изстари завязались такія вѣрные отношенія, которыя образовали собой цѣлое „положеніе“, имѣвшее, пожалуй, болѣе силы и обязательности, нежели положенія, освященные закономъ. Это добровольное, выработанное самою жизнью „положеніе“ выполнялось съ точностью вѣрнѣйшаго часового механизма и притомъ самымъ „благороднымъ“ образомъ. Однимъ словомъ, благодаря ему, совѣтники питейнаго отдѣленія могли, ни мало „не мараясь“, получать все то, что и онъ и самъ взяткодатель считали безспорно ему принадлежащимъ.

Каждогодно, въ сентябрѣ, производились въ палатѣ торги на поставку вина, и каждый заводчикъ безропотно вносилъ „на братію“ отъ шести до осьми копеекъ ассигнаціями съ ведра, смотря по тому, какое существовало въ губерніи „положеніе“. Откупщикъ съ своей стороны тоже руководился „положеніемъ“, внося свою дачу по третямъ года, или помѣсячно, и притомъ всегда впередъ, такъ что даже въ случаѣ смерти получателя деньги эти не возвращались. Наконецъ, являлись повременамъ и отдѣльные стучаи: взятіе откупа въ казенное управленіе, воровство, пререканія между откупщиками двухъ сосѣднихъ уѣздовъ и т. д. Но и эти случаи были предвидѣны „положеніемъ“, и ежели не математически вѣрно, то приблизительно были имъ разрѣшены. Слѣдовательно, въ виду всегда имѣлась живая и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споровъ, ни пререканій. Пріѣдетъ заводчикъ, скажетъ: „по „положенію“ имѣю честь вручить“; совѣтникъ пожметъ ему руку и отвѣтитъ: „напрасно беспокоились, а впрочемъ...“ Только всего и разговоровъ.

Затѣмъ, замокъ щелкалъ, и „слѣдующее по положенію“ скромно присовокуплялось къ прочимъ таковымъ.

И откупщики, и заводчики, и винные пристава — всѣ приносили отъ избытковъ своихъ, а тотъ кто терпѣлъ, — не жаловался, да врядъ ли и понималъ, что онъ терпитъ.

Столь превосходныя качества мѣсть требовали и строгаго выбора лицъ для занятія ихъ. Лица эти были люди солидные, обладавшіе вполнѣ благонадежными качествами ума и сердца. Многіе изъ совѣтниковъ питейныхъ отдѣленій были тайные поборники массонства, многіе числились членами библейскаго общества и всѣ безъ исключенія отличались набожностью, склон-

ностью къ созерцательности и любовью къ благолѣпнѣйшей службѣ церковной. Епархіальные архіереи видѣли въ нихъ опору благочестія, доблестнѣйшихъ сыновъ церкви, составлявшихъ украшеніе воскресныхъ архіерейскихъ пироговъ. Центральная власть понимала ихъ, какъ людей, существенно заинтересованныхъ въ сохраненіи существующихъ порядковъ, а слѣдовательно благонамѣренныхъ и не строптивыхъ. Директоры училищъ отводили душу, бесѣдуя съ ними о Богѣ и его величіи. Полиціймейстеры указывали на нихъ, какъ на идеальное содержаніе мостовыхъ и неуклонной вывозки нечистотъ. Въ заключеніе же всего, общество, убѣжденное, что изъ всего чиновничьяго сословія они одни не имѣютъ надобности „мараться“, а только получаютъ слѣдующее „по положенію“, дарило ихъ своимъ довѣріемъ, и выбирало старшинами въ мѣстные клубы.

Живя скромно, окруженные общей любовью, никѣмъ не огорчаемые, эти люди незамѣтно становились городскими старожилыми, принимали къ сердцу мѣстные интересы, дѣлались членами холерныхъ, оспенныхъ и другихъ комитетовъ, и умирали въ глубокой старости, оставляя послѣ себя вдовъ и сиротъ, которые были бы неутишными, еслибъ хлопоты по утвержденію въ правахъ наслѣдства давали имъ время для продолжительнаго оплакиванія. И когда печальная колесница увозила къ послѣднему жилищу гробъ, на крышѣ котораго красовалась трех-угольная шляпа, а внутри покоились бранные останки того, кто еще такъ недавно былъ добрымъ пастыремъ откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ, никто не говорилъ вслѣдъ этому гробу: вотъ умеръ одинъ изъ грабителей русской земли! — но всякій, сотворивъ крестное знаменіе, произносилъ: вотъ умеръ человекъ, который никогда въ своей жизни не замарался, но довольствовался лишь тѣмъ, что слѣдовало ему по положенію.

Вотъ краткій, но правдивый очеркъ того положенія, въ которомъ очутился Велентьевъ въ Семиозерскѣ.

Менандръ Семенычъ инстинктомъ угадалъ все, что въ его новой роли заключалось существеннаго, и потому, вступивъ въ должность, почувствовалъ себя въ ней точно такъ же свободно, какъ будто онъ двадцать лѣтъ сряду разрѣшалъ вопросы объ утечкѣ и усылкѣ. Еще передъ выѣздомъ изъ Петербурга, онъ понималъ, что главное въ этомъ дѣлѣ—это бюджетъ доходовъ, и потому прежде всего пріобрѣлъ себѣ отлично переплетенную и разлинованную тетрадь, съ вытисненной на переплетѣ надписью „Разное“. На внутреннемъ же заглавномъ листѣ тетради онъ написалъ: „Сметѣ ожидаемыхъ полученныхъ“ съ эпиграфомъ: благословиши вѣнецъ лѣта благости твоя, Господи!



Затѣмъ, съ свойственною ему провицательностью, онъ раздѣлилъ смету на пять слѣдующихъ параграфовъ: § 1-й „Содержаніе, отъ казны присвоенное (лепта вдовицы)“; § 2-й „Положеніе отъ откупа (всякое даваніе благо)“; § 3-й „Положеніе отъ господъ винокуренныхъ заводчиковъ (и всякъ даръ совершентъ)“; § 4-й „Слѣдующее отъ винныхъ приставовъ (ему же данъ—данъ, ему же честь—честь, ему же оброкъ—оброкъ)“; § 5-й „Разныя поступленія (ищите и обрящете)“. Сдѣлавъ это распредѣленіе, Менандръ Семеновичъ сказалъ себѣ, что главное исполнено, что рубрики, исчерпывающія кругообращеніе совѣтника питейнаго отдѣленія, найдены, и затѣмъ остается только наблюдать, чтобъ онѣ своевременно и неупустительно наполнялись.

По соображеніямъ его, всѣ пять параграфовъ смѣты должны были доставить никакъ не менѣе тридцати тысячъ рублей на ассигнаціи въ годъ, безъ лажа. А такъ какъ, при тогдашней дешевизнѣ всѣхъ жизненныхъ потребностей и при собственной его умѣренной жизни, ему и пять тысячъ прожить за глаза, то долженъ получиться ежегодный остатокъ въ двадцать-пять тысячъ рублей, который и представляетъ собой „полученіе желасмаго“, или чистый доходъ. Этотъ чистый доходъ предполагалось употреблять на финансовыя операціи.

Въ тѣ времена, финансовыя операціи были еще въ младенчествѣ. Никто еще не думалъ ни о желѣзныхъ дорогахъ, ни о водопроводахъ, а тѣмъ менѣе объ учрежденіи компаній для полученія отъ казны пособій. Приращеніе капитала шло медленно, но за то вѣрно. Большинство чиновниковъ клало свои лепты въ ломбардъ на имя неизвѣстнаго, и предпочитало этотъ способъ приращенія всѣмъ другимъ, потому что онъ не былъ сопряженъ съ рискомъ и не допускалъ огласки.

— Ломбардъ — святое дѣло! говорили чиновники. — Положилъ, и концы въ воду.

Другой способъ приращенія заключался въ одолженіи деньгами „вѣрнаго человѣка“ за хорошіе проценты. Тутъ приращеніе шло нѣсколько быстрѣе, но и возможность огласки была на столько значительна, что только мелкіе и очень жадные чиновники рѣшались на эту операцію. Третій способъ состоялъ въ помѣщеніи денегъ въ торговныя предпріятія, которыя обыкновенно велись подъ чужимъ именемъ; но эта операція требовала такого сложнаго и бдительнаго контроля, что чиновники, увлекавшіеся выгодами торговыхъ барышей, нерѣдко становились въ положеніе человѣка, погнавшагося разомъ за двумя зайцами и ни одного не поймавшаго. Наконецъ, существовала и еще четвертая операція—это покупка и продажа мужиковъ.

Операція эта была совершенно вѣрная и выгодная, но тутъ огласка была уже полная.

Менандръ Семеновичъ, какъ человѣкъ солидный, и операцію выбралъ солидную, то-есть рѣшился класть свой чистый доходъ въ ломбардъ. Нельзя сказать, чтобы мысль о болѣе быстромъ обогащеніи не улыбалась ему, но онъ понялъ, что благосостояніе его зависитъ не столько отъ тѣхъ выгодъ, которыя можетъ доставить ему быстрое обращеніе благопріобрѣтенныхъ капиталовъ, сколько отъ ежегодныхъ и совершенно вѣрныхъ присовокупленій, которыя сулила ему должность. Эта должность представляла единственную прочную и никогда не исчезающую операцію, которую онъ могъ предпринять безъ риска, а потому онъ далъ себѣ слово оберегать ее отъ всякихъ случайностей и содержать этотъ источникъ столь чистымъ и прозрачнымъ, какъ ему въ томъ передъ начальствомъ и на страшномъ судѣ отвѣтъ дать надлежить.

Только два раза, въ продолженіе своей служебной карьеры, Велентьевъ отступилъ отъ этого мудраго правила: оба раза по настоянію Нины Иракліевны, и оба раза съ ущербомъ. Одинъ разъ, онъ „одолжилъ“ за хорошій процентъ довольно значительную сумму совершенно „вѣрному“ человѣку, которому притомъ нужно было „перехватить“ двадцать тысячъ на самый короткий срокъ для самой надежной операціи. И что же оказалось? Едва получилъ „вѣрный человѣкъ“ деньги, какъ тотчасъ же словно въ воду канулъ. Только черезъ годъ онъ вынырнулъ, но вынырнулъ тамъ, гдѣ уже не существуетъ ни возвратовъ занятыхъ суммъ, ни надеждъ на выгодныя операціи — въ семиозерскомъ острогѣ. Менандръ Семеновичъ поскорбѣлъ, упрекнулъ Нину Иракліевну въ легкомысліи, но давать дѣлу огласку и „мараться“ не пожелалъ: Подобно древнему Іову, онъ сказалъ себѣ: Богъ далъ, Богъ и взялъ, — и затѣмъ купилъ два калача и поѣхалъ въ тюремный замокъ.

— Ты у меня двадцать тысячъ укралъ, сказалъ онъ своему должнику: — но я тебѣ не мшу, потому что мстятъ только низкія души. Вотъ, привезъ тебѣ два калача: возьми и ѣшь.

Въ другой разъ, онъ задумалъ открыть мучной лабазъ и торговать подъ чужимъ именемъ хлѣбомъ, но и эта операція убѣдила его, что одному человѣку заграбить всѣ деньги никакъ невозможно. Во-первыхъ, контроль надъ мѣщаниномъ, отъ имени котораго производилась торговля, оказался до крайности сложнымъ и даже унижительнымъ. Каждое утро, Велентьевъ запирался съ своимъ агентомъ въ кабинетъ, провѣрялъ счета, прокладывалъ выручку, но и за всѣмъ тѣмъ никогда не могъ освободиться отъ мысли, что агентъ нѣчто укралъ. Какъ

плодъ этихъ сомнѣній, въ кабинетѣ раздавались побрякиванія и еще какіе-то звуки, выражавшіе не то недоумѣніе, не то недоумѣніе:

— „Со вчерашними ежели считать, то двѣсти-пятьдесятъ рублей и три четверти копейки, а безъ оныхъ сто одинъ рубль-двадцать двѣ копейки, и того девяносто рублей“, читалъ Менандръ Семеновичъ отчетъ: — чортъ тебя знаетъ братецъ, какую ты тутъ чушь напоролъ!

Затѣмъ счеты складывались, и Велентьевъ уже безъ дальнѣйшихъ околичностей обращался къ своему агенту съ вопросомъ:

— Вѣрно?

— Помилуйте, ваше высокородіе! осмѣлюсь-ли я?

— Я тебя спрашиваю: вѣрно?

— Вотъ какъ передъ Истиннымъ-съ!

— Повтори, какое ты слово сказалъ?

— Какъ передъ Истиннымъ, такъ и передъ вашимъ высокородіемъ: ни копейки не утаилъ-съ!

— Смотри же, помни это! Знаешь; что въ писаніи сказано: не человѣкомъ солгалъ еси, но Богу!

Во-вторыхъ, несмотря на клятвы, дѣло кончилось все-таки тѣмъ, что мѣщанинъ однажды совсѣмъ не явился съ отчетомъ, а вслѣдъ затѣмъ объявилъ себя отъ собственного имени невинно падшимъ, и исчезъ. Вторично, Велентьевъ, подобно Іову, воскликнулъ: Богъ далъ, Богъ и взялъ, но съ тѣхъ поръ уже далъ себѣ слово никогда не сворачивать съ пути, который указывалъ ему на ломбардъ, какъ на единственное вѣрное хранилище чиновническихъ денегъ.

Когда Порфиша началъ понимать себя, репутація Менандра Семеновича въ Семиозерскѣ уже установилась. Онъ пользовался общественнымъ уваженіемъ, состоялъ въ званіи старшины мѣстнаго клуба, имѣлъ на шеѣ орденъ св. Анны и въ довершеніе всего обладалъ дружескимъ расположеніемъ губернатора. Губернаторъ когда-то принадлежалъ къ сектѣ скакуновъ, былъ пойманъ на радѣннѣ въ инженерномъ замкѣ, затѣмъ, въ видѣ опала, сосланъ въ Семиозерскъ на губернаторство, и вслѣдствіе всего этого считалъ себя философомъ. Поэтому, бесѣда съ Менандромъ была для него настоящею услудою. Но и среди этихъ благоприятныхъ условій, Велентьевъ ни мало не возгордился, во, напротивъ того, готовъ былъ всякому подать благой совѣтъ и даже оказать помощь, разумѣется, если она была не денежная.

Порфиша отъ природы былъ любознательнъ, но это качество развилось въ немъ еще болѣе вслѣдствіе таинственности,

которою папаша облевалъ нѣкоторыя свои дѣйствія. Ежедневно утромъ, Менандръ Семеновичъ запирался у себя въ кабинетѣ, и по истеченіи нѣкотораго времени выходилъ оттуда весь красный. Естественно, что обстоятельство это должно было заинтересовать Порфишу, и вотъ однажды, оторвавшись отъ рѣзвыхъ игръ юности, онъ подстергъ моментъ, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался къ ней неслышными шагами, приложилъ къ замочной скважинѣ глазъ, и увидѣлъ слѣдующую картину.

Отецъ сидѣлъ у письменнаго стола, задомъ къ нему, слѣдилъ по толстой разграфленной книгѣ и щелкалъ на счетахъ. Потомъ началъ перебирать какія-то бумажки, смотрѣлъ нѣкоторыя изъ нихъ на свѣтъ, щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ. Сосчитавши все, какъ слѣдуетъ, онъ приступилъ къ сортированію тѣхъ бумажекъ, которыя еще не были сложены въ пачки, подобралъ сѣренькія къ сѣренькимъ, красныя къ краснымъ и т. д. Подобравъ полную пачку, онъ кладъ ее на столъ, причемъ каждый разъ хлопалъ рукою и боязливо обертывался назадъ, какъ бы опасаясь, не наблюдаетъ-ли кто за нимъ. Затѣмъ, онъ выдвинулъ другой ящикъ, вынулъ оттуда мѣшокъ съ полуимперіалами и разложилъ на столѣ порядочное количество блестящихъ столбиковъ. Наконецъ, сосчитавши ассигнаціи и полуимперіалы, онъ подвелъ на счетахъ общій итогъ, потянулся, крякнулъ и призвалъ имя Господне. Финансовая операція кончилась; ассигнаціи и полуимперіалы отправлены въ подлежащіе ящики; замки защелкнулись, Порфиша отпрануль отъ двери, и цоспѣшили въ столовую играть.

Какъ ни однообразно было это зрѣлище, но оно полюблилось Порфишѣ. Ему понравился и звонъ полуимперіаловъ и шелестъ бумажекъ, тѣмъ болѣе, что папаша, въ качествѣ члена палаты, постоянно имѣлъ ассигнаціи новенькія. Каждое утро, онъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ выжидалъ начала сеанса, и, притаивъ дыханіе, выдерживалъ его до конца. Онъ научился различать интонаціи папашиныхъ покрываній, угадывалъ когда папаша доволенъ результатами своего сеанса, и когда недоволенъ. Мало того: нигдѣ не наставляемый, онъ въ скоромъ времени сталъ отличать сѣренькія бумажки отъ красненькихъ и синенькихъ, и какъ ребенокъ живой и острый, угадалъ, что первымъ надлежитъ отдать предпочтеніе передъ послѣдними. Словомъ сказать, инстинктъ финансиста въ немъ заговорилъ.

Но въ особенности интересовали его два мѣсяца въ году, а

именно: сентябрь, когда производились торги на вино, въ просторѣчи называемые сѣнокосомъ, и ноябрь, когда присяжные отправлялись въ Петербургъ за гербовой бумагой, и когда папаша отсылалъ свой чистый доходъ, для вклада въ ломбардъ. Въ обоихъ случаяхъ Менандръ Семеновичъ замѣтно волновался, но въ первомъ волновался сладостно, и видѣлъ веселые сны, а во второмъ былъ мраченъ и видѣлъ во снѣ воровъ, мошенниковъ и грабителей. Это волненіе длилось до тѣхъ поръ, пока вино не было окончательно заподряжено, и пока довѣренный присяжный не вручалъ Велентьеву новаго ломбарднаго билета на имя неизвѣстнаго. Тогда все снова приходило въ обычный порядокъ. Въмѣстѣ съ отцомъ, оживалъ и падалъ духомъ и Порфиша. Не имѣя никакихъ положительныхъ свѣдѣній ни о запродажѣ вина, ни о ломбардѣ, онъ понималъ, однако-жъ, что названныя выше эпохи составляютъ вѣнецъ того процесса созиданія, которому такъ неумоимо, впродолженіе цѣлаго года, предавался его отецъ. Онъ смутно чувствовалъ, что въ родительскомъ домѣ происходитъ нѣчто очень важное и рѣшительное, и еслибы проникательный человѣкъ заглянулъ въ эти минуты въ его душу, то убѣдился бы, что хотя Порфиша еще ни разу не произнесъ слова „капиталъ“, но что слово это уже созрѣло, и не далеко то время, когда оно слетитъ съ его языка такъ свободно, какъ будто именно на этомъ языкѣ, а не въ другомъ мѣстѣ его подлинное мѣстоорожденіе.

Но чѣмъ болѣе Порфиша высказывалъ наклонности къ меркантилизму и къ счетной части, тѣмъ менѣе поощрялъ въ немъ эту наклонность Менандръ Семеновичъ. Подобно всѣмъ людямъ, занимающимся накопленіемъ, а не распределеніемъ богатствъ, онъ какъ бы нѣсколько стыдился своего ремесла.

Одаренный отъ природы домовитыми инстинктами евангельской Марѣи, онъ прикидывался безпечною Маріей, и ни о чемъ такъ охотно не бесѣдовалъ, какъ о маслѣ, миррѣ и благовоніяхъ. Поэтому, онъ твердилъ Порфишѣ о добродѣтели и старался внушить ему чувства невинныя и въ то же время возвышенныя. Но, къ величайшему сожалѣнію, у него было такъ мало свободного времени, что онъ могъ дѣлать эти внушенія лишь въ самомъ краткомъ видѣ. Утро было занято службой, вечеръ — клубомъ; вполне свободнымъ оказывался только небольшой послѣобѣденный промежутокъ, который и посвящался вкорененію въ ребенкѣ благородныхъ чувствъ. Отдохнувши и напившись чаю, Менандръ Семеновичъ ходилъ съ Порфишей по довольно обширному фруктовому саду, который былъ разведенъ имъ сзади дома, очищалъ яблони отъ червей и гусеницъ

и собиралъ паданцы. Если яблоко упало вслѣдствіе зрѣлости, то Менандръ Семеновичъ, поднимая его говорилъ:

— Вотъ, мой другъ, образъ жизни человѣческой! Едва созрѣлъ—и уже упалъ!

Если же яблоко упало подточенное червемъ, то онъ говорилъ:

— И тутъ жизнь человѣческая прообразуется! Но не зрѣлостью сраженная, а подточенная завистью и клеветой!

Потомъ, указывая на небо, присовокуплялъ:

— Смотри на небо, мой другъ! и оттолѣ жди себѣ утѣшенія въ коловратностяхъ жизни! Тамъ живетъ Общій Отецъ нашъ! Любя его, другъ мой!

И затѣмъ, повернувшись на каблукахъ, отправлялся въ клубъ.

Несмотря на краткость этихъ поученій, Порфиша не любилъ ихъ. Быть можетъ, онъ не могъ согласить ихъ съ тѣми утренними сеансами, которыхъ онъ былъ ежедневнымъ свидѣтелемъ, или же вообще въ немъ мало развита была склонность къ риторическимъ уподобленіямъ—какъ бы то ни было, но образъ отца представлялся ему двойственнымъ: во-первыхъ, въ видѣ солиднаго человѣка, занимающагося процессомъ созиданія, и во-вторыхъ, въ видѣ сытаго празднолюбца, предающагося, въ ожиданіи партіи виста, разглагольствіямъ о какихъ-то совсѣмъ ненужныхъ сравненіяхъ человѣка съ яблокомъ. За дѣйствіями перваго онъ слѣдилъ съ тревогою и любовью; предиками послѣдняго скучалъ и тяготился. Онъ не разъ даже пытался объяснить себѣ, отчего папаша утромъ такой, а послѣ обѣда другой, но такъ какъ для дѣтскаго ума разрѣшеніе этого вопроса не представляло существеннаго интереса, то вопросъ такъ и канулъ въ общей безднѣ мгновенно вспыхивающихъ и мгновенно же потухающихъ вопросовъ, которыми такъ богато дѣтское существованіе. Впослѣдствіи, въ лѣтахъ болѣе зрѣлыхъ, образъ отца разглагольствующаго окончательно стусеивался, и тѣмъ рельефнѣе выступилъ образъ отца, щелкающаго на счетахъ и каждодневно созидающаго.

Гораздо цѣльнѣе и рельефнѣе представлялся Порфишѣ образъ матери.

Нина Иракліевна, вышедши замужъ и поселившись въ Семіозерскѣ, значительно измѣнилась. И прежде у нея было много княжескихъ привычекъ, теперь же она предала забвенію и то небольшое княжеское, которое сохраняла въ домѣ ma tante. Фигура ея изъ тоненькой сдѣбалась круглою и плотною; лицо, утративъ желчное выраженіе, приобрѣло оттѣнокъ довольства и даже добродушія. Вообще устройство ея судьбы подѣйствовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться, ни приобретать изподтишка, какъ въ домѣ ma tante. Та страсть,

которая была двигателемъ всей ея жизни—страсть къ приобретению—получила себѣ вполне свободный выходъ. Она могла покупать, продавать, вымѣнивать—Менандръ Семеновичъ не только не препятствовалъ ей, но даже радовался, взирая на ея дѣятельность. У Менандра Семеновича было свое дѣло, у ней—свое. Она тоже создала себѣ своего рода палату, въ которой и копошилась съ утра до вечера.

На половинѣ у мамыши также шелъ процессъ созиданія, но шелъ не потаенно, а въ видѣ непрерывной и совершенно открытой сутолоки, такъ что Порфиша имѣлъ полную возможность слѣдить за всѣми его подробностями. Нина Иракліевна вела операцію очень сложную и замысловатую: она торговала мужикомъ. Вымѣнивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала въ солдаты и проч. Отказавшись лично отъ этой операціи, Менандръ Семеновичъ предоставилъ веденіе ея женѣ тѣмъ охотнѣе, что послѣдняя, какъ было всѣмъ извѣстно, имѣла свой приданный капиталъ и свою приданую деревню. Слѣдовательно, ни огласка, ни опасеніе клеветы—ничто не препятствовало ей производить всѣ свойственныя благородному званію и дозволенные закономъ операціи. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьевъ удѣляетъ своей женѣ на этотъ предметъ довольно значительные куши, которые въ расходной его книгѣ и записываются подъ рубрикой „воспособленія“. Но такъ-какъ никто этого собственными глазами не видалъ, и самъ Велентьевъ въ томъ не сознавался, то и выходилъ одинъ пустой разговоръ. И Нина Иракліевна, не смущаясь разговорами, продолжала дѣйствовать неумоимо и ловко. Она изучила мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно только съ точки зрѣнія выжиманія такъ-называемаго мужицкаго сока. Не обращая вниманія на этнографическія и бытовые стороны мужицкой жизни, она направила свою проникающую исключительность исключительно на изученіе стороны экономической, и такъ наметалась въ этой наукѣ, что съ перваго взгляда угадывала, гдѣ и что у мужика лежитъ, и какую денежную цѣнность онъ собой представляетъ. Не брезгуя мужикомъ барщиннымъ, она преимущественно любила мужика оброчнаго, какъ болѣе избалованнаго свободой передвиженій, и слѣдовательно, болѣе чувствительнаго ко всякимъ ограниченіямъ этой свободы. Заставить мужика за хорошую плату выкупиться на волю—вотъ что стояло у нея на первомъ планѣ; затѣмъ уже слѣдовали другія мѣры: заставить откупиться отъ солдатчины, отъ барщины, отъ службы въ качествѣ бурмистра и проч. На все это оброчный мужикъ шелъ гораздо охотнѣе барщиннаго. Къ тому же, и доходъ въ видѣ денегъ представлялся ея уму яснѣе, нежели

доходъ въ видѣ произведеній мужицкаго труда. Послѣднія она допускала лишь, между прочимъ, въ видѣ талекъ, сушеныхъ грибовъ, полотна, овчинъ и проч. Этого добра скоплялись у нея полныя кладовыя, и она охотно снабжала имъ мелкихъ семи-озерскихъ торгашей.

Комната мамыши представляла цѣлый хаосъ, въ которомъ только она одна могла разобраться. Тутъ были сложены вороха талекъ, полотень, кожъ и другого крестьянскаго хлама, и все это съ утра до вечера перевѣшивалось, перемѣшивалось, записывалось въ особыя матеріальныя книги, и затѣмъ отправлялось въ кладовыя, чтобы на другой день дать мѣсто другимъ ворохамъ. Тутъ же, къ великому удовольствію Порфиши, лежали и незатѣйливыя сласти: пряники, орѣхи, леденцы и проч., приносимыя мужиками на поклонъ. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Иракліевна каждодневно повѣряла себя, и въ это время, точно такъ же, какъ и мужъ, запиралась въ своей комнатѣ, но отъ Порфиши она не скрывалась и даже дѣлала его соучастникомъ тѣхъ наслажденій, которыя доставляла ей повѣрка. Ставши колѣнами на стулъ и навалившись всѣмъ корпусомъ на столъ, Порфиша, въ какомъ-то очарованномъ забытіи, всматривался въ ряды разложенныхъ пачекъ, и слѣдилъ за движеніями рукъ мамыши. Въ комнатѣ дѣлалось тихо; слышался только шелестъ бумажекъ, сопровождаемый чуть слышнымъ бормотаніемъ, да изрѣдка раздавалось шелканье косточекъ на счетахъ, отъ котораго Порфиша каждый разъ вздрагивалъ, какъ будто въ этомъ шелканьи слышалась ему какая-то сухая, безапелляціонная резолюція. Бумажки, въ противоположность папашинымъ, были замасляныя, рваныя, вдѣланныя въ писанную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя вниманіе Порфиши.

— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваныя, а у папашин новенькія? спрашивалъ онъ.

— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мѣшай, мой другъ! пять-шесть-семь...

Порфиша протягивалъ руку и дотрогивался пальцемъ до одной изъ пачекъ.

— Отчего же у мужичковъ рваныя бумажки? спрашивалъ онъ опять.

— Оттого, что у нихъ руки потныя... не трогай, мой другъ! не сдвигай пачекъ съ мѣста! Восемь-девять-десять...

Порфиша на время умолкалъ и сидѣлъ смирно; но дѣтская подвижность понемногу брала-таки свое, и онъ снова протягивалъ руку.

— Мамаша! у Авдѣя старосты руки черныя-пречерныя! говорилъ онъ, пытаясь отвлечь вниманіе Нины Иракліевны.



— У Авдѣя старосты... да не тронь-же, душенька, пачку! въ другой разъ запрუსь, и не оставлю тебя съ собой!

— Я, мамаша, только пальчикомъ!

Но вотъ и мамаша оканчивала повѣрку. „Слава Богу, все вѣрно!“ говорила она, и, уложивъ пачки въ ящикъ, запирала послѣдній ключемъ. Затѣмъ, она на нѣкоторое время предавалась не то что отдохновенію, а какъ бы сладкому сознанію, что все до сихъ поръ шло и идетъ хорошо, а завтра, быть можетъ, будетъ идти и еще лучше. Но отдохновеніе Нины Иракліевны не бывало продолжительнымъ. Ее всегда ожидали нужныя дѣла, въ видѣ переговоровъ съ сводчиками, конференцій съ мужиками и старостами, приема оброка, талекъ, яицъ и т. п.

Всѣ сводчики ее знали и на-перерывъ предлагали имѣнія. Всегда находились люди, которые, постоянно проворовываясь, въ одно прекрасное утро усматривали себя въ положеніи, о которомъ говорится: „хоть въ петлю полѣзай“. Поэтому, имѣній, которыя нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Иракліевна зорко слѣдила за такими оказіями, имѣла на этотъ случай „руку“ въ опекунскомъ совѣтѣ, и находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ съ сводчиками, которые являлись у ней чуть не каждый божій день.

— Дорого! обыкновенно отрѣзывала она, выслушавъ предложеніе сводчика, и зная, что послѣдній всегда запрашиваетъ, если не вдвое, то въ полтора раза.

— Сударыня! строеніевъ однихъ сколько! Избы новыя, крытыя тесомъ, скотъ-съ... Опять-таки, мельница, дѣсь-съ...

— Не люблю я съ мельницами возиться... ну ихъ! мнѣ мужика дай!

— И мужики исправные; у одного въ Москвѣ на Таганкѣ заведеніе, у нѣкоторыхъ смолокурни, дехтирные заводы-съ!

— Сколько душъ-то ты говоришь?

— Триста.

— По четыреста за душу... сколько это денегъ-то выдетъ?

— Не по четыреста, а по двѣсти, сударыня, въ двухъ стахъ они въ совѣтѣ заложены!

— Ну, инъ по двѣсти! Сто по двѣсти — это двадцать тысячъ... шестьдесятъ-то тысячъ! да ты, сударь, никакъ съума спятилъ!

Нина Иракліевна съ негодованіемъ отбрасывала счеты и отворачивалась отъ сводчика къ окну.

— За пятьдесятъ, можетъ быть, отдадутъ! заговаривалъ сводчикъ.

Молчаніе.

— Хоть сорокъ-то пять положьте!

— Тридцать!

— Нѣтъ, за тридцать нельзя! Однихъ строеніевъ сколько! опять же скотъ!

— Да ты скажи мнѣ, съ какихъ ты-то радостей торгуешься? Или ужъ началъ и нашимъ и вашимъ служить?

— Я, сударыня, всякому служу, кто меня проситъ! Вы попросите—вамъ послужу; другой попроситъ—другому готовъ!

— То-то „готовъ“! Обѣ стороны продать готовъ! Васъ за такіа дѣла знаешь какъ надо! Сказывай, народъ-то смиренъ-ли?

— Самый покорный-съ: Чтобы это возмущеніе или бунтъ—и въ заведеніи никогда не бывало!

— Сорокъ—и ни копейки больше!

Сказавши это, Нина Иракліевна уже окончательно упиралась, и результатомъ этого упорства почти всегда оказывалась купчая крѣпость, вслѣдствіе которой, черезъ мѣсяцъ или черезъ два, владѣлецъ „заведенія“ на Таганѣ продавалъ его, а самъ съ отпускной въ рукахъ, поступалъ въ то же „заведеніе“ половымъ.

Еще чаще заставлялъ Порфиша у мамыши мужиковъ. Изъ комнаты несся запахъ дегтя и сермяжины, и раздавались возгласы: „гдѣ же взять-то, сударыня!“ и неизбежный отвѣтъ на нихъ: „а мнѣ хоть роди да подай!“ Въ большой части случаевъ мужики винулись, становились на колѣни и просили прощенья, изъ чего Порфиша заключилъ, что всѣ они обманщики, и что мамаша напрасно теряетъ время, разговаривая съ такими негодьями. Но изрѣдка бывали и такіе случаи, что мужикъ спорилъ и доказывалъ.

— Вѣдь еще объ Рождествѣ я деньги-то отдалъ! горячился какойнибудь Еремка, объясняя свою правоту.

— Не получала я, никакихъ я денегъ отъ тебя не получала! запиралась Нина Иракліевна.

— Вотъ Владычица видѣла, какъ я на самомъ этомъ мѣстѣ всѣ деньги отдалъ! упорствовалъ Еремка, указывая на висѣвшій въ углу приданный образъ Богоматери, передъ которымъ всегда теплилась лампадка.

— Можетъ, и видѣла Владычица, какъ ты отдавалъ, только кому-нибудь другому, а не мнѣ!

— Оборотню, что ли, я отдавалъ?

— Пошелъ вонъ, подлецъ!

Мужикъ уходилъ; Нина Иракліевна задумывалась, болтала ногами и нѣкоторое время избѣгала смотрѣть на Владычицу. Въ ней просыпалось что-то въ родѣ упрека; являлось колебаніе, не отдать-ли?

— Никакъ и въ самомъ дѣлѣ онъ заплатилъ? шептали уста ея.

Но Порфишу во всея этой сценѣ поражали лишь грубость Ереми и дерзость, съ которою онъ осмѣливался обличать мамашу свидѣтельствомъ Владычицы. Заключение, которое онъ выводилъ изъ этого случая, было то же самое, какъ и тогда, когда мужикъ винулся и просилъ прощенья. И въ первомъ случаѣ мужикъ былъ обманщикъ и во второмъ обманщикъ. „Стало быть, онъ обманывалъ, если прощенья запросилъ!“ „Обманщикъ — и еще смѣетъ грубить!“ — такъ говорилъ онъ себѣ, все болѣе и болѣе убѣждаясь, что формула „какъ ты смѣешь?“ есть самая удобная въ сношеніяхъ съ мужикомъ.

— Мамаша! какъ онъ смѣетъ тебѣ грубить! восклицалъ онъ, съ воплемъ бросаясь въ объятія Нины Ираклѣвны.

Этотъ вопль окончательно улаживалъ всѣ сомнѣнія. Нина Ираклѣвна успокоивалась и Еремка уходилъ домой, унося съ собою эпитеты нераскаяннаго и закоснѣлаго, которые не обѣщали ему ничего хорошаго въ будущемъ.

Но верхомъ торжества Нины Ираклѣвны были хозяйственныя распоряженія, выразившіяся въ приказаніяхъ, отдаваемыхъ старостамъ и прикащикамъ.

— У Васьки-Косого лошадь хороша, такъ ее на барскій дворъ взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей, что на худой!

— Слушаю, сударыня!

— А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть въ людяхъ живетъ. А если хочеть избу за собой оставить, пусть пятьдесятъ рублей отдастъ.

— Гдѣ ей эка мѣсто денегъ взять, сударыня!

— А негдѣ взять, такъ пусть не прогнѣвается! И въ людяхъ поживетъ!

— Слушаю, сударыня!

— То-то „слушаю“. Ты слушай, а не разговаривай, что негдѣ ей денегъ взять. Всѣ вы потатчики!

— Кажется, стараемся, матушка!

— Всѣ вы стараетесь! Ты мнѣ вотъ что скажи: за Оедькой-то Долговязымъ до сихъ поръ овца въ недоимкѣ числится... А! Скоро ли я дождусь?

— Одна у него, сударыня! Говорить: пушай прежде объегнётся!

— А знаешь ли ты, что за такія слова вашего брата въ солдаты отдають! Мнѣ чтобъ была овца! У тебя со двора сведу, если черезъ недѣлю Оедька не приведетъ!

И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Вслушиваясь въ эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякаго рода полученій, Порфиша невольнымъ образомъ и самъ получилъ вкусъ къ финансамъ. Я не думаю, конечно, чтобы онъ относился къ процессу созиданія сознательно, и чтобы въ немъ уже зародилась та доза канальства, которая въ этомъ случаѣ потребна, но едва ли ошибусь, сказавъ, что какъ бы ни было поверхностно дѣйствіе получаемыхъ въ дѣтствѣ впечатлѣній на человѣческое сознаніе, все-таки они не пропадаютъ безслѣдно. Сначала, эти впечатлѣнія втѣсняются въ видѣ разрозненныхъ фактовъ, но потомъ, мало-по-малу, одни отдѣльные факты начинаютъ цѣпляться за другіе, и даютъ поводъ для сравненій и сопоставленій. Память хранить цѣлый запасъ фактовъ, которые, казалось, прошли въ свое время мимо, не возбуждая даже вниманія, но на дѣлѣ оказывается, что они не только не исчезли, но выступаютъ во всей своей свѣжести и ясности, и выступаютъ именно въ ту самую минуту, когда всего болѣе чувствуется ихъ пригодность. Порфиша уже освоился съ формою денежныхъ знаковъ, онъ слышалъ шелканье счетовъ, видѣлъ мужика и хоть поверхностно, но все-таки пораженъ былъ энергическимъ выраженіемъ „хоть роди да подай“, къ которому любила прибѣгать Нина Иракліевна. Этого достаточно было, чтобы въ свое время память выдвинула всѣ эти факты, и жизненный опытъ нашелъ для нихъ надлежащее мѣсто въ общей экономіи міросозерцанія.

Ни Менаандръ Семеновичъ, ни Нина Иракліевна не думали сдѣлать изъ сына своего финансиста, которому впослѣдствіи суждено будетъ возвыситься до идеи о всеобщемъ ограбленіи. Да врядъ ли въ воспитательной практикѣ того времени и можно было найти примѣры подобной специальной подготовки. Въ то время люди воспитывались безъ всякихъ заданныхъ тѣмъ; требовалось только, чтобы они были понятливы, шустры и готовы на все. Что выйдетъ изъ этого впослѣдствіи, то-есть въ какомъ именно видоизмѣненіи „свободы тѣлодвиженій“ найдетъ себѣ выходъ эта готовность на все—объ этомъ никто не задумывался. Всякій отецъ и всякая мать имѣли только одну заботу: чтобы ребенку хорошо было жить на свѣтѣ. А это представлялось возможнымъ лишь тогда, когда ребенокъ твердо усваивалъ себѣ всѣ условія окружающей среды. Поэтому, ежели школа и обучала ребенка закону Божію, арифметикѣ, грамматикѣ, чистописанію, то главная воспитательная заѣвка лежала все-таки не въ ней, а въ той домашней обстановкѣ, которая, независимо отъ азбучныхъ прописей, сама по себѣ отчеканивала и натуральныхъ юристовъ, и натуральныхъ администраторовъ, и натуральныхъ финансистовъ.

Тѣмъ не менѣе, ежели бы Порфиша воспитывался исключительно подѣ влияніемъ отца и матери, изъ него, конечно, образовался бы только обыкновенный рутинный финансистъ, на манеръ финансистовъ добраго стараго времени. Онъ копилъ бы деньги безъ дерзости, считалъ бы ихъ, крѣпко на крѣпко замыкалъ бы замки въ денежныхъ помѣщеніяхъ, и затѣмъ умеръ бы, приобрѣтя на полученный въ наслѣдство миллионъ еще какой-нибудь такой же миллионъ. Но было обстоятельство, которое значительно расширило его финансовый кругозоръ и помогло ему сойти съ рутинной дороги. Этимъ возбуждающимъ стимуломъ, пролившимъ живоносный свѣтъ на дальнѣйшія судьбы Порфиши, были отыскивающіе княжескаго достоинства братья Тамерланцовы.

Георгій и Иванъ Матрѣевичи Тамерланцевы приходились по матери двоюродными братьями Нинѣ Иракліевнѣ и были чистокровные осетинцы. Специальность ихъ заключалась въ томъ, что они не имѣли постоянного мѣста жительства и переезжали съ одной ярмарки на другую. Сверхъ того, они были прекрасно обучены на билліардѣ, отыскивали княжеское достоинство, занимались покупкой и продажей лошадей, а въ карты играли такъ чисто, что ярмарочные шулера называли ихъ не иначе, какъ „благородными людьми“.

Отецъ ихъ, Матрѣукъ Булатовичъ, былъ неизвѣстнаго происхожденія осетинъ, перебѣжавшій нѣкогда къ русскимъ, поступившій въ инородческій эскадронъ въ чинѣ корнета и тотчасъ же начавшій отыскивать княжеское достоинство. Многія высокопоставленныя лица помогали ему въ этихъ домогательствахъ, но безуспѣшно. Доказательствъ у него не было никакихъ, кромѣ собственныхъ разсказовъ, изъ которыхъ явствовало, что на родинѣ, въ Осетіи, у него была сакля и двѣ козы.

— Саклемъ владалъ, пара коза кормилъ, ружьемъ ходилъ, свинья убивалъ! наивно объяснялъ онъ средства своего существованія въ состояніи дикости, но достовѣрности даже этихъ бѣдныхъ показаній ничѣмъ подтвердить не могъ.

Осетія въ то время еще не состояла во власти русскихъ, слѣдовательно не существовало ни губернскаго правленія, ни даже земскаго суда, черезъ которые можно было бы доподлинно узнать, дѣйствительно ли обладаніе двумя козами составляетъ, по мѣстнымъ законамъ, признакъ княжескаго достоинства. Поэтому, герольдія медлила, затруднялась и требовала какихъ-то

поколѣнныхъ росписей, а Мاستрюкъ, ничему не внимая и ничего не понимая, твердилъ одно:

— Саклемъ владалъ, ружьемъ ходилъ, свинья убивалъ!

Въ такомъ положеніи находилось это дѣло въ то время, когда Мастрюкъ, дослужившійся до ротмистра и принявшій фамилію Тамерланцева, умеръ, оставивъ послѣ себя двухъ сыновей: Амалата и Азамата. Умеръ онъ вѣрнымъ мусульманиномъ, хотя самъ Ферлакуръ неоднократно убѣждалъ его, какъ дальняго родственника по женѣ (въ это время, мелкобѣстный князь Крикулидзе въ женился на Мастрюковой сестрѣ, Магуль-Мегери, во святомъ крещеніи Марья Булатовнѣ), оставить заблужденія и познать свѣтъ истинной вѣры. Но Мастрюкъ, выслушавъ убѣжденія, постоянно задавалъ Ферлакуру одинъ и тотъ же вопросъ:

— У тебя, бачка, много жена?

— Одна.

— Ну, а мнѣ двадцать-одинъ жонъ довольна!

Но когда Мастрюкъ умеръ, сыновей живо окрестили и отдали въ кадетскій корпусъ, переименовавъ старшаго изъ Амалата въ Георгія, а младшаго—изъ Азамата въ Ивана. Въ корпусѣ, оба брата отличались необыкновенною ненавистью къ наукамъ и особенной страстью въ восточной магіи и къ тѣлеснымъ упражненіямъ, требовавшимъ ловкости и силы. Когда они вышли въ офицеры, то уже знали весьма значительное число фокусовъ, и потому смотрѣли въ глаза будущему совершенно спокойно, почти свѣтло. Это были необыкновенно развитые въ тѣлесномъ отношеніи молодые люди, съ смуглыми, очень красивыми, хотя и совершенно безжизненными лицами, на подобіе масокъ. У обоихъ братьевъ были широкія сильныя скулы, черные какъ смоль волосы и глаза и на правой щекѣ по большому родимому пятну, увѣнчанному волосами. Амалатъ пѣлъ очень пріятнымъ басомъ, Азаматъ — теноромъ: оба — плесали лезгинку, какъ истые горцы. Женщины вольнаго обращенія были отъ нихъ безъ ума; старушки, занимавшіяся покровительствомъ скромнымъ молодымъ людямъ, замѣтивъ ихъ въ театрѣ, интересовались узнать ихъ фамилію. Въ полку, куда они поступили, ихъ тоже полюбили, потому что они охотно принимали участіе въ такъ-называемыхъ исторіяхъ, и кромѣ того, никто не могъ выпить столько, сколько выпивали братья Тамерланцевы. Словомъ сказать, молодые люди были хоть куда.

Благодаря покровительству лицъ, помнившихъ еще незабвенныя услуги, оказанныя покойнымъ Мастрюкомъ, имъ предстояла, конечно, довольно видная военная карьера въ будущемъ. Быть можетъ, имъ суждено было даже принять когда-

господа ташкентцы.

17

нибудь дѣятельное участіе въ воссоединеніи Осетіи, но они сами испортили все дѣло. Однажды, Амалать запретъ въ телѣгу тройку жидовъ и одного изъ нихъ загналъ, а Азамать въ то же время поймалъ трехъ жидовокъ, вымазалъ ихъ дегтемъ, обвалялъ въ перьяхъ и пустилъ по городу (это происходило въ одной изъ западныхъ губерній). Къ несчастію, и жида и жидовки принадлежали къ числу упорныхъ, не шедшихъ ни на какія соглашенія, такъ что дѣло нельзя было „замять“, и братья вынуждены были оставить полкъ.

Тогда братья обратились къ проворству рукъ и къ покровительству чувствительныхъ старушекъ. У нихъ появились рысаки, экипажи и на всѣхъ пальцахъ брилліантовые перстни, которые они, поносивъ немного, замѣняли очень хорошими стразовыми. Жизнь они вели бродячую, цыганскую: покупали, прогорали и опять возрождались, бывали даже биты. Во всѣхъ городахъ, гдѣ существовали мало-мальски значительныя ярмарки, они являлись непремѣнными посѣтителями, устраивались на постоянныхъ дворахъ какъ у себя дома, разстилали на полу и на голыхъ скамьяхъ персидскіе ковры, и на все время ярмарки заводили какъ говорится, дымъ коромысломъ. Кончится ярмарка—исчезнуть и они, исчезнетъ и дымъ, которымъ они наполняли свои временныя пристанища. Не успѣютъ оглянуться—они ужъ на другой ярмаркѣ; опять разстилаютъ ковры, покупаютъ, продаютъ, мечутъ и понтируютъ.

Иногда, впрочемъ, они основывались и въ одномъ и томъ же городѣ на довольно продолжительное время. Это бывало въ тѣхъ случаяхъ, когда верхнее чутѣ докладывало имъ, что въ такомъ то мѣстѣ есть нѣкто, около котораго можно пощечиться. Тогда они знакомились съ помѣщиками, представлялись губернатору, называли себя политическими изгнанниками, прикидывались завидными женихами и непрочь были занять денегъ подъ залогъ осетинскихъ виноградниковъ. Въ провинціальныхъ обществахъ ихъ принимали очень радушно, во-первыхъ, потому, что они носили крупныя стразовыя запонки, а во-вторыхъ, потому, что были малые на всѣ руки. Перекинуть ли напривонатѣво, устроить ли для дѣвицъ *petits jeux*, рекомендовать ли лошадку, спѣть ли модный тогда романсъ „Черную шаль“, причѣмъ съ особеннымъ чувствомъ проскрежетать:

Кѣ мнѣ поступался презрѣнный еврей...

—на все это они такъ охотно соглашались, что гдѣ бы они ни появились, общество немедленно оживлялось. Объ Осетіи они разказывали чудеса. Какъ злой дядя, за два абазы, продалъ

ихъ въ Кахетію, и какъ отецъ ночью обратно ихъ оттуда укралъ; какая у отца ихъ была неприступная крѣпость, изъ которой онъ дѣлалъ на русскихъ набѣги; какой удивительный ростъ у нихъ виноградъ, какіе вкусные чуреки дѣлала ихъ мать, какъ прекрасенъ Казбекъ при восходѣ солнца и проч. и проч. Словомъ сказать, объясняли все, что можно было почерпнуть изъ производившихъ тогда фуроръ повѣстей Марлинскаго. И въ доказательство своего подлинно-осетинскаго происхожденія затыгивали пѣсню, въ которой слышались только гортанные звуки: га-го-ги! но которая заставляла ихъ заливаться горькими-горькими слезами.

Вообще, Тамерланцевы имѣли то свойство, что коль скоро проникали въ какой-нибудь домъ, то незамѣтно дѣлались въ немъ своими людьми. Они умѣли побалагурить съ лакеями, перемигнуться съ горничными, привлечь на свою сторону дѣтей, и такъ убѣдительно просили хозяевъ не церемониться съ ними и не беспокоиться ихъ присутствіемъ, что тѣмъ оставалось только махнуть рукою. Въ самое короткое время, хотѣли или не хотѣли хозяева, они утверждались въ домѣ самымъ прочнымъ образомъ. Лакеи, чутьемъ слышавъ приближающійся экипажъ, бросались къ подъѣзду и наперерывъ провозглашали: „пожалуйте-съ! господа только что за столъ сѣли-съ“, или: „пожалуйте-съ! господъ дома нѣтъ, да они сейчасъ будутъ-съ!“ И начинали суетиться, готовить закуску, словно принимали самыхъ близкихъ родныхъ. Горничныя просовывали въ дверь головы, въ ожиданіи щипка или поцѣлуя. Дѣти съ гикомъ и гамомъ устремлялись на встрѣчу, вооруженные свистульками, гремушками и трещетками. Даже моваръ—и тотъ говорилъ: „сегодня у насъ молодые господа будутъ обѣдать“—и требовалъ отъ экономки усиленной пропорціи сахару, яицъ и масла. Хозяева, обольщенные пріятными манерами и услужливостью братьевъ, сначала тоже были внѣ себя; когда же потомъ начинали изыскивать способы, какимъ бы образомъ избавиться отъ ихъ вездѣсущія, то было уже поздно. Тамерланцевы уже крѣпко держались на всѣхъ пунктахъ, и едва появлялись передъ ними недоумѣвающія лица хозяевъ, какъ они самымъ любезнымъ образомъ восклицали:

— Евдокимъ Григорычъ! Анна Павловна! не церемоньтесь съ нами! пожалуйста, занимайтесь вашими дѣлами! Мы здѣсь съ дѣтьми. Кириша! Параша! Вѣдь мы поѣдемъ сегодня въ Москву? А? вотъ такъ: туру-ту-ту... га! въ Москву поѣхали!

И Евдокимъ Григорычъ отправлялся въ кабинетъ, плюнувъ и говоря Аннѣ Павловнѣ:



— Нѣтъ ужъ, матушка, ты сама! Сама приучила этихъ эгоистовъ, сама, какъ хочешь, и раздѣливайся съ ними.

Нельзя сказать, чтобы это было съ ихъ стороны предумышленно. Скорѣе всего, они безсознательно стремились всюду, гдѣ можно было что нибудь урвать или урѣзать, и вообще имѣли такъ-называемый чорторъ инстинтъ. Всякій очень скоро убѣждался, что братья глупы и что, слѣдовательно, искать въ ихъ дѣйствіяхъ какого-нибудь злого умысла—нѣтъ повода; но всякій, въ то же время, ощущалъ, что десятии самыхъ злыхъ озорниковъ не въ состояніи были бы привести человѣка въ такое беззащитное положеніе, въ какое приводили эти два безсознательныхъ и безконечно покладистыхъ шалопаи.

Нина Иракліевна почти испугалась, когда ей доложили, что ее желаютъ видѣть князья Тамерланцевы.

— Тети Машины дѣти! воскликнула она въ недоумѣніи, но тутъ же, не потерявъ присутствія духа, обратилась къ Менадру Семеновичу и прибавила: ради Христа, не давай ты имъ денегъ!

Свиданіе произошло; Велентьевы были сдержанны; кузены предупредительны и нѣжны.

— Въ государственной службѣ, господа, состоите? спрашивалъ Менадръ Семеновичъ.

— Нѣтъ, братецъ, способностей не имѣемъ, скромно отвѣчали братья.

— Ну, способности тутъ не Богъ-знаетъ какія требуются!

Братья посидѣли, раскланялись и уѣхали; затѣмъ въ теченіе недѣли они еще два раза навѣстили Велентьевыхъ и каждый-разъ называли Нину Иракліевну *belle cousine*, увѣрили, что она вполне сохранила тамерланцевскій типъ, и такъ крѣпко и часто цѣловали у нея ручки, что она невольно конфузилась и жалась. Порфишъ (ему минуло въ то время одиннадцать лѣтъ) они, на другой же разъ, подарили книжку съ картинками, такъ что не пригласить ихъ обѣдать было уже совѣстно. Затѣмъ, хотя послѣ обѣда Тамерланцевы и попросили Менадра Семеновича денегъ займа, но получивъ отъ казъ, не только не обидѣлись, но очень любезно воскликнули:

— Братецъ, забудьте! пусть денежные расчеты не разстраиваютъ нашихъ родственныхъ отношеній! Забудьте! намъ не нужно денегъ! мы не просили ихъ!

Словомъ сказать, съ Велентьевыми повторилась та же исторія, что и съ другими. Какъ ни чутко держали они себя относительно братьевъ, но устоять противъ естественнаго теченія обстоятельствъ не могли. Постепенно учащая свои визиты, они каждый разъ умѣли чѣмъ-нибудь подслужиться: Нинѣ Ирак-

левнѣ подарили настоящій персидскій коверъ, Порфишѣ навезли цѣлый ворохъ игрушекъ, наконецъ у Менандра Семеновича попросили позволенія осмотрѣть его лошадей, нашли у одной изъ нихъ подсѣдь и дали такой мази, отъ которой въ два дня подсѣдка какъ не бывало.

— Совѣмъ было-думалъ продать лошадь! говорилъ Велентьевъ:—а теперь опять хотъ куда! Благодарю!

— Вы, братецъ, насчетъ лошадей, пожалуйста, ни къ кому не обращайтесь! упрасивали Тамерланцевы:—у насъ теперь на примѣтъ одна пара есть... ахъ какая это пара!

И дѣйствительно, почти за безцѣнокъ, сосватали Велентьеву такую пару, что самъ инспекторъ врачебной управы, вкупѣ съ отставнымъ кавалерійскимъ полковникомъ, какъ ни осматривали животныхъ, не могли найти въ нихъ ни одного порока.

Но сомнѣніе уже мучило Менандра Семеновича, и повременамъ онъ выражалъ его довольно энергично.

— И чортъ ихъ знаетъ, что за народъ такой! разсуждалъ онъ самъ съ собою:—цыгане не цыгане, венгерцы не венгерцы, шулера не шулера... иностранцы какіе-то!

И онъ на всякій случай пробовалъ, достоточно-ли крѣпко заперты ящики его письменнаго стола, и удостовѣрившись, что крѣпко, отправлялся на половину къ Нинѣ Иракліевнѣ.

— Да полно, братцы-ли они тебѣ? спрашивалъ онъ ее.

— Тети Машины дѣти-то! неужтожъ я не знаю!

— И все-таки, ты-бы запирала! Эти братцы... право, ужъ и не знаю!

Мало-по-малу, Тамерланцевы приобрѣли дружбу лакеевъ и горничныхъ, а въ особенности полное довѣріе Порфиши. Тогда они ужъ безъ церемоніи стали таскаться и завтракать, и обѣдать. Сидитъ Менандръ Семеновичъ въ кабинетѣ, и деньги считаетъ—глядь, братцы пріѣхали! Въ залѣ бѣготня, пѣніе, стукъ, трескъ; Азаматъ учитъ Порфишу лезгинку танцевать, Амалатъ аккомпанируетъ на фортепьяно и выкрикиваетъ: га-го-ги! лакей бѣгаетъ изъ столовой въ буфетную и обратно, стучитъ тарелками, ножами, и готовитъ закуску. Менандръ Семеновичъ нѣкоторое время терпитъ и старается разрѣшить себѣ задачу: два да пять сколько будетъ? но сколько онъ ни прокладываетъ на счетахъ—все выходитъ или однимъ рублемъ больше, или однимъ рублемъ меньше. Наконецъ, онъ, какъ ужаленный, вбѣгаетъ въ буфетную.

— Тебѣ кто велѣлъ? накидывается онъ на лакея, поспѣшающаго съ подносомъ въ рукахъ въ столовую.

— Какъ же-съ, вѣдь братцы-съ! отвѣчаетъ лакей, очевидно

даже изумленный, что ему могъ быть предложенъ такой странный вопросъ.

Менандръ Семеновичъ краснѣетъ, покрываеьт и уже не настаиваетъ больше. Онъ съ грустной покорностью снимаетъ съ себя халатъ, надѣваетъ домашній казачетовый казакинъ и отправляется въ столовую, предварительно удостовѣрившись, что всѣ ящики заперты и все въ кабинетѣ цѣло.

А братцы уже спятъ къ нему на встрѣчу и въ одинъ голосъ восклицаютъ:

— Братецъ, напрасно беспокоитесь! Мы здѣсь съ Порфишей!

Но Менандръ Семеновичъ уже чувствуетъ, что утро у него отравлено, и что гдѣ бы онъ ни былъ, въ столовой-ли, въ кабинетѣ-ли, мысль о „братцахъ“ вездѣ будетъ его преслѣдовать. Поэтому, онъ усаживается за столъ и принимаетъ геройское рѣшеніе занимать братцевъ.

— Я говорю: вы бы, господа, въ государственную службу шли! начинаетъ онъ, краснѣя и самъ не зная, о чемъ собственно онъ ведетъ рѣчь.

— Способности, братецъ, не имѣемъ.

— А вы бы принудили себя!

— Старались, братецъ, да ничего не вышло.

— Гм... странно это!

Молчаніе.

— Да вы, братецъ, напрасно себя беспокоите! Мы здѣсь вотъ съ Порфишей, а не то, немного погода, къ кузинѣ Ниночкѣ пройдемъ! опять начинаютъ братцы.

— Нина Иракліевна занята. Я тоже. Признаться, я даже не понимаю, какъ можно безъ занятій жить! говоритъ Менандръ Семеновичъ, уже не скрывая своихъ недоумѣній.

Но братцы какъ бы забавляются этими недоумѣніями.

— Мы, братецъ, тоже занимаемся, отвѣчаютъ они:—только занятія у насъ кратковременныя. Вотъ и сегодня утромъ пару лошадей присмотрѣли... ахъ, какая это пара!

— Какое ужъ это занятіе — лошади!

Тщетно все, Какъ ни старался Велентьевъ выжить братцевъ—они словно приросли. Въ домѣ все цѣло; денегъ въ другой разъ не просятъ—а между тѣмъ, какъ ни посмотришь, все тутъ. Иногда онъ даже желалъ, чтобъ они что-нибудь украли (разумѣется не весьма цѣнное), лишь бы безъ шума отдѣлаться отъ нихъ.

— Я, сударыня, съума скоро сойду! жаловался онъ женѣ.— Выйти изъ кабинета нельзя: одинъ въ залѣ съ Порфишей, другой въ корридорѣ съ Агашкой шушукается. Сведетъ онъ ее у насъ!

— А коли сведеть, такъ и купить. По мнѣ, ежели хорошую цѣну дастъ... и Богъ съ ними!

А братцы между тѣмъ забрали уже себѣ въ голову, что Порфиша года черезъ четыре будетъ гусарскимъ юнкеромъ, и что, слѣдовательно, имѣются въ перспективѣ векселя подъ вѣрное обезпеченіе смерти любезнѣйшихъ родителей. Какъ ни отдаленны были эти надежды, но какъ другого дѣла покажеться у нихъ не было, то прирученіе Порфиши представлялось цѣлью очень привлекательною и даже практическою...

Съ своей стороны, Порфиша очень хорошо понималъ дяденьку. Онъ угадалъ въ нихъ присутствіе именно того элемента легкомыслія, перемѣшаннаго съ жульничествомъ, котораго ему недоставало, и безъ котораго истинный финансистъ все равно, что тѣло безъ души. Онъ видѣлъ, что дяденьки всегда свободны, беззаботны и веселы; что они ничѣмъ не занимаются, а между тѣмъ бросаютъ деньгами, какъ щепками; что у нихъ во всякое время — неистощимый запасъ игръ, выдумокъ и фокусовъ. Все это, вмѣстѣ взятое, произвело на него подавляющее впечатлѣніе, и въ самое короткое время онъ до такой степени страстно прильпился къ дяденькамъ, что даже пересталъ слѣдить за финансовыми операціями родителей.

Первый сдѣланный передъ нимъ фокусъ особенно его поразилъ. Дядя Амалатъ вынулъ изъ кармана золотой и показалъ его Порфишѣ.

— Видѣлъ? спросилъ онъ его.

— Видѣлъ.

Амалатъ положилъ золотой на ладонь, и зажалъ его въ кулакъ.

— Видѣлъ? тутъ золотой? спросилъ онъ опять, разжимая кулакъ и вновь сжимая его.

— Тутъ.

— Ну, теперь смотри!

Амалатъ сдѣлалъ рукой движеніе, но до такой степени быстрое, что Порфиша могъ только замѣтить, что у него что-то мелькнуло въ глазахъ. Потомъ, Амалатъ разжалъ кулакъ и показалъ Порфишѣ пустую ладонь.

— Клацъ! гдѣ золотой?

Порфиша вытаращилъ глаза и машинально повторилъ:

— Гдѣ золотой?

— Ну, теперь обыскивай меня; если съищешь — твой золотой!

Но сколько Порфиша ни искалъ — золотого нигдѣ не оказалось. Тогда Амалатъ повторилъ свой фокусъ наоборотъ, то есть показалъ, какъ въ пустыхъ рукахъ — клацъ! — вдругъ оказалось по два золотыхъ.

— Дяденька! захлебывающимся голосомъ простоваль Порфиша.

Въ другой разъ, на сцену выступилъ Азамать и изобразилъ штуку еще почище, а именно: взял колоду картъ и показалъ ее Порфишѣ.

— Видѣлъ? Вся колода картъ тутъ?

— Вся.

— Теперь сказывай, какую ты карту хочешь?

— Двойку пикъ.

Клацъ!—Азамать выбросилъ двойку пикъ.

— Можетъ, ты еще двойку пикъ хочешь?

— Еще двойку пикъ хочу.

— Держись!

Клацъ!—Азамать опять выбросилъ двойку пикъ.

— Можетъ быть, ты и еще двойку пикъ хочешь?

Но Порфиша уже не отвѣчалъ, а только взглядывалъ на дяденьку съ разинутымъ ртомъ.

— Ты, можетъ быть, хочешь, чтобъ вся колода была изъ двоекъ пикъ? смотри!

И Азамать одну за другой сталъ кидать двойки пикъ. Это до того поразило Порфишу, что онъ заплакалъ, какъ бы обидѣвшись, что дяденьки смѣются надъ нимъ.

— погоди, мы еще не то тебѣ покажемъ! утѣшали его братья Тамерланцевы.

Когда дяденьки ушли, Порфиша взялъ въ руки грошъ, и старался произвести съ нимъ ту же эволюцію, какую Амалать производилъ съ золотымъ, но ничего изъ этого не вышло. Потомъ онъ попробовалъ то же самое сдѣлать наоборотъ, то-есть сжалъ пустые кулаки, махнулъ ими крестъ-на-крестъ въ воздухъ, сказалъ: клацъ!—но и тутъ ничего не вышло.

— Дяденька! приставай онъ: — покажите, какъ вы дѣлаете?

— погоди! вотъ будешь большой—до всего дойдешь!

Слова эти глубоко запали въ душу Порфиши. Онъ повторялъ ихъ и старался угадать, что такое это „все“, до чего онъ современемъ дойдетъ. Постепенно онъ сталъ задумываться и сдѣлался разсѣяннымъ. Процессъ созиданія, царствовавшій въ домѣ родителей, уже не удовлетворялъ его, тѣмъ болѣе, что дяденьки, по мѣрѣ ближайшаго знакомства, начали открыто смѣяться надъ скопидомствомъ Менандра Семеновича.

— У твоего отца много денегъ? спрашивалъ его Амалать.

— Много.

— А знаешь ли ты, какъ онъ деньги копить?

— Какъ?

— А вотъ какъ, смотри!

И Амалатъ клалъ на столъ золотой, накладывалъ на него другой, третій и т. д., причемъ пыхтѣлъ, побрякивалъ, пожимался и ѓзирался кругомъ.

— Такъ?

Порфиша не отвѣчалъ, но ему и самому уже начинало казаться, что „такъ“.

— Ну, а мы вотъ какъ: сколько ты хочешь, чтобъ у меня было въ горсти золотыхъ?

— Двадцать!

— Эка хватиль! Ну, держи руки, отсчитывай!

Дяденька дѣлалъ видъ, какъ будто ловилъ что-то руками въ воздухѣ, и затѣмъ отчеканивалъ монету за монетой до двадцати.

Нина Иракліевна первая замѣтила, что Порфиша задумывается, начинаетъ любить уединеніе, шевелить губами, какъ бы разговаривая самъ съ собой, дѣлаетъ какія-то странныя движенія руками, то сжимаетъ кулаки, то разжимаетъ ихъ.

— Не боленъ ли ты, мой другъ? спросила она однажды сына.

— Нѣтъ, здоровъ.

— Что же ты ходишь точно растерянный?

Порфиша остановился, и показалъ мамашѣ руки.

— Вы это видѣли?

Нина Иракліевна съ изумленіемъ смотрѣла, какъ онъ растянулъ руки на подобіе фокусника, потомъ быстро махнулъ ими крестъ-на-крестъ, и сказалъ:

— Видѣли, что ничего не было? Теперь смотрите! Кладъ! Видите?

— Что видѣть-то! Разжалъ пустые кулаки — только и всего!

— Ничего вы не понимаете! Вы только и умѣете, что копейку къ копейкѣ прижимать, а я вотъ—кладъ!—сколько захочу денегъ, столько и будетъ!

Нина Иракліевна безпокойно взглянула ему въ глаза.

— Это все Амалатка съ Азаматкой! прошептала она.

Въ этотъ же день, послѣ обѣда, Порфиша былъ призванъ на аудіенцію къ отцу.

— Какое ты давеча слово мамашѣ сказалъ? спросилъ Менандръ Семеновичъ.

Но Порфиша не только не струсилъ, но отвѣчалъ даже дерзко:

— Какое слово? Кладъ! вотъ какое слово!

— Что же оно означает?

— А вотъ что!

Порфиша вытянулъ обѣ руки, сжалъ кулаки, встряхнулъ ими и сказалъ отцу:

— Кладъ! видѣли? Сколько захочу денегъ, столько и будетъ!

— Да-съ, это они! это Матрюковичи! обратился Велентьевъ къ женѣ:—это они его фокусамъ обучаютъ!

Но какія ни принимали Велентьевы мѣры, чтобъ устранить вліяніе дяденекъ, все было напрасно. Тамерланцевымъ было отказано отъ дому, но домашніе такъ полюбили ихъ, что нисколько не мѣшали Порфишѣ бѣгать къ дяденкамъ послѣ обѣда, когда папаша и мамаша опочивали отъ трудовъ. Однажды, прибѣжавъ къ нимъ, онъ засталъ въ ихъ квартирѣ что-то не совсемъ обыкновенное.

Единственная, пріемная комната была полна народомъ, на столѣ, около печки, красовалась закуска и нѣсколько на полу вину опорожненныхъ бутылокъ и штофовъ; облака дыма выѣдали глаза. Дядя Азаматъ сидѣлъ за большимъ зеленымъ столомъ и металл; дядя Амалатъ помѣщался сбоку и распоряжался кассой. Кругомъ стола сидѣли неизвѣстныя личности въ мундирныхъ скротукахъ, венгеркахъ и казакинахъ; передъ каждымъ лежали игранныя колоды картъ, изъ которыхъ они съ нервнымъ движеніемъ вытаскивали то одну, то другую карту и клали на столъ. Тамъ и сямъ виднѣлись столбики золота, которое не считали, а передавали изъ рукъ въ руки бучками, какъ бы на глазомѣръ. На пальцахъ рукъ обоихъ братьевъ сверкали перстни. Порфиша, неожиданный такого зрѣлища, оторопѣлъ.

— Ва—банкъ! крикнулъ кто-то въ ту самую минуту, какъ онъ вошелъ.

Руки у дяди Азамата чуть дрогнули; но Амалатъ такъ ясно сверкнулъ въ его сторону глазами, что банкометъ тотчасъ же овладѣлъ собой, и передернулъ столь чисто, что извѣстный шулеръ, майоръ Бѣлокопытовъ, присутствовавшій тутъ же и понтировавшій только для виду, кракнулъ отъ наслажденія.

Игра кончилась. Порфиша видѣлъ, какъ груда золота перешла въ руки дяденекъ, и посмотрѣлъ на нихъ почти съ благоговѣніемъ.

— Видишь! сказалъ ему Азаматъ, когда разошлись гости:—а твой отецъ еще говорить, что мы только гранимъ мостовую. Можетъ ли онъ въ цѣлый вѣкъ столько денегъ добыть, сколько мы въ одинъ часъ добыли!

— Дяденька! какъ вы это дѣлаете?

— Нѣтъ, братъ, тебѣ еще рано. Выростешь—самъ до всего дойдешь. Главное, чтобъ охота была, а умѣнье придетъ само собою!

Такъ длилось до тѣхъ поръ, пока Амалать не получилъ. наконецъ, такъ называемую неприятность, вслѣдствіе которой братья вынуждены были оставить Семиозерскъ и искать убѣжища въ другомъ городѣ.

Разсчеты Тамерланцевыхъ на Порфишу не оправдались. Онъ не сдѣлался ни игрокомъ, ни фокусникомъ, ни гусаромъ. Тѣмъ не менѣе, общество дяденекъ оказало на его будущее дѣйствіе гораздо болѣе рѣшительное, нежели даже примѣры родителей. Если послѣдніе познакомили его съ наружнымъ видомъ денежныхъ знаковъ и заронили въ его душу первую мысль о созиданіи, то первые доказали во очію, что перлъ созиданія — это созиданіе изъ ничего. Тамерланцевы исчезли безслѣдно, но уроки ихъ неизгладимыми чертами врѣзались въ чуткой душѣ Порфиши. Въ той суммѣ впечатлѣній, которыя даются чело-вѣку дѣтствомъ, примѣры вѣщней ловкости и быстроты всегда представляютъ очень компактный и характерный слой. По удаленіи дяденекъ, Порфиша сдѣлался скученъ и долгое время машинально дѣлалъ быстрыя движенія руками, сжималъ и разжималъ пустые кулаки и тщетно разсматривалъ, не окажется ли тамъ червонца. Повидимому, это были движенія безмысленныя и ненужныя, но будущее доказало, что они были необходимы и вполне умѣстны, ибо служили, какъ бы смутнымъ прообразованіемъ тѣхъ приемовъ, которые должны были впоследствии составить его славу, какъ финансиста.

Червонцевъ не оказалось, но вмѣсто нихъ—кладъ!—неслышно и незримо уже зрѣлъ въ его душѣ проектъ объ изготовленіи дешевой и долгосохраняемой колбасы.

Формальное воспитаніе между тѣмъ шло своимъ чередомъ. Хотя нельзя было сказать, чтобъ Порфиша питалъ особенную страсть къ наукамъ, тѣмъ не менѣе, до знакомства съ дяденьками, дѣло образованія ума и сердца кое-какъ шло. Нѣкоторыми предметами онъ болѣе или менѣе интересовался, а математику даже полюбилъ на столько, что съ самозабвеніемъ принялся извлекать квадратные корни, какъ только этотъ математическій приемъ былъ ему показанъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ явились дяденьки, и на первый разъ объяснили ему задачу „легѣло стадо гусей“, онъ постепенно дѣлался все разсѣян-



нѣе и разсѣяннѣе. Все простое, все, что могло быть рѣшено нагляднымъ образомъ, опротивѣло ему. Мысль его неудержимо влеклась къ неизвѣстному, сложному и до такой степени необыкновенному, что только чудо, въ родѣ щучьяго велѣнія, могло освободить его отъ сѣтей, въ которыхъ путалось его воображеніе. Еслибъ въ то время кто-нибудь шепнулъ ему о квадратурѣ круга, или о непрерывномъ движеніи, онъ навѣрное со всѣмъ пыломъ юношеской горячности увлекся бы этими задачами и сталъ бы съ утра до вечера вертѣться около нихъ, какъ бѣлка въ колесѣ. Но увы! у него даже этого ограниченія не было, а было только одно магическое слово „клацъ!“, за которымъ открывалась пустая и бездонная пропасть. Въ этой безднѣ, среди цѣлаго міра чудесъ, свободно парило воображеніе, питая само себя и тапливо отвращаясь отъ всего, что напоминало о дѣйствительности. Понятно, что при такомъ болѣзненнымъ настроеніи умственныхъ силъ, Порфишѣ было уже не до квадратныхъ корней, которыми пичкалъ его Менандръ Семеновичъ.

На четырнадцатомъ году, Порфишу отдали въ одно изъ аристократическихъ заведеній Петербурга, едва-ли не въ то же самое, въ которомъ воспитывался и Коля Персіановъ. Выборъ этого заведенія Менандръ Семеновичъ слѣдующимъ образомъ формулировалъ въ письмѣ къ княгинѣ Ферлакуръ: „Вы знаете, добрыйшя моя благодѣтельница“, писалъ онъ ей, „что я не аристократъ по происхожденію. Хотя и отецъ мой и дѣды, въ теченіе, можетъ быть, многихъ столѣтій, возносили подателю всѣхъ благъ молитву о принесенныхъ честныхъ дарѣхъ, но вѣдь молитва въ заслугу у насъ не принимается, слѣдовательно, еслибъ я даже могъ доказать, что происхожу по прямой линіи отъ Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не считалъ. Но аристократія любезна моему сердцу потому, что назначеніе ея — вливать въ государственный организмъ возвышенный духъ. Аристократія полезна даже и въ томъ случаѣ, если она ничего дѣйствительно полезнаго не совершаетъ. Она полезна потому, что она есть. Вспомните, чѣмъ я былъ до поступленія въ вашъ почтеннѣйшій домъ, и что сдѣлали изъ меня вы! Вотъ почему я желалъ бы, чтобъ мой Порфирій былъ съ дѣтскихъ лѣтъ окруженъ юношами благородныхъ фамилій. Черезъ сношеніе съ ними онъ получитъ возвышенныя чувства, которыя, при томъ же, будучи по матери потомкомъ древняго рода князей Крикулидзевыхъ, онъ и отъ природы весьма склоненъ имѣть. Въ особенности было бы хорошо, еслибъ онъ сіи чувства могъ приобрѣтать на казенный

счетъ, къ устройству чего вы, моя незабвенная благодѣтельница, всеконечно, имѣете всѣ пути“.

Порфиша былъ принятъ, но въ заведеніи участъ его была не изъ самыхъ завидныхъ. Во-первыхъ, товарищи скоро узнали, что отецъ его происходитъ изъ духовнаго званія, и, къ довершенію всего, служить совѣтникомъ питейнаго отдѣленія, тогда какъ ихъ отцы были не только сами егермейстеры, но и дѣти дѣтей егермейстерскихъ. Поэтому, они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое было, тѣмъ тягостнѣе, что сопровождалось приставаніями и весьма недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него въ саду, снимали фуражки и крестились; другіе дѣлали видъ, что кадятъ; третьи — показывали рукой хапанца, какъ эмблему питейнаго отдѣленія; четвертые, наконецъ, рисовали хапанца на бумагѣ, и утверждали, что это гербъ рода Велентьевыхъ. Во-вторыхъ, княгиня Ферлакуръ, выхлопотавши помѣщеніе Порфиши въ заведеніе на казенный счетъ, этимъ и ограничила свои попеченія объ немъ. Въ это время ей было не до Велентьевыхъ, потому что ее занималъ вопросъ о воссоединеніи латышей, съ которымъ была тѣсно связана личность генерала Толоконникова.

Такимъ образомъ, Порфиша росъ въ заведеніи одинокій и забытый. По праздникамъ товарищи разбѣжались по домамъ, ѣздили на ликахъ, лакомились въ кондитерскихъ и ресторанахъ, а онъ сидѣлъ въ заведеніи, ѣлъ говядину подъ краснымъ соусомъ, давился суеонными пирогами, и выслушивалъ сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостылѣли стѣны заведенія, и который охотно промѣнялъ бы ихъ на стѣны ресторана Доминика, гдѣ есть биллиардъ, домино и т. д.

— Mais, malheureux jeune homme! укорялъ его москѣ Пентаулеръ: — Vous n'avez donc ni père, ni mère; ni parents, personne qui puisse vous abriter! Ah! c'est singulier!

— Personne, monsieur, угрюмо отвѣтствовалъ Порфиша и съ какимъ-то нервнымъ нетерпѣніемъ выслушивалъ вечеромъ рассказы товарищей о томъ, сколько они съѣли, въ теченіе дня, пирожковъ и порцій мороженаго, въ какой кондитерской дѣлаются лучшія конфекты, и у какого извозчика лучше бѣжить рысакъ.

Это одиночество еще сильнѣе развило въ Порфишѣ ту мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома педагогическими откровеніями дяденекъ. Съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ рекреационныхъ часовъ, которые позволяли ему быть въ сторонѣ отъ товарищеской сутолоки, и какъ только звонокъ возвѣщалъ окончаніе класса, удалялся въ садъ, бродилъ по аллеямъ, или садился на дерновую скамейку, и

мечталъ. Передъ нимъ проносился весь процессъ созиданія, видѣнный въ дѣтствѣ: столбики золота, бумажки новыя (папашины), бумажки старыя (мамашины), мужики, запахъ дегтя, тальки, овчины, сушеные грибы... И вдругъ—кляцъ!—вся эта обстановка исчезала, но исчезала лишь на минуту, для того чтобы—кляцъ!—появиться вновь, но уже не въ рукахъ папашы съ мамашей, а въ рукахъ дяденекъ, которыхъ онъ сейчасъ только видѣлъ пустыми. Вообще, какъ только появлялись на сцену дяденьки, видѣнія шли за видѣніями, цѣлыми вереницами, и принимали самый фантастическій характеръ...

Не успѣлъ совсѣмъ стихнуть звонокъ, какъ уже воображеніе Порфиши работаетъ. Онъ видитъ себя заблудившимся въ лѣсу. Онъ бродитъ, выбивается изъ силъ, молится, плачетъ—все тщетно! Вдругъ, словно изъ земли вырастаетъ передъ нимъ старикъ и подаетъ червонецъ. Вручая червонецъ, старикъ говоритъ: ты можешь размѣнивать его сколько угодно, онъ всегда будетъ у тебя цѣль. Вотъ тема, за которую хватается фантазія, и по поводу которой тотчасъ же начинается рисовать самыя разнообразныя практическія примѣненія. И лѣсъ, и старикъ—исчезаютъ; остается только волшебный червонецъ. Порфиша мысленно отправляется съ нимъ въ кондитерскую, покупаетъ пять пирожковъ и получаетъ два рубля семьдесятъ-пять копеекъ сдачи. А червонецъ тутъ-какъ-тутъ. Потомъ онъ отправляется въ овощную лавку, покупаетъ пятокъ яблокъ, и получаетъ сдачи два рубля девяносто копеекъ. Червонецъ опять тутъ-какъ-тутъ. Потомъ, онъ идетъ въ гостиницу, съѣдаетъ бифштексъ, оттуда опять въ кондитерскую, гдѣ ѣстъ порцію мороженаго, вездѣ получаетъ сдачу и вездѣ удоставляется, что драгоценный червонецъ неприкосновенъ. Въ этихъ мысленныхъ экскурсіяхъ застаётъ Порфишу звонокъ; онъ медленно идетъ въ классъ, но и тамъ, за урокомъ, начатая работа мысли не прекращается. Онъ складываетъ, умножаетъ, повѣряетъ и получаетъ проценты...

Тогда фантазія начинаетъ другой сонъ, другую сказочную легенду.

Передъ Порфишей—прыгающая лягушка, за которую онъ гонится, и которую тщетно старается убить. Вотъ онъ уже настигаетъ ее, вотъ настигъ, какъ вдругъ—кляцъ!—передъ нимъ ужъ не лягушка, а древняя сморщенная старуха, которая говоритъ ему: „тутъ, подъ этой старой липой лежитъ несметный кладъ; разбойникъ Кудеяръ зарылъ котелъ съ золотыми деньгами и посадилъ эту самую липу“. Сказавши это, старуха исчезаетъ, а фантазія Порфиши цѣлко хватается за новую тему и начинается, по ея моводу, новый процессъ созиданія. Что

кладъ будетъ въ рукахъ Порфиши—это не можетъ подлежать сомнѣнію. Съ этою цѣлью, онъ встаетъ по ночамъ, неслышными шагами пробирается мимо дремлющаго дядьки, отпираетъ наружную дверь, и, вооруженный заступомъ, выходитъ въ садъ. Аллеи длинны и темны; кругомъ—тишина и загадочность; издали, въ формѣ неопредѣленнаго пороха, то возрастающаго, то смолкающаго, доносится шумъ неусыпающаго города. Но Порфиша не останавливается передъ приливами и отливами городского шума. Онъ спѣшитъ къ цѣли и начинаетъ рыть. Онъ одинъ выполнить эту трудную задачу, потому что ни съ кѣмъ не хочетъ раздѣлить свою добычу. Не то, чтобы онъ былъ безгранично жаденъ, но ему улыбается мысль, что вдругъ—кляц!—и онъ обладатель миллионовъ. Однако, что-то ужъ звякнуло... это онъ! это котель съ имперіалами! Порфиша судорожно вскрываетъ крышу, черпаетъ, черпаетъ; но болѣе пуда золота заразъ унести не можетъ. Сколько золотыхъ въ пудѣ? Сколько составитъ это въ переводѣ на кредитные рубли? Опять звонокъ, опять классъ. Учитель латинскаго языка тѣтено допрашиваетъ Порфишу объ исключеніяхъ на *is*. „*Amnis, anguis, axis*“, бормочетъ Порфиша, и окончательно становится въ ту-пикъ. Коли хотите, онъ знаетъ и дальше: *calis, canalis* и проч., но онъ не о томъ думаетъ. Онъ видитъ передъ собою другую безлунную ночь, потомъ третью, четвертую и такъ далѣе, пока воображеніе вновь не запутывается въ собственныхъ тенетахъ.

Ученіе шло туго, несмотря на то, что Порфиша уже дома зналъ гораздо больше того, что требовалось въ томъ классѣ заведенія, въ который онъ поступилъ. Постоянно живя въ обществѣ призраковъ, онъ сдѣлался разсѣянъ, впалъ въ полудремотное состояніе. Это повліяло и на его поведение, или лучше сказать, на тѣ отмѣтки, которыми въ заведеніи выражалась степень внѣшняго благочинія воспитанниковъ. Онъ былъ тихъ и смиренъ, никогда не повѣсничалъ; не приставалъ, не грубилъ, но начальствующимъ почему-то казалось, что въ сердцѣ этого мальчика свилъ гнѣздо порока. Французъ-гувернеръ называлъ его не иначе, какъ „*malheureux jeune homme*“; гувернеръ-нѣмецъ утверждалъ, что спасти злосчастнаго юношу можетъ только одинъ педагогическій приемъ, а именно приемъ, носящій специальное наименованіе „внезапно данной пощечины“.

Съ родителями Порфиша видѣлся только лѣтомъ, во время каникулъ. Но и къ нимъ онъ поставилъ себя въ какія-то странныя, натянутыя отношенія. Пріѣзжая въ Семиозерскъ, онъ заставлялъ въ родительскомъ домѣ тотъ же процессъ простаго созиданія, которому онъ былъ свидѣтелемъ и до поступленія въ заведеніе. По старому, отецъ запирался каждое утро въ ка-

бинетъ, шелкалъ на счетахъ, и по истеченіи урочнаго времени выходилъ изъ своего заключенія весь красный, какъ бы стыдящійся. По прежнему, мать спекулировала мужикомъ, спорила, торговалась, и въ концѣ трудового дня укладывала въ пачки замасленные кредитные билеты. Но послѣ тѣхъ сновъ на яву, которые постоянно проносились передъ Порфишей, сновъ съ кладами, неразвѣнными червонцами, разрывъ-травами и проч.—это кропотливое копеечное созиданіе не могло не показаться ему просто жалкимъ.

— А вы по прежнему, копеечку къ копеечкѣ прижимаете-съ? спросилъ онъ мать въ первый же разъ, какъ увидѣлся съ ней послѣ годовой разлуки.

Въ первую минуту, Нина Иракліевна прицѣла эти слова за шутку; но тонъ, которымъ они были сказаны, дышалъ такой несомнѣнной язвительностью, что она вдругъ догадалась, и словно замерла съ пачкой кредитныхъ билетовъ въ рукахъ.

— Курочки-съ! талечки-съ! грибки-съ! продолжалъ между тѣмъ Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Иракліевна переполошилась не на шутку.

— Да ты что это, щенокъ, говоришь? крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже передъ этимъ восклицаніемъ. Нѣкоторое время, онъ изподлбья, съ идиотскою ironіей, взглядывалъ на мать, шевелилъ губами и дѣлалъ видъ что едва удерживается отъ смѣха. Наконецъ всталъ, и удаляясь изъ комнаты, произнесъ:

— Продолжайте-съ! Что же-съ! Талечки-съ! грибочки-съ! овчинки-съ! Похвально-съ!

Вслѣдъ за тѣмъ, подобное же недоразумѣніе произошло у Порфиши и съ отцомъ. Однажды Менаандръ Семеновичъ стоялъ въ передней и провожалъ дорогого гостя, то-есть откупщика, который только что вручилъ „слѣдуемое по положенію“.

— Напрасно беспокоились! говорилъ Менаандръ Семеновичъ.

— Помилуйте-съ! Не я, а положеніе-съ... святое дѣло! расшаркивался откупщикъ.

— Положеніе—это такъ; а все-таки... настаивалъ Менаандръ Семеновичъ.

— Совсѣмъ не „все-таки“, а просто положеніе—и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, Богъ вѣсть откуда, нагрянулъ Порфиша. Но вмѣсто того, чтобъ расшаркаться передъ откупщикомъ и позвать ему руку, онъ пробѣжалъ мимо, какъ-то странно при

этомъ хихикнулъ, и вполголоса, но такъ, что всѣ слышали, произнесъ:

— Взяточки-съ!

Словомъ сказать, и въ школѣ и дома, благодаря педагогическому влиянію дяденекъ. Порфиша поставилъ себя особнякомъ. И Богъ знаетъ, куда привелъ бы его этотъ финансовый идеализмъ, еслибъ не случилось обстоятельство, которое разомъ возвратило его къ чувству дѣйствительности.

Съ переходомъ въ старшій курсъ, умственные силы Порфиши вдругъ пробудились снова. Совершилось нѣчто чудесное, но чудо было вполне достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась „политической экономіей“, и преподавалась воспитанникамъ заведенія какъ вѣнецъ тѣхъ знаній, съ которыми они должны были явиться въ свѣтъ. Послѣ первыхъ же лекцій, Порфиша вдругъ почувствовалъ себя свѣжимъ и бодрымъ. Ему показалось, что на него пахнуло чѣмъ-то знакомымъ, что то, о чемъ онъ когда-то мечталъ, уединившись въ саду, снова проходитъ передъ нимъ, но подъ другими, болѣе ясными формами. Что онъ вновь находится въ обществѣ дяденекъ Амалата и Азамата, и что таинственное слово „блать!“ постепенно утрачиваетъ свою таинственность. Миръ чудесъ, къ которому онъ такъ страстно стремился, но который до сихъ поръ представлялся его мысли смутно и беспорядочно, вдругъ приобрѣлъ необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде, его выручали фантастическія видѣнія, въ формѣ волшебницъ, волшебниковъ, кладовъ, неразбѣнныхъ червонцевъ—теперь ему подавала руку сама наука; прежде, процессъ созиданія зависѣлъ отъ случайностей, которыя могли придти и не придти на помощь, смотря по тѣмъ ресурсамъ, которые представляла большая или меньшая напряженность воображенія, теперь—передъ нимъ были всегда готовые и вполне солидные кунштюки, которые, въ добавокъ, носили названіе политико-экономическихъ законовъ. Бредъ на яву продолжался, но это былъ уже бредъ серьезный, могущій, пожалуй, послужить матеріаломъ для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

Въ заведеніи, о которомъ идетъ рѣчь, преподавалась политическая экономія коротенькая. Законы, управляющіе міромъ промышленности и труда, излагались въ видѣ отдѣльныхъ разбросанныхъ группъ, изъ которыхъ каждая въ свою очередь представляла уму въ формѣ дѣтской игры, эластичностью своей напоминающей пѣсню: коли любишь—прикажи, а не любишь—откажи. Вотъ, милостивые государи, „спросъ“; вотъ—„предложеніе“; вотъ—„кредитъ“ и т. д. Той поделадки, сквозь

господа ташкентцы.

которую слышался бы трепетъ дѣйствительной, конкретной жизни съ ея ликованіями и воплями, съ ея сытостью и голодомъ, съ ея излюбленными и обойденными — не было и въ поминѣ. Откуда явились и утвердились въ жизни всѣ эти хитро-сплетенія, которымъ присвоилось названіе законовъ? правильно-ли присвоено это названіе, или неправильно? насколько они могутъ удовлетворять требованіемъ справедливости, присущей природѣ чловѣка? — все это оставалось безъ разъясненія. Наука — пустой пузырь; съ наклеенными на немъ бессмысленными этикетками; жизнь — арена, въ которой регуляторомъ чловѣческихъ дѣйствій является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездѣльничество.

Порфишъ эта коротенькая наука приплась по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ, осуществленіемъ таинственнаго „клацъ!“, которое такъ долго смущало его воображеніе. Слова: „спросъ“, „предложеніе“, „кредитъ“, „ажіотажъ“, „акціонерныя компаніи“ не сходили у него съ языка. Онъ скоро сдѣлался любимѣйшимъ ученикомъ профессора, и отвѣчалъ на всѣ вопросы такъ быстро и несмущенно, какъ будто давно уже таились въ немъ, а теперь онъ отыскалъ лишь приличную форму для нихъ. Онъ понималъ науку не только въ ея общихъ законахъ и выводахъ, а въ самомъ дѣйстви. Онъ чувствовалъ себя участникомъ этого дѣйствія и лично на самомъ себѣ испытывалъ послѣдствія каждаго экономическаго закона. Игра въ „спросъ и предложеніе“ представляла цѣлую повѣсть, исполненную разнообразнѣйшихъ эпизодовъ; игра въ „кредитъ“ разрасталась въ романъ; игра въ „ажіотажъ“ превращалась, по мѣрѣ своего развитія, въ безконечную поэму...

— Кредитъ, толковалъ онъ Колѣ Персіанову: — это когда у тебя нѣтъ денегъ... понимаешь? Нѣтъ денегъ, вдругъ — клацъ! — они есть!

— Однако, mon cher, если потребуютъ уплаты? картавилъ Коля.

— Чудаки! ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить — ну, и опять кредитъ! Еще платить — еще кредитъ! Нынче всѣ государства такъ живутъ!

Коля удовлетворялся этимъ объясненіемъ, во-первыхъ, потому, что оно согласовалось съ практикой, которой слѣдовали его предки, а во-вторыхъ, и потому, что оно отвѣчало его собственнымъ видамъ и пожеланіямъ. Что предстояло Колѣ въ будущемъ? — ему предстояла жизнь праздная, легкая и удобная. На „производство богатствъ“ онъ не рассчитывалъ, на „накопленіе“ ихъ — и того менѣе. Изъ всѣхъ экономическихъ зако-

новъ, о которыхъ гласила школа, на немъ отражался только законъ „распредѣленія богатствъ“ — въ видѣ оброковъ, присылаемыхъ изъ деревень, да еще законъ „потребленія“ — въ формѣ приобрѣтенія рысаковъ и производства всевозможныхъ кутежей. Но, увы! дѣйствіе закона потребленія давало себя знать всегда какъ-то сильнѣе, нежели дѣйствіе закона распредѣленія, и потому онъ очень былъ радъ, когда, въ формѣ „кредита“ ему явился совершенно готовый исходъ изъ этого затрудненія.

И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ силу которой „спросъ“ съ завязанными глазами бѣгалъ за „предложеніемъ“, а „предложеніе“ въ свою очередь нащупывало, нѣтъ-ли гдѣ „спроса“, но она уже представлялась простыми гулячками по сравненію съ игрой въ „ажіотажъ“ и въ „акціонерныя компаніи“, которая ждала Порфишу впереди. То былъ волшебный, жгучій бредъ, въ которомъ лились золотыя рѣки, обрамленные сапфировыми и рубиновыми берегами. Порфиша въ какомъ-то экстатическомъ упоеніи утопалъ въ этой свѣтащейся безднѣ. Онъ былъ властелиномъ биржи; передъ нимъ преклонялись языцы, въ видѣ армянъ, грековъ и жидовъ. Съ недѣтскою проникательностью угадывалъ онъ моментъ, когда нужно было купить бумагу, и когда нужно было ее продать. Или лучше сказать, не угадывалъ, а самъ устраивалъ этотъ моментъ. Онъ продавалъ и за нимъ бросались продавать всѣ. Происходила паника, вслѣдствіе которой на сцену являлось „предложеніе“, а „спросъ“ былъ въ отсутствіи. Тогда онъ начиналъ покупать, и за нимъ бросались покупать всѣ. Новая паника, вслѣдствіе которой на сцену являлся „спросъ“, а „предложеніе“ было въ отсутствіи. И всѣ эти перевороты совершались съ быстротой изумительной, ибо онъ понималъ, что главное достоинство капитала — это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, онъ придумывалъ новыя экономическія комбинаціи: отыскивалъ неслыханные дотолѣ источники богатствъ, устраивалъ акціонерныя общества и т. д. Мысленный взоръ его устремлялся всюду: и на Ледовитый океанъ, въ которомъ мирно плавали стада китовъ, тюленей, морскихъ коровъ и т. д., и на Скопинскій уѣздъ, въ нѣдрахъ котораго безъ вѣсти пропадали залежи каменнаго угля, и на Печорскій край, рѣки котораго кишѣли семгой, нельмою и макуномъ. Открывши новый источникъ богатствъ, онъ немедленно устраивалъ акціонерную компанію, но, выпустивъ акціи и продавъ ихъ съ преміей, не останавливался по-долгу на одномъ и томъ же пред-



пріятія, а спѣшилъ къ другимъ источникамъ и другимъ акціонернымъ обществамъ.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая дѣятельность, тѣмъ болѣе достойная удивленія, что она носила чисто отвлеченный характеръ. Процессъ накопленія доставлялъ Порфишѣ неисчерпаемый источникъ наслажденій, независимо отъ всякихъ личныхъ практическихъ примѣненій, одними перипетіями, которыя его сопровождали. Если Колѣ Персіанову былъ необходимъ „кредитъ“ для того, чтобы позавтракать устрицами, отобѣдать съ шампанскимъ и окончить день въ домѣ терпимости, то Порфишѣ онъ нуженъ былъ совсѣмъ для другихъ цѣлей. Онъ видѣлъ въ „кредитѣ“ извѣстную экономическую функцію, безъ которой нельзя было обойтись въ ряду прочихъ экономическихъ функцій. Экономическая наука представлялась ему въ видѣ шкафа съ множествомъ ящиковъ, и чѣмъ быстрѣе выдвигались и задвигались эти ящики, тѣмъ болѣе умилялась его душа.

Но что всего замѣчательнѣе, на глазахъ у Порфиши не было даже практическихъ примѣровъ, съ помощью которыхъ его мысль могла бы ориентироваться. Время тогда было самое глухое; изъ значительныхъ желѣзныхъ дорогъ существовала только одна; объ акціонерныхъ обществахъ и биржевой игрѣ не было и помину. Никому не приходила въ голову ни неистощимая печорская семга, ни безпримѣрные въ лѣтописяхъ міра скопинскія залежи каменнаго угля. Ничѣмъ не руководимый, съ помощью одного инстинкта, Порфиша проникалъ и въ нѣдра земли, и въ глубины морскихъ хлябей—и вездѣ находилъ что-нибудь полезное. Его не смущало то, что всѣ финансовыя построенія, которымъ онъ такъ неутомимо предавался, были построеніями безплотными, разлетающимися при первомъ прикосновеніи дѣйствительности. Онъ ничего лично для себя не желалъ, а только выполнялъ свою провиденціальную задачу. Быть можетъ, онъ уже чувствовалъ, что тотъ моментъ недалекъ, когда онъ явится съ зажатými горстами, торжественно разожметъ ихъ, и — владѣ! — покажетъ изумленной Россіи пустыя ладони.

Былъ, однако-жъ, одинъ очень важный практическій результатъ, который Порфиша извлекалъ лично для себя изъ своихъ финансовыхъ сновъ: къ нему съ уваженіемъ стали относиться товарищи.

— Il est par trop théoricien, ce cher Vélientieff, выражался о немъ Коля Персіановъ:—mais c'est égal, c'est une bonne tête, et avec le temps on pourra l'utiliser.

Самъ директоръ былъ изумленъ, когда однажды при чемъ Порфиша, бойко и безъ запинки, въ какихъ-нибудь четвер-

часа, объяснилъ краткія правила къ познанію биржевой игры.

— Ну, Велентьевъ, не ожидалъ! сказалъ онъ. — Судя по началу, я думалъ, что ты такъ и вырастешь дуракомъ, а ты вонъ какъ развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, повидимому, даже не понималъ ихъ. Онъ разбѣянно выслушивалъ сравненія, которыя проводились между его прошлымъ и настоящимъ, и очень можетъ быть, что въ головѣ его въ это время мелькала мысль:

— Чудаки! какъ будто что-нибудь измѣнилось! Какъ будто я не тотъ же Порфиша, которому когда-то снялись клады и неразбѣнные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи!

Одинъ Менандръ Семеновичъ съ прежнимъ недоверіемъ относился къ сыну, и, выслушивая его рассказы о самоновѣйшихъ способахъ накопленія богатствъ, невольно припоминалъ о Ама-латкѣ и Азаматѣ. Очевидно, онъ уже подозрѣвалъ въ Порфишѣ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушить, новаго не возведетъ, и, насоривши, исчезнетъ, чтобъ дать мѣсто другому реформатору, который также придетъ, насоритъ и уйдетъ...





## ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

	СТР.
Отъ Автора. . . . .	5
Введеніе . . . . .	7
Что такое «Ташкентцы»? . . . .	23
Ташкентцы-цивилизаторы. . . . .	43
Они же. . . . .	63

### **ТАШКЕНТЦЫ ПРИГOTOBИТЕЛЬНАГО КЛАССА:**

Параллель первая. . . . .	89
»    вторая. . . . .	124
»    третья. . . . .	166
»    четвертая . . . . .	219

---



## ТОГО ЖЕ АВТОРА:

1. Пошехонскіе рассказы. . . . .	1 р. 25 к.
2. Недоконченныя бесѣды. . . . .	1 " 25 "
3. Современная Идилія. . . . .	2 " 50 "
4. Благонамѣренныя рѣчи. . . . .	2 " 50 "
5. Господа Головлевы. . . . .	1 " 50 "
6. Письма къ тетенькѣ. . . . .	2 "
7. Сборникъ (рассказы, очерки) . . . . .	1 " 50 "
8. За рубежомъ . . . . .	2 "
9. Круглый годъ . . . . .	1 "
10. Дневникъ провинціала . . . . .	1 " 50 "
11. Сатиры въ прозѣ. . . . .	1 " 25 "
12. Монрепо . . . . .	1 "
13. Исторія одного города . . . . .	1 "
14. Помпадуръ . . . . .	1 " 50 "
15. Признаки времени . . . . .	2 "
1 6. Губернскіе очерки. . . . .	2 " 50 "

ПЕЧАТАЮТСЯ И ПОСТУПАЮТЪ ВЪ ПРОДАЖУ НЕМЕДЛЕННО:

Невинные рассказы . . . . .	1 р. 50 к.
Въ средѣ умѣренности. . . . .	1 " 50 "

Можно получать во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.











**This book is under no circumstances to be  
taken from the Building**

[illegible]

Form 410 •



